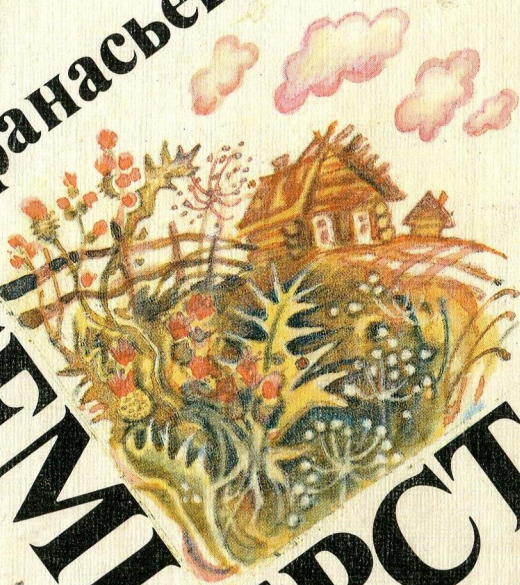


А. Афанасьев

ОДИН ВЕРСТ ДО НЕБЕС



А. Афанасьев

**СЕМЬ
ВЕРСТ
до небес**

ПОВЕСТЬ, РАССКАЗЫ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1991

ББК 84Р7
А 94

А $\frac{4702010201-119}{078(02)-91}$ 068-91

ISBN 5-235-01401-4

© Афанасьев А. В.,
1991 г.

Возвращаясь в Париж из Москвы, где не совсем по своей воле не был около семнадцати лет, я вез с собою огромное количество самых разных рукописей, среди которых оказался и этот прозаический сборник. Признаться, особо выдающихся открытий в этом багаже я найти не ожидал: при тех возможностях, что появились сегодня перед отечественной периодикой, вряд ли что-либо значительное могло пройти мимо ее внимания или хотя бы мимо внимания самиздатовского читателя.

И все же вещи талантливые и очень обнадеживающие нашлись. И в их числе одной из первых я смело назвал бы прозу Александра Афанасьева. В ней чувствуется та душевная и духовная чуткость, та «милость к падшим», та обновляющая человека жажда, выражаясь по Пастернаку, во всем дойти до самой сути, какие только и делают просто пишущего человека писателем.

Автор определил жанр своей повести «Семь верст до небес» как «сказку-ложь» и этим заранее предупредил нас об условности всего в ней происходящего. Только условность эта тоже, простите меня за невольную тавтологию, условная, кажущаяся, ибо слишком узнаваемы наполняющие ее жизненные реалии.

Вместе с героем повествования Алексеем Тарлыковым мы кружимся по кафкианским лабиринтам нашей повседневности в поисках выхода к нормальному человеческому состоянию, слепо натываемся на иллюзорные, но тем не менее непреодолимые препятствия и тупики,

схватываемся в неравной борьбе с врагами-фантамами и, капитулируя, падаем под колеса призрачной машины, олицетворяющей нашу безумную, но в то же время вещь целенаправленную эпоху.

А за нами сквозь дремучий лес своих собственных ошибок и преступлений, заблуждений и откровенной лжи, духовного забвения и безблагодарности пробиваются к грядущему небу идущие следом современники: «Выше. Выше. Туда, куда непонятно зачем лезет тропинка. Туда, где в землю всажены камни по самый череп. Где трава захлестнула камни. Где деревья, сливаясь с травой, вырастают одинаково свирепо — и в камни, и в землю, и в небо. Еще взмах. Еще... Легка твоя походка. Свежо дыхание. Много-много шагов впереди. Больше, куда больше, чем улетело с кручи. А сколько неба над головой, а сколько земли под ногами. Небо. Белое. Большое. Идешь, поднимаешься в него. И если смотреть с земли на тебя, вверх, кажется — ты в небе. Нет. Тебе виднее. Небо всегда вверху. А ты всегда идешь к небу. Вверх. Вверх...»

Пробьются ли? Дойдут ли?

Мне представляется, что Александр Афанасьев задается в своем литературном поиске теми же вопросами, но в конечном счете все же приходит, на мой взгляд, к единственно возможному здесь выводу: смысл этого пути не в цели, а в самом восхождении.

В. МАКСИМОВ

И зачем вы друг другу до сих пор врете? Ведь вы давным-давно мертвые?

Алексей Тарлыков, XX век

Свидетельствую: все, что я расскажу здесь об Алексее Тарлыкове — неправда процентов так на семьдесят.

Я просто-напросто вам буду врать о нем. Я стану придумывать случаи из его жизни, которых не было. Я попытаюсь умолчать о том, о чем мне говорить невыгодно. А неопровержимые факты я постараюсь истолковать так, как это удобно мне.

Вы поражены, разумеется, моей беспардонностью? Напрасно. В своих намерениях я искренен как всякий добросовестный ученик. Но в отличие от многих и многих авторов, дающих на первой странице торжественную клятву говорить правду и только правду и лгущих поневоле или с желанием на всех страницах последующих, в отличие от этого лукавого племени я наивен как ребенок, ведь я сразу же в своих лживых помыслах и признаюсь.

Более того, я считаю, что вранье, истово и ежесуточно справляемое, — это мой гражданский долг. Да это, по сути, долг каждого из людей! То есть, простите, тех, кто, подобно мне, вздумал взвалить на себя тяжкий труд не смотреть на жизнь сквозь пальцы, а объяснять ее казусы, не поддающиеся никакому объяснению, и слеплять факты, которые в принципе слепить невозможно.

Жизнь человека есть набор версий о нем. А если даже человек — это целый мир, то мир есть не что иное, как чемодан, будто апельсинами, набитый доверху более или менее красноречивыми истолкованиями и предполо-

жениями. Загляните в себя, попытайтесь только повернуть свое прошлое, и вы поймете: в стремлении к какой-то там единственной правде есть нечто болезненное. Любая правдоподобная история, разъятая на факты, истолкованная по нескольку раз, да в разные времена и с разными целями, окончательно становится непригодной для воспитания и поучения; иная биография, составленная добросовестно и по самым последним образцам, ежели взглянуть да покопаться, рассыпается на жалкие куски.

Вы хотите такой правды?

Нет, вы не хотите такой правды. Напротив, вы тешите себя надеждой: вот явится некий мудрец, который все объяснит и все слепит. И из слепленного образуется сам собой какой-нибудь смысл (но без лжи!). Однако вместо мудреца является безумец, он ставит свой сапог на возвышение, и вы поклоняетесь ему, ибо своим сапогом, как вам кажется, он скрепляет распавшееся. И вы говорите: вот он, мудрый отец-реформатор! И вы славите его — вовсе не по принуждению, а с радостью, по естественной склонности души. Ведь вы и сами-то в своей обычной жизни разве не врете и не оправдываете себя разными благовидными предлогами? Врете. И оправдываете. И вас оправдывают, потому что врете не только вы и еще потому, что врать — это обязанность, это способ выжить! Если с вас содрать рогожу лицемерия, то вы лгуны еще почище меня. А иначе как к вам прикажете относиться, когда вы, не отворачивая глаз, своему ребенку заливаете, будто его бабушку вы отправили в дом престарелых из человеколюбия, в противном бы случае ее съели серые волки? И что была, наверное, причина, и его дедушку не просто так эти серые волки взяли и увели много лет назад неизвестно куда, и спросить теперь не с кого, где его съели? И что вы сами в недавнем прошлом, очень большой серый волк, вероятно, не так уж сильно на дорогах лихоимствовали, коли вас сочли возможным проводить без шума на заслуженный отдых?

Я понимаю, вы врете без охоты, как бы уступая, по-
нуждаемые исключительно обстоятельствами. Но зачем
же уж так? Ведь вы и сами знаете, что такова ваша
природа и что в соответствии с природой вы исполняете
положенный урок. А я призываю: долой ханжество и ли-
цемерие! Ура прямоте и простоте! Да здравствует святая
откровенная ложь!

Стало быть, от вас я отличаюсь лишь честностью, по-
следовательностью и принципиальностью. А поскольку
абсолютной правды как таковой вообще на свете нету, то
и выходит: есть только то, что мы умеем и хотим видеть.
И во что с разной степенью рвения на данном отрезке
верим.

Птоломей, как известно, не лгал, но заблуждался.
Однако лучше бы он нагло, бесстыдно лгал. Ошибка его
была бы менее трагичной для окружающих и потомков.

Следовательно, от лживого Птолемея я отличаюсь
лишь одним: я сознательно, я обдуманно утверждаю
ложь. Да, говорю я вам в глаза, Солнце движется вокруг
Земли, и вы спокойно можете мне не верить! Да, кричу
я в ваши уши, Земля стоит на трех китах, и вы можете
до конца дней вслух сомневаться и при этом умрете ес-
тественной смертью, в своей постели!

Имеющий уши да слышит: не желая быть искажите-
лем поневоле, я стал им по вдохновению и призыванию.
Имеющий глаза да видит: не желая врать и стыдиться,
стыдиться, но врать, я возвел ложь в нравственный за-
кон. Мысль изреченная есть ложь? Это все пустяки! Что
есть ложь, как не изложенная в доступной форме прав-
да? А что есть правда, как не разновидность лжи? Прав-
да — это хлеб, а ложь — вода. И то, и другое жизненно
необходимо. Значит, я в том абсолютно убежден: ложь
необходима человечеству куда больше правды — для со-
хранения и продолжения рода...

Впрочем, все вышесказанное вы вольны толковать и
как не слишком удачную и горькую шутку. Ведь особен-
но завирать я вовсе не намерен... Так, в некоторых ме-

стах разве что. И то по частностям. А в основном изложенное ниже просто-напросто мой честный взгляд. Моя исключительно индивидуальная версия. К тому же надо иметь в виду: никто и ничто меня теперь не проверит и не опровергнет. Даже приводимые мною записки Алексея. Даже документы. Да что там документы! Если язык нам дан, чтобы скрывать свои мысли, то документ — во все времена — и составляется, чтобы скрывать само время.

«...И плывут облака, почти касаясь алой звезды, осенившей пронзительно-белый обелиск. И течет вечная вода речки Чертуньи, множа своим отраженьем красные звезды... Их много, этих звезд, их много было, парней, ушедших ненадолго на войну и не вернувшихся сюда уже никогда...

Бореев, Бореев, Бореев, Бореев — всего 17 человек.

Огольцов, Огольцов, Огольцов, Огольцов. Огольцов, Огольцов — всего 10 человек.

Прохожев, Прохожев, Прохожев, Прохожев, Прохожев, Прохожев — всего 21 человек.

157 человек проводило село на войну. Вернулось 24...

Над рекой, над тихими струями, скользящими у самого подножья обелиска, сидит человек: светлые прямые волосы, крупные темные глаза, неправильной формы, но красивое, волевое лицо. У Алексея Тарлыкова, директора местной школы, нет в Яшкине своих могил, он приезжий, но память тем и сильна, что заставляет страдать со всеми — за чужих, становящихся родными, близкими. Именно его, Тарлыкова, заботами и поднялся этот легкий обелиск в селе Яшкине — в пяти верстах от райцентра, в сорока годах от большой войны...

(Из очерка «Алый свет памяти», опублико-

ванного в областной молодежной газете «Юная смена».)

«Замысел его был гениален: выигрывая партию за партией, сталкивая приближенных, постепенно превращать палачей в жертвы, а жертвы в палачей. В конце концов измазать и повязать всех одной веревкой. Так и вижу его насмешливую улыбку: уйду я, вам трудно придется. Все станут жаждать крови. На этот случай я оставляю вам главного палача. Убейте его. Отдайте его в жертву. Спихните на него все — и мы останемся в официальной истории героями. А попробуйте короля повалить — повалятся одна за другой все-все фигуры. Вы ужаснетесь, когда захотите так называемой правды, тем самым желая изобличить одного меня. Перед вами откроется вместо правды бездна. Целая вереница тех, у кого руки действительно по локоть, пройдет перед вами. А я буду стоять по-прежнему на вершине в слегка забрызганном белоснежном одеянии. Вы поразитесь, догадавшись, какую мудрую машину я создал. Я не отдавал письменных приказов. И не прикладывал рук. Чтобы оправдать свое существование, она сама вертелась, угадывала желания. И убивала. И создала. Вы умолкнете, обнаружив, что не было беспорядочной вакханалии. А была терпеливо продуманная на много веков вперед система. Я знаю вас, жалких, но безрассудных людей. И потому умело и заранее привязал все поколения — и прошлые, и настоящие, и будущие — к себе. Привязал. Намертво. Навеки...»

(Из последнего реферата аспиранта А. Тарлыкова «Иван IV: человек и государственный деятель».)

«Все мои идеи и поступки до того нелепы,

что объяснить я их могу единственно тяжелой болезнью. Сейчас я здоров и со стыдом вспоминаю свои выходки. Хотя, честно сказать, я и немного помню...»

(Из беседы пациента А. Тарлыкова с лечащим врачом перед выпиской из больницы.)

«...Здесь невольно хочется воскликнуть: до каких пор будем мы терпеть нарушителей спокойствия? Гражданин Тарлыков А. И. неоднократно и злостно вступал в столкновение с законом. Но, увы! Все повторяется, приобретая характер злостного рецидива. На этот раз нет предела возмущению жителей с. Яшкина. Под покровом ночи нарушитель закона надругался над рядом могил, находящихся на территории Покровского с/с. Почему сходит с рук опасному браконьеру неслыханная порубка вековых деревьев в селе Яшкине, попытка вывести из строя жизненно важное для села водное сооружение, плотину?»

Пали бездыханными зеленые великаны, стонут камни под ногами отпетого нарушителя порядка. Сама природа восстала и вопиет — а где же она, где карающая, но справедливая десница правосудия?»

(Из корреспонденции «Нарушителя к ответу!», опубликованной газетой «Вперед».)

«По существу заданных мне вопросов я, гражданин Тарлыков А. И., дал следующие показания. Да, действительно, я, гр. Тарлыков А. И., произвел порубку лесонасаждений в с. Яшкине с целью незаконной продажи их, так как у меня было не на что опохмелиться. Подтверждаю, что разрушение плотины и кладбища в вышеназванном селе имели характер злостных хулиганских действий, объяснимых лишь крайней степенью опьянения. Со-

жжение портрета классика подтвердить не могу, т. к. этого не было. Хотя чистосердечно показываю: намерение такое имел, безосновательно предполагая, что он пропагандировал ложные взгляды, якобы преувеличивая отличие человека от животного. В настоящее время в своем намерении полностью раскаиваюсь по причине разубеждения меня со стороны лейтенанта тов. Косовского. Также показываю, что мои обвинения тов. Прохожева в творимом им необоснованном произволе в предвоенные и военные годы абсолютно беспочвенны. Нелепым бредом, продиктованным воспаленным воображением, является и мое неправильное заявление, якобы тов. Прохожев, браконьерствуя в пьяном виде, стал причиной незапланированного сноса памятника в с. Яшкине. Это заведомая ложь исключительно с целью оговора. Записано с моих слов верно. А. Тарлыков».

(Из протокола допроса гр. Тарлыкова А. И.)

«...5 сентября им была предпринята попытка угона лошади, стоящей на балансе колхоза «Светлый путь». А не далее как на днях, в ночь с субботы на воскресенье, на перекрестке улиц Крестьянская и Рабочая нарушитель спокойствия пытался сжечь портрет великого классика Л. Н. Толстого, мешая тем самым проезду транспорта.

Нарушитель вольготно чувствует себя в ожидании скамьи подсудимых. Дело передано в народный суд, а ему хоть бы что! Его не могут найти ни дома, ни на работе.

Жители нашего поселка, увы, прекрасно осведомлены о нем: вечно злое лицо, в манерах развязность, граничащая с пошлостью,

одет всегда неряшливо, держится надменно. Что это, вызов общественному мнению?

Ну что же, за такие «вызовы», какие были названы здесь, давно пора привлекать к самой строгой ответственности...

(Из корреспонденции «Нарушителя к ответу!», опубликованной в районной газете «Вперед».)

«...А в заключение вечера заместитель начальника управления культуры тов. Э. М. Стахеев вручил молодым художникам С. Т. Бодрову, А. И. Тарлыкову, Я. И. Федосову Почетные грамоты и ценные подарки».

(Из информации, опубликованной в областной газете «Вечерний Проворовск».)

«...Находясь в нетрезвом состоянии, гр. Фидельман Б. Я., Осташенко К. Р., Тарлыков А. И. оскорбляли тем самым достоинство окружающих».

(Из протокола РОВД Левобережного района г. Проворовска.)

«...Встав на ударную вахту, труженики колхоза «Светлый путь» обязались качественно и в срок завершить уборку сладкого корня. В этом им успешно помогает коллектив учащихся Яшкинской 8-летней школы, возглавляемый учителем труда А. И. Тарлыковым».

На вопрос нашего корреспондента Алексей Иванович Тарлыков сказал:

— Не пожалеем сил, чтобы оказать посильную помощь родному хозяйству!»

(Из корреспонденции «Впереди правофланговые», опубликованной в районной газете «Вперед».)

«В ответ на Ваш запрос сообщаем, что

тов. Тарлыков А. И. действительно на территории нашего района проживает. Не судим. Морально устойчив. Работает педагогом. В свободное время рисует. Не раз выставял свои работы на районных выставках. Пользуется уважением товарищей. С сюжетом картины «Без названия» отдел культуры незнаком. Зав. отделом культуры Борева».

(Из ответа на запрос республиканской художественной выставки.)

«Санька тчк срочно шли 50 рублей тчк жрать хочется тчк целую тчк твой Алеша тчк».

(Из телеграммы.)

«В прошедшее воскресенье водитель АТП Некляев Б. Р., находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля ГАЗ-69, допустил наезд на пешехода на дороге Астахово — Яшкино, пешеход, не приходя в сознание, скончался. Ночью того же дня, предприняв угон трактора К-701, механизатор Байков К. Г. из колхоза «Светлый путь» сбил пешехода в центре поселка. Выдержка дружинников Троянова Л. М. и Вершинского Я. Д. помогла обезвредить преступника. Их поведение достойно быть отмеченным. В обоих случаях возбуждено уголовное дело...»

(Из корреспонденции сотрудника ГАИ П. С. Шапки «Фертеля под градусом», опубликованной в газете «Вперед».)

«...На основании документально установленного факта фиктивности якобы существовавшей личности Тарлыкова А. И. уголовное дело по опровергнутому факту его гибели, в связи с отсутствием объекта преступления, предлагая сдать в архив. И. о. пом. прокурора области Р. Борева. 13.12.80 г.»

Самое удивительное: в документах есть правда. Но вот уж эта правда хуже всякой лжи. Ставил ли Алексей памятник? Рубил ли деревья? Разрушал ли плотину и кладбище? Сжигал ли портрет «великого классика»? И был ли задавлен автомобилем ГАЗ-69 в конце концов? Да, имело место почти все. Но почему? И зачем? По части мотивировок показываю сразу: ни одной буквы правды в документах нет. Тут и я кое-где приложил руку: однажды, например, не хватало материалов, а редактор нашей районки рвал и метал. Так я и тиснул, будто Алексей убирал сладкий корень. На самом же деле Алексей после выставки в Проворовске проводил содержательно время в медвытрезвителе в этот день.

Записки я давал кое-кому почитать. И вот двое из четверых мне сказали, что я Алексея будто бы ненавижу и ему страшно завидую. И только с этой целью я и вру: (!!!). Третий покачал умной головой:

— А какую смысловую нагрузку несут документы? Они лишь для информации? Значит, ты хочешь избавить людей от необходимости самостоятельно мыслить?

Я отнюдь не собирался избавлять людей от столь тяжелой необходимости и потому пошел к четвертому. Четвертый пожевал губами и сообщил:

— Э-э, невнятно как-то... Положительный твой Тарлыков или отрицательный? Правильный или неправильный? Я не понимаю. А ты нигде мне прямо не говоришь. Да и скажи мне, браток, по секрету: твои документы найдены или все-таки сфабрикованы впоследствии? Если сфабрикованы, тогда мне понятно. Я понимаю, когда черное называют черным. А как это может такое стать, чтоб все одновременно было и черным, и белым? Так в жизни не бывает! Или уж, по крайней мере, так не следует писать...

Я же ему: бывает! А иначе отчего же это мы до сих пор не поймем — сколь ни старайся быть хорошим, найдется миллион способов сделать тебя плохим (и наобо-

рот)?! Любая правда есть версия. Вот я вам и изложу свою версию. В документах будет версия иная. У Тарлыкова — третья. У Прохожева — четвертая. Какая вам больше по сердцу? Или предпочитаете все четыре?.. Все четыре надежнее, говорите? Может быть. Но учтите: вполне вероятно, что и все четыре врут... Однако, повторяю, нет смысла упрекать меня лично в неискренности. То, что знаем мы друг о друге, и то, что пишем мы друг о друге, — совсем, как говорил мой друг, «неадекватно схожие вещи».

Все, что вы здесь прочтете, все это или почти все, лишь наброски, сделанные мною в гуще событий и сразу по следам событий. Потому-то некоторые оценки и суждения, а порой и сами события переданы мною не совсем верно. Иное же, как можно судить лишь сейчас, было и вовсе истолковано как бы наоборот.

Кое-что я уже переписал. Оттого теперь часть событий представлена как бы в том еще времени, без знания окончательных решений и итогов, а часть уже — и с учетом, и с некоторыми вполне понятными на сегодняшний день коррективами. Такие коррективы не только извинительны, но и похвальны. Это уж ни в коем случае не вранье, а как бы объективно вытекающая из сегодняшнего момента правда. В самом деле: тогда я многое знал и видел, но с неправильной точки зрения. А кое о чем, что знал точно и видел правильно, и вовсе в полном виде уже не расскажешь: это было бы и старомодно, и глупо, и опасно... Что же, время, как говорится, вносит свои поправки. Время — суровый судья и учитель. Оно учит твердости и беспристрастности; надо, как говаривал Алексей, иметь мужество жить в свое время. И потому я, торопливой рукой некогда старавшийся поймать ускользающий миг, отдаю себе теперь отчет: во всех случаях не стоит спешить с оценками, зная тем более наверняка, что окончательные и наиболее верные суждения принадлежат всегда не нам, а лишь тем, кто приходит и оценивает нас, — когда уж нас нету.

То есть, наверное, так и будет на самом деле. И только одна эта причина не дает мне пренебречь моим трудом, и вот я, понимая все происходящее сиюминутное значение своего не слишком правдивого сочинения, спешу предложить его вашему вниманию. И волнуюсь уже... Прочтется ли?

Надеюсь все же, что прочтется. Если, конечно, вы найдете время.

I

...Человек может обходиться без ног и рук, — но возможно ли обходиться ему без лица, оставаясь человеком?.. О, руки человеческие, сколько тайного страдания, и сколько тщательно скрываемого счастья, и сколько сдерживаемого гнева вы способны высказать мне, даже если я пока и не знаю в лицо вашего владельца...

*Альберт Косовский, младший
лейтенант милиции, участко-
вый уполномоченный, XX век*

Итак, 1 июня 1980 года, как раз в День защиты детей, мне принесли телеграмму. Утро было жаркое, я разметался, и хозяйка долго выбирала минуту, кашляла и чертыхалась, прежде чем открыла скрипящую дверку в мою комнату, держа в сухонькой возмущенной руке серый листок бумаги.

В телеграмме было написано рукой спешащей телефонистки всего лишь четыре слова: «Приезжаю 2-го ночью Тарлыков». И все. Зачем? С какой бы стати? Я был в полнейшем неведении относительно его приезда.

В последний наш проворовский год мы разошлись с ним окопчательно, не здоровались, кажется, даже... Впрочем, может, и здоровались: с кем мы только не здороваемся?

Прошло два года. До меня доходили известия, что

жизнь у него сложилась: утих, женился будто бы удачно, полным ходом движется и диссертация.

Какой же черт несет его теперь ко мне? — думал я, отправляясь ночью на станцию. Честно сказать, раздражала несколько самая форма обращения. Что значит «приезжаю»? Почему не «встречай»? Но в этом был весь Тарлыков: он-то уж был уверен, что встретят — и не тратился никогда на лишнее слово.

В этот вечер он, конечно, не изволил быть. Прошел месяц. Прошло три месяца. И вот где-то в последних числах августа в мой кабинет с треском распахнулась дверь, и в два прыжка, и уже на середине — Коля Авдеев из сельхозотдела, еще он и не отдышался, а я уже про себя усмехнулся: что-то случилось. Иначе зачем же Коля?

— Ну, старичок, — сказал Коля. — Твоей подшефной везет (а я тогда часто писал из Яшкина: пять километров — понятное дело). — Опять директор непутевый.

Яшкинской школе и в самом деле везло. На директоров. Снимали их, правда, по-разному. Одного — прямо с крыши. Другой ушел «по собственному» после того, как на праздновании Нового года прокусил лодыжку управляющего отделением колхоза. Третий тоже ушел сам — и с тех пор его никто не видел. Четвертый... Четвертого, кажется, еще не назначили.

— Есть, — сказал Коля. — Прибыл. На днях. А сегодня ночью уже едва не откинулся... Фамилия? То ли Барлыков, то ли Ярлыков, не запомнил... Да и бог с ней — суть-то, старичок, не в этом! Какие кадры нам область шлет на укрепление, а?

Я взял у Виктора Петровича машину и выехал в Яшкино.

Погода стояла «а-я-яй!», как говорит Виктор Петрович. Сельхозработы в основном закончились. В полях было пусто. Труженики полей отдыхали в своих светлых и просторных жилищах, копя, очевидно, силы для новой сельхозотрады. Чтобы получить машину, мне пришлось

сболтнуть насчет «горячего адреса», и вот теперь я лениво прикидывал, об чем бы мне там еще написать.

Я еще не знал, что произойдет буквально в ближайшее время, не знал и того, что произошло уже. Поэтому настроение у меня было неплохое, если не считать некоторой не вполне объяснимой тревоги, замаячившей где-то совсем вдалеке... Хотя объяснить при желании было бы, конечно, нетрудно и в ту пору. Где появлялся мой друг Алеша, там добра ожидать не стоило...

Алешка лежал у деда Лукьяна. Кто такой Лукьян? О! Это довольно мрачный тип ста с лишним лет, переживший три войны и три революции. И вполне, кажется, успешно. Он был еще в разуме. Ходил твердо. Говорил ясно. Была, правда, у него маленькая слабость: жил он как бы наоборот. До ста пяти существовал как все, нормально, — вперед и прямо. А прошел год, и спроси его о возрасте, он бы вам ответил: мне, детка, сто четвертый пошел... Через год — сто третий. И так далее. До ста лет. Этот возраст он посчитал, очевидно, приемлемым. И на нем навсегда остановился...

Алексей встретил меня с веселым волнением. У него была вывихнута нога, шея не поворачивалась, болели ребра, но все бы ничего, если бы он сам в целом производил впечатление вполне здорового человека, отдающего себе отчет в том, что случилось. А он со смехом, с хохотом стал пересказывать утренние события...

— Ты понимаешь, Андрюша: рука! Тракторист остолбенел, а тут Лукьян Яковлевич кинулся. А иначе — хана... Был бы вам, Аграфена Дементьевна, еще один жмур на заработок, — добавлял он, поглядывая весело на 70-летнюю супругу Лукьяна, по совместительству, за неимением в селе церкви и попа, — монашку-общественницу. Аграфена Дементьевна, помнится, крупно вздрогнула, но и сразу же разулыбалась, привыкая постепенно к странному юмору временного постояльца.

Тут же, у ног Алеши, сидел, понурившись, невольной виновник происшествия, Байков Костя, тракторист с

центрального отделения. Костя был знаменит тем, что картавил почти на все буквы. Выпив, он полностью терял дар слова, а заодно и память, — и тогда предпочитал действовать молча. Но в это утро... В это утро он никак не мог быть пьяным, потому как было всего полпятого, когда он, матерясь и проклиная все на свете, выехал на чужом тракторе засыпать Яшкинское метро...

Подозрительно мерно трещал мотор чужого трактора. Он мало доверял чужому: сколько ни пластайся, весь не облазишь, а посреди дороги обязательно уж какая-нибудь железка да полетит. Ну и черт с ним, не жалко! Наряд — так наряд, погода теплая, закуски прихвачено с лишком, а если приспичит — до магазина в Яшкине рукой подать.

Яшкинское метро знал он практически наизусть. Лет двадцать назад из реки Чертуньи в Астахово качали воду по трубам. Потом надобность отпала. Трубы, из экономии металла, выкопали и увезли. А канаву, из экономии времени, оставили незарытой.

Канава зарастала сама. Со временем крутые края ее обвалились. Канавка стала неглубокой, в полметра. И было бы ее вовсе не видно, если бы не ровный вал, утоптаный по необходимости ногами яшкинцев, — из выброшенной когда-то и оставленной на обочине земли и глины. Вот этот-то вал и назывался метро: в любую погоду здесь можно было пройти, не замочив ног.

Существование метро непосредственно сказалось на существовании немалого количества яшкинских жителей. Ведь и сам Костя (девичья фамилия Костиной матери — Яшкина) здесь, собственно, и начал жизненный путь. То есть не то, чтобы прямо в метро, однако таинство зачатия многих яшкинских младенцев, и Кости в их числе, деревенские летописцы (летописицы?) прямо и недвусмысленно связывают с появлением вышеозначенной канавы.

Это были довольно-таки укромные места. Понятно, что ни днем, а с наступлением сумерек, при большом

желании совсем нетрудно было укрыться здесь, в высокой траве, — и вдвоем, и втроем, и вдесятером. По рассказам, не подтвержденным, правда, и по сей день соответствующими органами, тут и коротал ночи Пашка Палач.

Ничего нет удивительного и в том, что сложил здесь светлую голову по дороге из «Дубка» и Алексей Иванович Тарлыков, найдя совсем не обязательным следовать в свое по-холостяцки неуютное жилище.

Ну, а на утро, из лихорадочно трясущейся кабины, шорох и даже вопль человеческий, случись такой, не был бы, конечно, услышан. И были ли крики, Костя точно не знает. Очнулся он вот от чего. Кто-то бешено забарабанил в дверцы кабины, он взглянул и обомлел...

Самый старший яшкинский дед, имени его в то мгновение он, конечно, и не вспомнил, колотился о трактор всем, чем мог. А трактор шел, и минуло не меньше минуты, прежде чем Костя разобрал смысл скрюченного стариковского пальца... Он взглянул туда, куда указывал палец, — и внизу живота похолодело, и рычаги спутались в его ладонях.

Из вспучивающегося, движущегося еще земляного вала, медленно и как-то безвольно высвобождаясь, вздымалась белая человеческая рука...

Окидывая уже сейчас мысленным взором события, имевшие место в те недолгие дни, я невольно спрашиваю себя: как случилось, что Алексей в короткое время, едва ли не в считанные часы по прибытии, успел попасть сразу в несколько мелких историй — мелких, незначительных, если рассматривать каждую в отдельности, но приведших в сумме к непредсказуемым, необратимым последствиям? Взять хотя бы его отношения с Павлом Сергеевичем. Ну загадка! Непостижимая загадка и поныне для меня: что толком произошло между ними? И — когда? Где? У нас? Или в Проворовске?

Говорят, будто имели они старые счета еще оттуда, с области... Одни говорят, что началось с полы пиджака, которую совсем некстати подергал Алексей снизу, как бы стаскивая Павла Сергеевича со сцены — во время выступления последнего в университете. Но даже я даже Тарлыкова не могу представить в подобной ситуации, хотя, что ж, если учитывать дальнейший ход событий, все, все могло быть... Тем более приводились такие подробности, которые мне уж точно сказали: это на него очень и очень похоже... Алексей, рассказывают, встал с последних рядов конференц-зала и в полной тишине прошествовал к сцене, прервал Прохожева вежливо, подождал к краю, взялся крепко за его пиджак, потянул вниз, хохотнул и сказал во всеуслышанье: «Не были вы там! Ну, зачем забираете? Лучше бы поделились, сколько вы оклеветали и погубили людей!»

На что Павел Сергеевич вроде не нашел ничего лучшего отчаянной попытки вырваться, но надо знать Алексея, Алексей если берется за что, то намертво. В данном случае он взялся за прохожевский пиджак — стало быть, Павлу Сергеевичу и не было смысла дергаться... Хотя, с другой стороны, в чем смысл-то был?! Ведь он и словесно, вполне разумной логикой пытался привести в чувство Тарлыкова. Прохожев сказал будто бы так: «Это не вопрос! Я исполнял свой долг! Мы все ковали, все участвовали. Кто где...» А что же Алексей? Алексей безмолвствует. Тарлыков держит Прохожева за пиджак, улыбается и гнет, гнет вниз, — ну едва только Прохожев не падает ему на голову. И это при всем при том, что Прохожев в данный происходящий момент — руководитель одного из маленьких, но все-таки предприятий крупного областного центра! Прохожев — лицо, он пришел по приглашению, он пришел поделиться воспоминаниями!..

Да, можно понять состояние Павла Сергеевича, когда он, уже выйдя на пенсию, переезжает постоянно жить на родину, в родной поселок, выступает в очередной раз

с познавательным рассказом о своей плодотворной деятельности, и тут, посреди-то рассказа, обнаруживает он поднимающегося из зала человека; поднимается этот человек, неопределенно улыбаясь и грозя укоризненно пальцем, подвигается к нему все ближе и ближе... А надо сказать при этом, что на день события Прохожев опять же не последнее лицо, в родном поселке он занимает одну из тех почетных должностей, которые обычно предлагаются людям достаточно пожившим, с опытом, и находящимся на вполне заслуженном отдыхе... Что же предпринимает Павел Сергеевич уже в нынешней ситуации? Следует отдать дань его мужеству — не убегает, отнюдь не убегает! Уходит, достойным шагом, держась за грудь, будто укололо в сердце... Шум, легкое волнение. Пять минут спустя, насмешливо и ослепительно улыбаясь, появляется Прохожев вновь. Появляется, обязательно разбросав руки, демонстрируя всем видом, что благодарит собравшихся за пережитое по его поводу волнение... И все опять повторяется. Опять встает медленно из зала человек... И так до трех раз. Пока не отменили выступление.

Это-то я и сам видел. Точнее, видел Авдеев, а мне рассказал, но данная картина столь впечатляюща, что стоит перед моими глазами. Получается, я сам при ней и присутствовал. И если Коля ничего не искажил, то все так и было. Если не считать небольших добавлений, что я, как обычно, присовокупил от себя.

Но так мы с Авдеевым рассказываем. А другие, напротив, утверждают, что хоть история с пиджаком и имела место, однако вовсе не она послужила причиной конфликта.

Проверить трудно, смотрите сами: говорят, в последние годы перед пенсией Павел Сергеевич довольно сильно заинтересовался разными штуками... э-э, ну, как бы раскрывающими резервы человеческого организма. Говорят, Павел Сергеевич много практиковал, сидя перед обыкновенными настенными часами. Такая хитрость —

надо натренироваться видеть, как движется минутная стрелка. Ну вот, по свидетельствам очевидцев, Павел Сергеевич достиг в данном искусстве вершины. Он стал видеть, как движется часовая!

Павел Сергеевич похвалялся будто бы даже, что при подобной степени сосредоточенности имеет возможность иногда почувствовать, как начинают сохнуть и падать деревья, дышит, перемещаясь, почва, трескается сама земля; перед его внутренним взором будто бы распадаются здания и поднимаются новые, чтобы опять рассыпаться в прах; горы сдвигаются со своих мест, громоздясь друг на друга чудовищными телами, реки выходят из берегов и обращают свое течение вспять, моря пересыхают или, наоборот, наступают на сушу, сменяя деревни и города; и только в последний миг, буквально на подступах к его квартире по улице 23 февраля, Павлу Сергеевичу громадным усилием воли все ж таки удается смирить разбушевавшуюся стихию, — и вы представляете себе, представляете, сколь велико может быть потрясение человека, застигнутого врасплох в этом нечеловеческом состоянии?!

Так вот, Тарлыков, по слухам, однажды его и застал. Как это было, с какой целью он явился в тихое жилище пенсионера? Не могу сказать определенно — слухи на этот счет помалкивают. Но, во всяком случае, эффект явления Тарлыкова был равен, без преувеличения, ядерному взрыву (а что, ведь и такое Павел Сергеевич, вполне возможно, наблюдал в своих сеансах?). А Алексей будто бы не просто пришел. Но с рукописным списком лиц, весьма обязанных своей печальной судьбой кипучей деятельности Прохожева, особенно в предвоенную пору.

— Так что вы тогда ковали? — якобы засмеялся Тарлыков, злобно бросая на стол злополучный список. — Уж не то ли самое, что оставляет навечно след на запястье и голени?!

С тех пор — все. Что там у них далее произошло,

доподлинно неизвестно, по результат один: судьба приготовила с тех пор Тарлыкову нелегкие испытания...

Клянусь, все так и было, как я вам здесь рассказываю. А если я и искажаю, то вот вам аргумент. Наша славная печать, где я имею честь трудиться, столь давно и всесторонне читателя обманывает, что обогнала в своих очерках и зарисовках почти всех жителей по два, а то и по три раза. И то ничего! Она бы совсем запуталась и погибла в собственных тенетах, добиваемая ударами заслуженных опровержений. Однако ведь и этого не случилось. Почему, спросите? Вначале читатель, безусловно, обалдевал от такой наглости. Но потом смирился, привык. Поскольку догадался, что врут неспроста. Наверняка от врагов и их пособников какую-нибудь неведомую тайну укрывают. Каждый скотник после заметки в газете чувствовал себя скотником особо засекреченным. Чем, разумеется, тихо гордился наедине с собой, — вполне понимая, во что обходится публичное разглашение государственной тайны. Со временем тайны несколько рассеялись. А робости поубавилось. Но читатель настолько к нашей пропаганде привязался, что и поныне выписывает — под предлогом всеобщей гласности и на почве поголовно привитого вкуса к художественному вымыслу. Теперь каждый свежий номер народ встречает дружным хохотом. Что тоже немаловажно для судьбы издания. Тяга к смешному в народе заметно нарастает. А это не может не сказаться и на тиражах.

Так что если я и передергиваю теперь, то исключительно ради хохмы. Посмейся лишний раз, читатель, а за одно это прости бедного несчастного искажителя, занаряженного на тяжкий и неблагодарный труд не по своей воле...

Из документов, составленных или найденных впоследствии.

«Считаю необходимым довести до сведения.
Гражданин, назвавшийся Алексеевым А. И.,

заказывал междугородные разговоры с 8-ю абонентами и, как свидетельствуют работники АТС тов. Подопреева Э. Э. и Лукьянова Т. С., неоднократно, в ожидании разговоров, плакал и выкрикивал: «Я его убил! Я его убил! Ну, зачем, спрашивается, я его с места тронул?!» В связи с чем и был предпринят вызов наряда милиции.

При задержании сопротивления не оказал. Ст. лейтенант М. Борисов. 24/V.80 г.»

«А звонкое, разноголосое лето, как говорится, на носу. Студент, он знает, куда направить свои стопы: в ССО! А куда деваться «бывшим», то бишь, как их... аспирантам? Чтобы разгадать их летний маневр, мы встретились, в частности, с завкафедрой истории философии профессором Н. Ф. Сбруевым.

— Будут особенно «нажимать» в летние месяцы, — сказал Н. Ф. Сбруев, — Нина Рогова, Сергей Хмелецкий и Алексей Тарлыков. У всех работы на подходе... Особенно хороши дела у Алексея. Думаю, что к осени ему будет что представить на ученый совет.

Ну, что же, пожелаем будущим ученым удач и успехов. А сами... немножко отдохнем, ведь впереди — новый, еще более сложный учебный год...»

(Из корреспонденции «Заботы третьего семестра», опубликованной в многотиражной газете «За науку» Проворовского университета.)

«...26.V.80 г. в 12 ч. 15 мин. в районе ж. д. моста был замечен и спасен неизвестный, назвавшийся Ивановым Алексеем Ивановичем, жителем г. Проворовска. Пострадавший Иванов А. И., по его словам, упал с прогулочной лодки (№ 073-А пункта проката ЦПКиО имени Гагарина) и стал тонуть под воздействием

внезапных судорог. Пострадавшему оказана первая помощь. Т. Григорянц».

«Настоящая справка выдана в том, что гр. Тарлыков И. П., 1909 г. р., действительно скончался 23.V.1980 г. Справка выдана для получения свидетельства о смерти гр. Тарлыкова И. П. 25.V.80 г. Врач К. Гориостова».

II

...Один сумасшедший, считавший себя святым духом, был исцелен тем, что другой сумасшедший сказал ему: «Как же это ты можешь быть святым духом? Ведь это я святой дух».

*Георг Вильгельм Фридрих
Гегель, XIX век*

Машину я отпустил задолго до села: был чудный сентябрьский вечер, было безветренно. Но облака плыли. В сущности, все понятно: там, в высоте, идет своя жизнь, и дует свой ветер, но меня всегда такие вот несовпадения почему-то настораживают и заставляют задумываться...

Так, в раздумье, миновал я Чертуню, удачно пробаланировав по единственному бревну, оставшемуся от старого моста. В воздухе было еще светло, но близ кустарника и гигантских деревьев, опоясавших тарлыковское жилище, скапливались уже густые тени.

В обеих половинах никого не было. В передней горела настольная лампа, освещающая на грубом столе разбросанные размашисто исписанные листы. Я заглянул на всякий случай.

«...Нельзя доверяться незнакомому растению, равно как и уклончивому человеку. Но яд яду рознь: организм не срабатывает, если в него введена большая доза ложной информации. Потому что организм просто не чувст-

вует ее. Пожалуй, ложь посильнее и мышьяка: мышьяк чужероден плоти, он будет сразу же отторгнут. В противном случае живое гибнет, унося с собою яд — и прекращается тем самым его дальнейшее действие... Вранье, выходит, страшнее? Вранье, оно как раковая опухоль, составлено из клеток-подобий, оно само может жить и развиваться. Оно может, наверное, пережить и заменить собой человека. Вот в чем ужас... Прохожев (мой знакомый) считает: жизнь, какой бы она ни была, так продуманно устроена, что ни один здравомыслящий не возьмется что-либо в пей менять. На это способен лишь крайне легкомысленный либо безумный человек. Ведь едва тронешь старую кладку, поучает Прохожев, и на тебя самого обрушится стена. А заново перестроить жизни человека не хватит. Так что вывод: пусть как было, так и будет...

Но черт подери! Я лично не могу так!

Здесь, в Яшкине, я уже неделю. Первые дни бродил по селу, знакомился с людьми. Люди все хорошие, с чистыми открытыми лицами, умелыми работающими руками. Но эти лица отвернулись от села. А руки, похоже, повисли как плети. Яшкино заросло репейником (здесь говорят — татаркой) до такой степени, что и крыш не видно. Взяться бы, покрушить сообща бурьян, прочистить наконец улицы — нет, каждый прорубает (или телом пробивает) отдельную тропинку. В чащах прячутся одичавшие собаки, бездомные кошки и прочая нечисть. Местный житель Витя Дариков (всегда вполпьяна, в треухе и резиновых сапогах на босу ногу и зимой и летом) у магазина похвально, что без топора и на двор не ходит. Я так и вижу его горделиво восседающим на

огороде с занесенным над головою топором. Шасть к нему какая-нибудь неопознанная косматая тварь, решившая, будто Витя потерял бдительность, а он, оказывается, ничего не терял и у него есть, есть чем от нее хоть не оборониться, так отмахнуться...

Плотина в Яшкине почти развалилась — никто из сидящих у магазина и ухом не повел. Мост в прошлом году рухнул — там и пальцем о палец не ударили. Осталась от моста одна трухлявая лесина, утыканная ржавыми гвоздями, по ней наиболее храбрые мужики перебираются по-обезьяньи на тот берег, в магазин. Клуб и библиотеку летом закрыли. Я спрашивал у яшкинцев, говорят, не до того было, не то окончание сева, не то начало сенокоса праздновали. Так что не взыщи, говорят, голова кругом шла, и факта закрытия не заметили.

Страшно все. Живут, словно похоронились в самих себе, как в подполе, и не вспомнят уже: какими были? Когда и зачем надо выходить? Да и стоит ли выходить теперь вообще на свет божий?

Прошел я по селу, попросил людей собраться и поправить плотину. В двадцати четырех домах мне отказали с порога. Кто картошку копал, кто на базаре торговал, у кого запой, а кто только-только из него вышел и себя пока не помнит: да я ли это, Иваныч? Да моя ли это голова? Да что-то ей так худо, уж не обратно ли мне в запой удариться? И нет ли у тебя с собой пятерки, кстати, а то я сгоняю на одной ноге!

Пришли мои ученики. И соседи: Антон, Огольцов и Дариков. Камней накатали, хворосту натащили, раствор намешали. Потом,

смотрю, соседи скинулись и говорят: «Ну, Бог в помощь, Алексей Иванович. Тебя не приглашаем, ты дилектор. Тебе сан надо блюсти. А уж тут как-нибудь и без нас... слепишь». Что ж, как-нибудь я слепил.

Звонил председателю колхоза Зарывалину. Просил леса для моста. Зарывалин удивился чрезвычайно: «Подожди, какой лес? Мы ж, считай, в степной зоне. Да и мост по плану не предусмотрен...» Тогда я, по недолгом размышлении, позвал яшкинцев деревья у школы порубить, чтоб мост поставить. Но они так заголосили, хоть из села беги: «Да ты перекрестись сперва, Иванович, нас за те насаждения загонят, куда Макар телят не гонял!» Я смеюсь: «А куда он их еще не гонял?» Антон на те мои слова заржал, как жеребец необъезженный: «Мы-то питаемые уже. Ты теперь спытай, Иванович, а мы поглядим!..»

И пошел я спытать. Сначала спытал у Зарывалина. Чего, спрашивает, надо для родной школы? Угля? Дровец? Подкинем, подкинем! А про мост лучше и не заикайся — нету леса, а когда будет? А в пятом квартале будет, на шестом году пятилетки. Когда (сам понимаешь), может, и нас не будет! И опять: чего потребуется, не стесняйся, заходи...

Тогда я отправился спытать в район. Шесть кабинетов прошел, пока не добрался до первого...

Как живая шевельнулась занавеска. Я отскочил от стола. Прислушался. Выглянул в окно. Обошел дом. Нет, то был ветер. Я вновь засел за рукопись Тарлыкова: ах, как интересно раньше всех узнать, что он там про первого насочинял!

«...Валерий Иванович Хицко (невысокий,

лет сорока, в модных очках) встретил меня странной смущенной улыбкой, крепким рукопожатием и неожиданным вопросом:

— Да что ж ты раньше не заходил? Мои говорят: нового директора в Яшкине утверждать намерены. А ты не идешь. А я тебя все жду. Жду...

Сели. Между нами стол. Я про себя: к тебе не заходят, к тебе по вызову идут, — никак забыл? И директор школы — это уровень не твой, а третьего.

— Ну? — Еще более смущенная улыбка, того и гляди покраснеет. — Рассказывай.

Я и рассказал ему все. И про мост. И про плотину. И про магазин, в котором лишь хлеб и водка. И про бурьян, до неба вымахавший. Начал о Прохожеве — Хицко поморщился:

— Он у нас у всех вот где! — И показал. (Только непонятно: то ли он у них в горле сидит, то ли уже взял за горло.) — Я тебя прошу. Мы с ним разберемся. Договорились?

— А магазин?

— Товары будут, подбросим. Жди.

— А лес для моста?

— К новому году должны три вагона подойти. Считай, ты первый на очереди. Потерпи.

Хицко посмотрел на меня сквозь квадратные очки. Понял, кажется. Усмехнулся. Я, говорит, и без тебя все знаю. Я, говорит, могу прямо сейчас позвонить и заставить силой Зарывалина выделить тебе лес. Но я помню, что у него три фермы раскрыты. И в детском саду, в Покровском, он затеял ремонт. Не спеши. Вот закончит — даст и тебе из остатков что-нибудь...

Хицко снял очки и стал ловко крутить их тонкими пальцами. Ты, говорит, если хоро-

шенько подумаешь, то и сам поймешь: я не господь Бог. А если, говорит, ты господь, то тогда давай садись на мое место и командуй. Я ему: а можно? Он: пожалуйста, пожалуйста! И смеется. Тут звонок — Хицко за трубку, пальцем в клавишу и... Хотел, кажется, встать. Однако при мне удержался. Но галстук поправил. Есть, говорит, Иван Никитич. Так точно, Иван Никитич. Только вот с чем... Да? Но с чем мы останемся? Выгребать все? Кому помогать? Покрячинскому? Так ведь, Иван Ники... Так ведь это они не сдали. Мы-то за все отчитались! Зачем нас-то обдирать?.. Как я разговариваю? Да никак я уже не разговариваю. Слов у меня нет... Тут Хицко все-таки встал и показал мне раздраженно рукой на дверь. Шевельпул двумя пальцами: значит, подожди пару минут в приемной.

Честно говоря, я хотел тут же и уйти. Но только за дверь, слышу: опять вызывает. Захожу. Хицко сидит весь белый. Только глаз не видать, опять за очками спрятался. Ты вот что, молодой человек, говорит он уже сухо. Вместо того чтобы топтать пороги и кланяться, расшевелил, поднял бы народ... В начале века, тычет он нервно в какие-то бумажки пальцем, в твоём Яшкине мужики собирались на помочи, рыли колодцы, чистили реку, избы ставили. Обществом, обществом — понимаешь?! — строили плотину, мельницу, водокачку, церковь. А сейчас почему твои яшкинцы повисли камнем на шее у государства?..

Только я ему хотел ответить, почему, но с него, видимо, уже схлынуло. И я догадался: ничего-то ему объяснять не надо. Он и сам все прекрасно понимает...

— Я понимаю, — и действительно при-

знал он. — Но хоть попробовать? Попытаться-то стоит?!

И сказал, вроде даже попросил:

— Вот ты какой молодой. А ведь на тебе там вся Советская власть и держится. Встряхни село как следует. А?

Я торжественно обещал расшевелить народ и встряхнуть село как следует. И не выдержал, кивнул на телефон с клавишами:

— Извините, Валерий Иванович... А нельзя было отказаться?

— Нет, — сказал Валерий Иванович резко. — Нельзя. А если бы, как ты неудачно выразился, отка-зался... — он засмеялся невесело, — то присланный вместо меня товарищ выгреб вообще бы все. Подчистую. Ясно?

— Ясно, — сказал я. — Теперь мне все-все ясно. Я свободен?

— Свободен, — сказал Хицко, вставая. И крикнул мне в спину. — Иди! Пробуй! А если какие проблемы, забегай. Порешаем!..

Вечером я стал сражаться с бурьяном. На этот раз никого не звал. Оставил после уроков своих мальчишек (а их всего-то у меня в школе трое, не считая малышей). Наточили топоры. Направили как сумели косы. Часа три рубали бурьян (он выше меня в два раза, стебли толщиной в мужскую руку), вылезли все в реньях, как черти, — нет, и сотой части не одолели. Вокруг, куда взгляд ни кинь, необо-римые чащи. Словно плантации сахарного тростника. Сейчас бы в руку каждому яшкин-цу по мачете, и кинуться бы, очертя голову, в заросли с кличем: «Все, как один, на сафру!»

И тут меня осенило: сафра — не сафра, а Витя Дариков может и без репетиции такого мачетере изобразить! Сказано — сделано. Ча-

сов до двух ночи ревела посреди Яшкина саф-
ра, кукурузоуборочный комбайн выделявал
нетвердые петли, и Витя валял, как богатырь
Пересвет, полчища врагов направо и налево.

Все-то хорошо получилось. Но едва мой бо-
гатырь выпал из машины — и ни гордости,
ни упоения победой. Только что за грудки не
взял: «Иваныч! Давай, щас же давай! До утра
терпелка лоплет!» А общество, собравшееся к
тому моменту, стоит себе похохатывает: «Да за
такое дело, пони-эшь, мы б этот репейник зу-
бами повыдергали!»

Что мне оставалось? Надо было отдавать
обещанное.

Принял Витя из моих рук должок, посмот-
рел как на злейшего своего противника, кру-
танул винтом. И сразился. В результате «спа-
доша на землю мертви и ту конец приаши
оба».

Вот так... А ночью мне приснился сон. При-
снилось мне, я маленький. Лет семи так: с бе-
лым чубчиком, с упругими такими щеками...
Просыпаюсь я будто однажды и узнаю, что
нашего отца сняли... Было такое и в самом
деле, его, машиниста, снимали на три месяца
в деповскую яму, то есть на ремонт, слеса-
рем... А он, человек гордый, взял и сам уво-
лился. Но этого я еще будто не знаю... И во
сне ведь что-то всегда не так... «Сняли» во
сне — это почти что все, конец... Я даже объ-
яснить не могу. Вижу: его нет. И говорят: ни-
когда больше не будет. Он в яме. А где эта
яма? Никто не знает. Плачу навзрыд. А мне
говорят: только ты, Алеша, и можешь его спа-
сти... Иди-ка ты, говорят, по начальству...
И вот я утираю маминым подолом слезы. И иду
по начальству. В темных и длинных коридо-

рах много народу, день зарплаты, кажется. Все веселые, никому нет до меня дела. И никто не может сказать, где оно сидит. Одни говорят: там. Другие говорят: тут. А дверей много. На них и написано что-то, а я еще как следует не умею читать.

Наконец меня кто-то провожает и уверенной рукой подталкивает в открытую дверь. Начальник, оказывается, добрый. У него толстые щеки и маленькие веселые глаза. Он гладит меня по голове, плачет вместе со мной и говорит: «Нет, я не знаю, где твой папа...» И тогда я начинаю думать, что он вовсе не начальник, а если и начальник, то самый маленький... Он раскатисто смеется, щеки его трясутся, он придерживает их аккуратно руками: «Твоя правда, Алеша...» И добавляет неожиданно: «А иди ты к Богу!!!» — «А как туда пройти?» — «Вот этого, понимаешь ли, я еще не знаю... Но — иди, это, кажется, в небе, на небесах... Иди».

Я иду. Иду и представляю, что мне баушка рассказывала. Она мне часто и про все рассказывала... А вот как туда добраться — ни разу... И тут я вспоминаю, как папа, на баушкины рассказы ругаясь, говорил: «Брехня все это! Семь верст до небес, и все лесом...» Лесом? Где же этот лес? Надо просто найти этот лес, и тогда...

Как я добрался до леса, я не помню. Это мне не приснилось. Но вот я уже иду по лесной тропинке. В лесу сыро, зябко, деревья сплелись поверху ветвями. А тропинка все круче и круче. Все чаще приходится ползти вверх, подтягиваться на руках. Выбрался я на маленькую поляну: солнце, травка, ягоды полным-полно, а странно — птиц совсем не

слышно, будто вымерли все. Оглянулся, наш городок Барденевск далеко-далеко внизу, в каком-то тумане... Но все еще не семь верст: вот и депо отсюда видать, где маленький начальник сидит, рядом паровозы ходят, вон и наш дом, с зеленой крышей и с антенной... Хотя антенну уже не видно.

Лег я в траву. Трава высокая. Старая сплелась с молодой... И молодой еще непонятно, что старая давно умерла и просто висит на ней мертвым грузом. Я долго смотрю на длинные ее стебли... Баушка говорила, что эта трава живет тысячу лет. Тысяча — это как до неба? Я знаю теперь, что до неба — это долго. И тысяча — тоже долго. «А как же она живет тысячу лет, если она зимой умирает?» — спрашивал я баушку. Баушка смеялась впадшим ртом, долго кашляла и объясняла: «Траве, ей все одно, какая травинка раньше живет, а какая позже... И травинкам одинаково. Тянутся они так, тянутся из-под земли, друг за другом, и опять друг за дружкой в землю отправляются... Ты вот можешь их отличить, можешь каждую запомнить? И я не могу... И никто... Одно слово, трава... Бог знает, чем она отличается и зачем отличается... Сплюнь! Ты куда, анчихрист, ее в рот потащил?.. Ах ты, анчутка окаянная...»

Тропинка пошла опять в гору, местами я уже начал срываться и скатываться вниз, разбивая нос и колени. Руки у меня все поцарапаны, но я не плачу. Чего плакать, кто услышит?

Только я подумал, вышел из-за кустов старичок с внимательными острыми глазами. Сам невысокий, плотный, в темно-синем костюме, с орденской планкой — идет вразвалку, усме-

хается, седая борода. Только подходить он стал, я и понял, что никакой он не старичок. Борода-то старая, свалявшаяся, а глаза молодые, то уставится мрачно в землю, то как расхохочется, но без звука...

— А как туда пройти? — спросил я его робко.

— Туда?! — удивился ненастоящий старичок. — Ты что, с ума, мальчик, сошел? Это еще топать и топать... Вернись от греха. Слышишь?

Но я все же пошел, куда он указал мне дорогу... Долго я полз по кручам, пока не поднялся на самую верхушку. Я понял, что выше уже ничего нету, потому что внизу стояли плотные тучи. Одна к одной, без перерыва, так что можно было бы, наверное, даже по ним и пробежаться... Но мне было нельзя, мне было некогда. Тропинка кончилась, и мне пришлось ползти, раздирая спутавшиеся ветки и пролезая под черными громадными елками...

Впереди замелькало что-то серое. Я вылез. Ворота. Я стряхнул с себя иголки и листья. И пошел к воротам. Ворота оказались деревянные и снизу гнилые. По самому верху, полукругом, были прибиты большие раскрашенные фанерные буквы... Я долго старался прочитать, и у меня получилось: ЦПКиО имени Гагарина.

Но разве ж это рай?!

— Рай, — весело сказал высунувшийся из будки человек с красным озябшим лицом и в грязно-желтом солдатском бушлате. — Форменный рай... А это... — Он кивнул на фанерные буквы и подмигнул. — Это так... Для маскировки... Или для проформы?.. В общем, я

точно не знаю, сказано прибить, я и прибил... Тебе к кому?

— Мне? — Я замялся. Но он понял.

— Проходи... Сначала прямо, потом направо — шестнадцатая аллея, там указатель будет... Что стал? Шагай, шагай, мне не до тебя...

Чтобы не сбиться, я загибал пальцы. И поэтому не заметил, были ли райские птицы, про которых рассказывала когда-то баушка... В начале шестнадцатой аллеи стоял столб, на нем стрелка, на стрелке от руки было написано: «Рай-центр, 1,5 км».

Я дошел до конца. Аллея оборвалась. Я подошел к краю. Честно скажу: в этом месте я испугался. Дальше был глубокий-глубокий обрыв, внизу, в темноте, висели на острых камнях серые клочья тумана... Я хотел было спускаться... Но тут раздался такой грохот, и скрежет, и лязг, что я не выдержал и у меня подогнулись колени...

— Ты дошел все же? — Громовой голос треснул у меня над самой головой и стал отдаваться гулко и многократно в глубине пропасти. — Ты дошел все же... Дошел все же... все же... все же...

Я сильно напугался, но поднял голову. Никого не было. Только пропасть впереди и далеко за пропастью, высоко-высоко, медленно разворачивалось, как одеяло перед сном, клубилось черно-розовое облако... Куски его складывались, соединялись в какие-то фигуры. Можно было угадать то лошадь, то мельницу; то чье-то лицо... Я вскрикнул. Точно-точно: я узнал его! Это же мой знакомый, тот самый, ненастоящий старичок!

Небеса захохотали. Так, что вздрогнуло

что-то внутри пропасти и покатилося с тяжким гулом еще дальше вниз... Косматое облако раздвинулось на мгновение, пропустив два или три ослепительных луча. Они вспыхнули, словно золотые зубные коронки. Вспыхнули и тут же погасли...

— Вниз не ходи... — гроыхнул вновь гигантский голос. — Там... туда тебе не надо... Тебе что нужно от меня?

— Папа... — прошептал я тихо, сам едва расслышав, что сказал. И заплакал.

— Отца береги... В этот раз он вернется к вам, это все было не страшно... по потом и скоро уйдет... Берегите его... Запомните его...

— Почему уйдет? — сам не знаю как и осмелившись, закричал я дурным голосом: — Зачем!!!

— Этого я не знаю... — треснуло опять в небе и покатилося в пропасть. — Не знаю... знаю... знаю...

— А где моя баушка? — Я уже и сам не понимал, что со мной происходит, меня била дрожь, в голове путалось. — Здесь она?

Небо подумало. И треснуло новым раскатом.

— Трудно ответить... Это надо всех поднимать... поднимать... поднимать...

— Так вы не знаете?!

— Точно не знаю... знаю... аю...

— А кто же тогда знает?..

Облако сдвинулось, лик в небе исказился то ли гневом, то ли скорбью.

— Баушка говорила, что вы знаете все-все и зачем знаете! Зачем трава? Зачем я?! Для чего умерла баушка? А? А? Что вы молчите?! Что?..

— Выше... ше... ше... ше...

— Что выше?

— Не знаю... знаю... аю... Чувствую... вую... вую... Он должен знать... Должен... лжен... лжен...

— Как мне пройти туда?!

Но небо не ответило. Небо треснуло с грохотом и раскололось пополам, и из самой середины сверкнули смертельные клычки острых молний...»

Что-то за спиной скрипнуло. Я был вынужден прервать чтение.

Через задний ход я вышел в сад. Дверь заросла лопухами так, что я едва продрался. Лопухи были чудовищной величины — каждый примерно с дверь, а иные и больше. Выдался в этом году урожай и на крапиву. Катастрофически быстро глушила она целое лето, без перерыва, все разумное в этом саду. И вот уже, на день моего приезда, из сочной, зубчатой ее зелени едва лишь виднелись молоденькие яблони.

Небо было пурпурно-зеленым. Белые, толстые тучи-махины неслышно переползали с той стороны, обещая на завтра непогоду... Я вспомнил, Алексей рассказывал мне, как подолгу лежит он на спине, вот, наверное, там, и безмолвное небо заставляет позабыть на мгновение про землю и само становится как бы землей... В торжественной тишине вздымаются и бесшумно распадаются полчища белых фигур, и кажется, что все это возможная, но не задавшаяся и потом в каких-то складах забытая, потерянная история — про несостоявшихся людей и несостоявшуюся жизнь, вот сейчас кто-нибудь свесит вниз длинные сухие ноги, включит наконец звук, и белые фигуры, наполняясь красками, будут становиться ясными и точными, и вот понесутся они уже с воплями на землю, поливая землю огнем, потом и кровью, но затем...

— Тега-тега... Тега!

Тишина. И пока я, так сказать, падаю с небес и сообщаю, кто бы это мог быть, заботливый, свежий стару-

печный голос на выгоне (а будто бы рядом!) повторяет спокойно:

— Тега-тега-тега!

Анисочка? Кто же еще?! Смуглое широкое лицо с белоснежной головой и черными, почти неподвижными зрачками. Каждый вечер, примерно в это время, Анисочка созывает и кормит своих несуществующих гусей, с той поры, как в лесу Тришкин Куст высадился не существовавший никогда немецкий десант.

Гуси в действительности когда-то существовали. Десант — нет. Это я специально проверял по всем районным архивам: ни одной строчки, ни одного примечания, ни одного выстрела за четыре года войны. (Правда, был один: когда расстреляли на задах старшину-интенданта из зенитного расчета, стоявшего здесь. Но и этот выстрел тоже, пожалуй, не имел прямого отношения к военным действиям.)

У короткого черного, с широкой, будто расплющенной вершиной деревца, похожего на библейскую смоковницу, — Алексей. Он полулежит, и отсюда, в сумерках, не видно: то ли книжку читает, то ли следит за Анисочкой...

Сейчас уж она расскажет... Если еще не рассказала. Я бесшумно падаю в траву, не выпуская одновременно их из виду.

— Тега-тега-тега!

— Анисья Лукьяновна...

Ну, вот. Началось. Самое интересное.

— Ну?!

Она всегда говорит это свое «ну», сурово и неприступно поджимая губы. А ведь добрее ее нет в этом селе, добрее, и словоохотливее, и простодушнее... Что-то случилось с ней тогда, сорок с лишним лет назад, в Тришкином Кусту. Была она, говорят, весела и, не сказать, чтобы красива, но «к себе привлекала». Высокого роста, гибкая, с длинной косой, глазастая и смешливая — и вот в одночасье поразил ее словно столбняк... Какая-то тайна во всем этом была... Но я себе после раз и навсегда

положил: что нельзя проверить и подтвердить — либо придумано по непонятному умыслу, либо по глупости перевернуто. В обоих случаях занимать голову подобной ерундой — последнее дело для трезвого человека.

Мудрый Виктор Петрович верно определяет цену всякого такого юмора. «Шутить — шутите, — говорит он нам, — но не доводите дело до вычетов из зарплаты».

— Что же, и стрельбу не слыхали? — тревожно спрашивает старушечий голос.

— Стрельбу?

— Да. Там. — Анисочка неопределенно машет легонькой ладошкой.

— Кто же, бабушка, стрелял?

Нарвался! Сейчас будет возмущение, затем и сразу же прощение. Внимание свежего собеседника все-таки дороже для этой одинокой души и самой злой обиды.

— Я те не бабушка!.. (Анисочка до сих пор для себя — в нежном, девичьем возрасте.) Я сама там была... Тайно... Я случаем там оказалась! — и заторопилась, и присела рядом с Алешкой. Я напрягся. Но голоса было слышно и так. Вечерний стеклянный воздух ничему ранней осенью не дает пропасть — ни голосу, ни стуку.

— Попервости-то один прилетал...

— Да кто это?!

— Так немец же, немец! Какие бестолковые... Иду я одна по Тришкиному Кусту... День от так, к вечеру... Вдруг! Зашумело! Зашумело! Я и глянь... Парашют летит...

— Парашют?

— Ну! Чую: немецкий... Шпион как будто... Я подай от него... Залегла... А сама-то, сама-а смотрю.

Алексей, я вижу отсюда, приподнимается.

— А он все по своей машинке, чего ему нужно было, передал. Сел на парашют — и поминай как звали.

— Улетел?

— Улетел!

Я прыскаю в кулаки в своем убежище. Анисочка

вздрагивает, рыщет споро глазами в мою сторону... Но, слава богу, не обнаруживает.

— А вы сказали: стрелял...

— Ну! — радуется Анисочка встречному интересу.— Стреля-я-яли! И еще ка-а-ак!

Тут Анисочка переходит на шепот. Слов не разобрать. Ну, уж ясно, уж чего еще там! Ты, скажет Анисочка, не верь. Не верь, что говорят... Я все своими глазами видала и своими ушами слыхала... Тут еще и обо мне, конечно, скажет: как я ее в школе поминал и разоблачал...

Это после моих двухнедельных сидений в архивах — такая злоба взяла, не выдержал, надо было мне по атеизму, про возникновение религии лекцию составить, так я соблазна не стерпел: уж я туда ее десант и вставил, уж я тогда Анисочку так уделал!..

— А он?

— А он и развалился!

— Это в другой раз?

— Вдругорядь, ага... Зацепил за чего-то — он и развалился. Прямо на мелкие дошечки рассыпался. Ну, он опять по машинке сказал чего пужно... Собрал все дошечки, проволоку-то взял...

— Проволока с собой у него была?

— Ну... Проволоку-то взял, проволокой-то все дошечки упутал-упутал, собрал ероплан свой да хотел уж было лететь... А тут милиция, да как выскочит! Как начали они стреля-ять, о-ё-ёй... Я за голову-то взялась, я в канавку-то закатилась, да так до ночи и пролежала упокойницей... Там мене добры люди и подобрали.

— А самолет?

— Куда-а им... Улетел! Я уж теперь не хожу: боюсь-а, а он летает... А уж он летает... Стрельбу опадись слыхали?

— Слыхал.

— Правда?! Не врешь?

Анисья встрепенулась, не предугадав такого поворота. По чести сказать, и я от Алексея не ожидал.

— Не вру. — Алексей приподнялся на коленях, неопределенно улыбаясь. — Во втором часу ночи примерно — да? Три выстрела подряд и еще два — с паузой? Так? Потом шум был у магазина, потом Тришкин Куст весь, до последнего дерева, осветился? Все так и было? Так? Так!

— Господи! Все видал?! — Анисочка стремительно стала подниматься, простирая руку к Алексею. — Все-е!!! Господи-и!..

И вскочила проворно на жидкие ноги. И побежала. Стала тишина. Прошло не меньше трех минут. Что-то заколыхалось в темноте, там, где сидел Алексей. И я услышал негромкий горький смех...

Дверца часов приоткрылась со звоном. И деревянная кукушка, беспрестанно кланяясь, сообщила, что пошел десятый час.

— Позавчера утром, — начал Алексей, — я ходил тут, по окрестностям, и обнаружил в Покровском овраге, там, помнишь, со стороны Тришкиного Куста? Обнаружил я памятник... Еще вечером у магазина стоял. А утром проснулись: он в овраге. Там же пол-Яшкина в этом овраге, бросили... Как так можно? Ну как?

Я хотел было объяснить, но он продолжал, нимало на мою попытку не обратив внимания.

— Да мне уже телефонограмму из сельсовета передали. Оказывается, не просто снесли. А снесли по плану. Но там же люди ходят мимо; хотя вроде и людям этим все одно, что там лежит... Ты с Огольцовым, конечно, знаком?

Да, Огольцова я знал. И про его «осадное сидение» уже тоже. Савелий Лукич Огольцов, однорукий фантазер, 60 лет от роду, был на войне, в 21 год потерял руку, но приобрел навсегда, как он сам говорил, «чувство фронта». В первый же месяц его трижды едва не убили... Впрочем, таких историй тогда было немало. Скорые

на расправу фронтовики в карман лезли не за словом; у многих там осело трофейное оружие. Так, например, судили Павла Бореева, дружка Савелия: повздорил на танцах молодой лейтенант, вспыхнул — пригласил его девушку какой-то приезжий штатский. Как?! Стоять! И — по зубам... Командированный оказался не из последних: лейтенант Бореев, не удержавшись, показал всему клубу свои желтые трофейные подметки.

Кончилось нехорошо. По неписанным правилам той, узкой полоски послевоенного лихорадочно-праздничного времени — фронтовика, победителя уж никак нельзя было касаться и пальцем. Праздновали!

Так вот, тот командированный так и остался в наших местах на Тришкинском погосте. А Пашка Бореев, позже уже и Пашка Палач, отправился тогда по «первой ходке»...

Огольцова как-то пронесло. Хотя и он не однажды хватался за карман галифе... Может, жалели: одиорукий все ж? А прославился одиорукий с тришкинским памятником. Решился его Лукич охранять. Ну, дело святое, всяк по-своему с ума сходит... Савелий, к примеру, предпочел это сделать следующим образом: взял в яшкинском сельмаге, у Дариковой, все что надо, протопал пару километров до Тришкинского Куста, и здесь, на краю оврага, ввиду лежащей конструкции, и распилил помаленьку, то ли в одиночку, то ли с кем в компании... Главное — тихо. У нас в районе главное — чтоб все тихо... А так, кому какое дело до твоей, до личной жизни?

Но нет. Не такой у Савелия характер, чтоб не вписать еще одну героическую страницу в свою биографию. Принес он, оказывается, вместе с бутылочкой ведро серебрянки. Зачем? Невинное желание: подповить памятничек...

Через пару часов о том, что у дороги на Покровское лежит новехонький обелиск, знали все в районе: три маршрутных автобуса в день, сотни две машин мимо проскакивает... Сычов Иван Петрович, председатель Со-

вета, взвился, обматерил заочно Савелия (очно, пожалуй бы, не отчаялся). Но скрепил сердце: послал людей устранить объект нездорового любопытства. Краску содрали. Ржавое железо присыпали слегка землей: хорошо ли, плохо ли, а дело сделали, — разговоры бы и прекратились сами собой.

Но не такой у Огольцова принцип, чтоб, значит, отступать. «Нет таких крепостей, которых фронтовики не брали!» Или еще: «Где Лукич — там победа!» Вот это — его принципы. Спальный мешок, палатка, пара фуфаяк, лопатка — что еще нужно солдату для жизни в походных условиях?

Поселился Савелий, кажется, надолго. Но это уже мало трогало проходящих и проезжающих. В наше время туризм в самой моде. Говорили, что его, Савелия, тут же заочно и оформили: в районную секцию туристов. Говорили, что из газеты приезжали снимать. Но это уже вранье: будь такое, я бы знал. Но, во всяком случае, вполне допустимо, что, не вмешайся кто-либо со стороны, поди, и удостоверение по всей форме вручили бы, и на областной слет делегировали... Всякое бывало в жизни нашего района. Помнится, праздновали юбилей одного литературного классика. У нас тоже пошарили что-нибудь связанное с великим именем — и представляете? Нашли! И едва ведь не уехал на республиканские чтения наш столетний Лукьян Яковлевич. И билет уже купили, и докладом озадачили, и теплой одеждой снабдили... В последний момент перед отходом поезда, правда, выяснили: с именем-то он, конечно, связан, и прочно, но довольно-таки деликатными узами. Гроб Лукьян Яковлевич классику заколачивал...

Но это мы в сторону отошли несколько. Оставив, кстати сказать, на диване нашего дорогого Алексея Ивановича.

И тогда я спросил у него прямо: как, собственно, все это соединить? Памятник, сам Тришкин Куст (тут я намеком, но дал как бы почувствовать, что знаю про

разговор в кустах, с Анисочкой), наконец, Пашка Палач и Огольцов? Как?..

Я полагал, что имею все основания получить исчерпывающий ответ.

— Да... Пошел ты... — весело засмеялся Алексей Иванович. — Сыщик, тоже мне... Хочешь знать? — обо-злел он вдруг. — Хочешь?

— Хочу.

— Тогда знай: позавчера ночью Прохожев с кем-то из областного начальства охотился в Тришкином Кусту на лосей.

— А памятник при чем здесь? — растерялся я.

— А они на обратном пути машиной его задели и повалили. До того набрались, что даже памятник не заметили. А потом... сгоряча, наверное, оттащили и в овраг спихнули.

Странная у него, однако, тишина в доме.

Тихо, знаете ли, бывает всегда по-разному. Вот когда откроешь глаза в детстве: солнце, прохлада, мама, верно, полы вымыла, доски влажные, в доме никого, все во дворе, но вот-вот сюда все войдут, зашумят весело, и станет праздник.

Тихо бывает перед грозой: еще миг — и грянет очищение. Тихо бывает в июле, когда растворяешься в зное, как соринка, и нет тебя, и нет сожаления...

У него же тишина, словно войну объявили.

Нет, я не стал против обыкновения расспрашивать его. Было у меня нынче какое-то неопределенное состояние... То ли почувствовал Алексей его, то ли просто так, но он решил почему-то показать мне свои работы...

Правда, он принялся поначалу говорить о какой-то своей поездке в Белоруссию (а когда он, кстати, там был?), но как только дошел до места, где он сидит, вспо-

мипасть. Хатынь и разговаривает сам с собой, как бы на два голоса, — тут уж, простите, но я честно запросил пощады... Этого я, прошу извинить меня покорно, просто-напросто не понимаю... Да и понимать, если честно, не хочу. Жизни нужны здоровые люди. А людям — здоровая психика...

Алексей махнул раздраженно рукой. И пошел за картинами.

Он ушел. А я рассматриваю фотографии, неряшливые рисунки: эскизы. Много мужчин в черных глухих формах. Много паровозов: могучих, мосластых, упирающихся в пространство шатунами, летящих по касательной в небо... Угловатые, крупные звезды на паровозных лбах, обдутых, отполированных всеми земными стихиями... Женщина с мягкими плечами, уставший рот, тихо глядящие глаза... Мать?

Хлопает дверь. Я откладываю все.

Стирая нечистой тряпкой пыль и паутину, Алексей вносит один большой холст, натянутый на грубую самодельную раму. Он не сразу открывает его мне. Он утаскивает его во вторую комнату, возится с минутой... Зовет.

Я вхожу. Алешка почти задернул шторы, свет приглушенный. Долго я ничего не могу понять. Пятна: красные, черные, пронзительно-голубые... И тут внезапно схватываю все разом: что-то такое... нелепое... происходит... Вид сверху. Кажется, с крыши... Тесный двор, зажатый корявым серым забором. Сразу за ним — черная безглазая махина паровоза, похожего на черного мамонта: вот-вот ступит он в пятачок двора. А пятачок этого на одну ногу хватит. Ступит — и все... А во дворе как бы праздник? Вот яркая тонкая фигурка с хохочущим лицом: гибко изогнулась, растягивая непомерно длинную гармошку... Вот пляшущие: один, два, три, четыре... Кто вприсядку, кто встав на носки сапог, а кто уже на руках по двору пошел... В фигурах, собранных в полукруг,

много страсти, силы и игры... Но схвачено все словно бы за миг до падения: бывает такое, развернется твое тело так, что долю секунды не знаешь, — удержишься ли на ногах или грянешься оземь... Так и здесь... Зависли в движении, в танце, в пляске, в летящем полукруге гибкие тела... А в самом полукруге...

А что у них в полукруге?!

В полукруге что-то грубо-квадратное, темное, красное, выпирающее прямыми твердыми углами.

Гроб?

Закрытый гроб. А вокруг: рвется на сторону гармошка, пляшут, не уставая, обалдевшие от веселья люди...

Странно... Как-то странно... По первам бьет. Взглянешь на людей. Праздник. Взглянешь в полукруг: похороны. Ну, зачем? Зачем он все это соединил?!

А подожди-ка... Подожди, говорю я себе, потирая вспотевший лоб. А ведь в этом что-то... Что-то такое, что больше... Шире слова, словом не ухватишь... Не дается это слову... Хотя...

— Жизнь продолжается? — смотрю я на него быстро.

Алексей пожимает плечами, усмехнувшись.

— И это...

— А что же еще?

— Да не знаю... — наклоняется Тарлыков за папиросами. — Ты смотри... Здесь все... Как есть... Здесь все нарисовано...

Я смотрю опять.

Так. Вот мужичок с хохочущим лицом. Я вглядываюсь в него, вглядываюсь: в разинутый рот, в размахнувшуюся за плечо гармошку, в полуприкрытые неживые глаза... Так ведь он же издевается, он же кощунствует?!

Так... А вот женщина. Девочка совсем. Тонкая, прогнувшаяся веточка... Пляшет... А будто не пляшет, а растет: столько в ней будущей жизни, в худеньком тельце, в раскинутых плавных ладонях, в сияющих глазах...

Так. И рядом другая... Гибкая, налитая, споро вы-

бывающая дробь каблуками... Цепкая, сильная, такая и на гробе спляшет, не задумается.

А вот мальчишка. Лет четырех. Толстый. Глупый еще. Он просто повторяет за взрослыми. Такой возраст. Жизнь для него еще — это когда весело... Топает, машет ручонками... А глаз скосил-таки на страшный ящик.

И еще один человек... Я сразу и не заметил... В глубине двора. У пышных, вылезающих на забор, ярко-зеленых кустов... Женщина. Пожилая женщина. Лица не видать. Охватила плечи и голову старыми руками, упала головой в колени... Одна и видна только сложенная набок белая голова... Она дальше всех от гроба. Она к нему всех ближе.

Я смотрю на Алексея. Алексей смотрит на меня.

— Ты назвал уже? Есть название?

Алексей смотрит на меня ничего не выражающими глазами.

— Не знаю... — говорит он будто сонно. — Может, как ты сказал... Может, так: Проводы... А может: просто, без названия...

— Как — без названия? — не понимаю я.

— Да так, — смотрит на меня неопределенно Тарлыков. — Без названия... Без названия — вот и все название... Ведь это — что? Тебе не ясно разве?..

Из документов, составленных или найденных впоследствии:

«...В марте или апреле прошлого года, я не помню, какого числа, я случайно увидела на столе у товарища Прохожева какие-то странные письма. Невольно я прочитала их. В одном из них Хицко Валерий Иванович писал женщине, что он не против какого-то ребенка, он готов поддерживать ее всячески, но необходимо все оставить по-старому. В другом конверте лежала квитанция из вытрезвителя

на имя нашего начальника райфо. В остальных были подобные же документы почти на всех наших руководителей района... Когда я поняла, что передо мной, я страшно испугалась за себя. Я хотела бежать, но тут вошел Прохожев. Я запомнила, что он улыбался... Он сказал, что все эти люди доверили ему свои судьбы как другу и что после того, что со мной случилось сейчас, они мне этого никогда не простят и найдут и под землей и под водою... Потом он мне долго объяснял, и я быстро поняла, что у меня одно спасение: и они все, и он, Прохожев, должен точно знать, что и за мной что-то имеется. Я сказала, что ничего нет. Тогда он сказал, что я нуждаюсь и что он готов объяснить, как это делается. Я не хотела брать, но поняла, что по-другому не спасусь... В общем, Павел Сергеевич подговорил меня нарушить финансовую дисциплину. Деньги (в сумме 235 рублей 87 коп.) я под давлением Прохужева вынуждена была взять. Примерно через две недели он подбил меня еще раз. Всю сумму, в 923 рубля 13 копеек, я вернула сполна. Из объяснительной Т. М. Таранкиной».

«Алеша! Я, уволь, не разделяю твоего мнения относительно науки: поверь мне, ширина и глубина взгляда и здесь тебе бы была не заказана. Во всяком случае, пожалел бы и сына, и Саньку... Не скрою, мне твое отношение к ней, точнее сказать, обращение с ней, по чести сказать — претит. Санька — кристальной души, сердечный человек. И ведь она баба еще. Ты понял меня, упрямый и настырный Тарлыков?.. Твой бывший руководитель, но настоящий друг Зоя Михайловна Уманская».

...И придет срок, и эта земля, погрязшая в неискренних плутнях и воровстве, возжелает соскрести с себя нечистоты: и тотчас поднимутся из тьмы новые пророки, они начнут горячо славить Бога, кланяться именем Господа, с жаром глаголить о близком наступлении Царства Небесного. Но не нами сказано: в Царство Небесное и вовек изолгавшимся не войти. И тогда эти лжепророки будут вынуждены повторять «Не убий!» и — убивать, «Не укради!» и — красть. И эта земля еще глубже погрузится в пучину греха — прелюбодейства с искренностью, разврата с мыслью.

о. Серафим, XX век

— Я разделаюсь с ним не далее, чем на этой неделе! — торжественно сказал Павел Сергеевич своей жене в пятом часу утра, проведя ночь в бесплодных попытках уснуть.

Было ли это сказано на самом деле, нет ли, но в 9.30 о клятве Прохожева знали в поселке все. Ближе к обеду мне надо было забежать на заседание антиалкогольной комиссии. Имелась возможность, конечно, отвертеться, сославшись на дела. Но я знал: будет обязательно и Павел Сергеевич, и решился, из чистого любопытства, побывать там и разузнать что-нибудь, если удастся... Павел Сергеевич оказался рядом, ну не то чтоб случайно, тут пришлось приложить некоторое старание, но оно себя оправдало полностью.

Павел Сергеевич был из числа людей, умеющих обставлять любое свое начинание со вкусом и тактом. Вот и сейчас он сначала позевал для приличия, полистал книжку и затем уже только, озабоченно постукивая по темной книжке чистыми суховатыми пальцами, шепнул

мне как бы с великой неохотой, разве что скуки ради:

— А вы слыхали новость?

Я проявил энтузиазм:

— Что-то случилось, Павел Сергеевич?

— Ну, вы прямо... Обязательно и случилось... — хорошо, просто улыбнулся Павел Сергеевич. И тут же усталю нахмурился. — Эх, как неприятно все складывается...

— У Тарлыкова?

— Да... Я не верю, нет. Но мне третий уже сегодня говорит, что Алексей Иванович кричит на всех углах: в Тришкином Кусту высадился какой-то десант! Что за десант? Зачем десант? Вы представляете, какой все это оборот принять может?!

«А где же Алешка... — соображал я еще туго. — Ведь не мне первому... Весь район уже верно только и говорит... Десант? Анисочка?... Черт бы его подрал...»

Я, против своих обычных правил, выскочил пулей, едва закончилась комиссия. На свежем воздухе, при виде яркого желтого солнца и голубого чистого неба, мысли мои пришли в относительный порядок. Надо было рассмеяться ему в ответ. Вот так и надо было — и рассказать со смехом про весь тот яшкипский разговор, за исключением конца, разумеется... Да, но поздно-поздно: не будешь же ходить по поселку и всякому встречному объяснять...

Признаться, меня все это, при том при сем, в общем-то, развеселило. Я, конечно, понимал, что такой оборот может выйти Алешке боком... Но господи, что ж так скучно у нас, если уж какая-нибудь интрижка начинает щекотать нервы, руки начинают чесаться и хочется что-нибудь такое для разнообразия предпринять...

И тут я придумал. Я пошел скорым шагом в редакцию. Предупредил машинистку, закрылся у себя. Достал чистый лист бумаги и в правом верхнем углу написал: «Юмореска». Заголовок? Заголовок, заголовок... А вот хотя бы: «НЛС»! И крупно — в три строки набрать —

с выделением заглавных: Неопознанные Летающие Сплетни... А? Каково?!

«Вы слышали, что в селе Н. ограбили магазин?» — спросил у меня сосед сегодня утром, в тот момент, когда я, уходя на работу, вытаскивал из почтового ящика свежие газеты и в результате уронил на тротуар свою шляпу. «Нет», — растерялся я. «Ну, как же! — снисходительно улыбнулся сосед, поднимая мой головной убор. — Нынче ночью, группа вооруженных бандитов».

И, склонившись к самому моему плечу, шепотом добавил: «Промышляют и днем... Грабят население прямо на улице... Особенно, говорят, привлекают их которые в хороших пальто и шляпах...» Я вздрогнул, понять мое состояние было бы нетрудно. Вернувшись, я переоделся: на всякий случай... Сосед понимающе похлопал меня при выходе по плечу.

Замечено: слухи рождаются преимущественно в потемках, в ночное время. Но вот приходит утро, и — исчезнуть бы им вместе с ночными тенями! Так нет. Рожденные причудливой фантазией, крепнут они, разрастаются в глазах легковых и при их посредстве. «Тут мне один знакомый сказал...», «Поинтересуйтесь на всякий случай...» И пошло, и поехало... Договариваются порой и до такого абсурда. «Вы не в курсе? — прижмет вас таинственно приятель в углу. — А в нашем лесу завелись... инопланетяне». — «Так в нашем лесу и грибы-то не водятся...» — отвечаешь скептически. Но куда там! «В Тришкином Кусту, из верного источника, сам видел, космический корабль, луч лазера, бронированные танки...» И так далее. И тому подобное.

Слухи, я считаю, надо пресекать в момент их рождения...

Я написал еще пару страничек, бросил их на машинку и закурил. План мой был прост. Опередить. Осмеять. Сорвать маску таинственности. Ну а если и не получится — что ж с того? Зато какая хохма будет! Конечно,

во всяком случае, ничего такого особенного... Просто... А если — получится?!

Я сразу представил Валерия Ивановича, говорящего по телефону: «Что? Какой десант? А-аа... Как же... Посмеялся и я, Павел Сергеевич... Что? Да ну, это все несерьезно... Загляните, кстати, в сегодняшнюю... Да, на четвертой... Смешно, подлец, накатал... Что тут скажешь, перо...»

Вот так. Вот так-то. Я вычитал, прихватил все скрепочкой и побежал к Мише. Мне, конечно, везло: Виктор Петрович был в Проворовске, заменял его Миша Крупенков, добрейшая душа и мой товарищ. Подбить его на актуальную юмореску, разумеется, труда не составило.

К вечеру мы выбрались наконец с Мишей в «Дубок».

— По две? — усмехнувшись, предложил Миша.

— Как обычно.

В зале было накурено. Люди стояли и сидели. Вообще-то здесь сидеть и курить не полагалось. Стены вразнойбой сообщали: «Алкоголь — враг твоих детей», «Вы застраховали своего ребенка?», «Никотин — это смерть», «Не кури, дурак, помрешь и так», «Лица в спецодежде не отпускаются», «Вынос и внос спиртного категорически не полагается», «Учитесь отдыхать культурно», «Отпуск пива с 8.00 до 22.00», «Куда пойти учиться?».

— Принимаете? — придвинулся приветливо старичок с четвертой.

Нам было нельзя. Мы были на работе. Старичок же не захотел настаивать. Плеснул только себе в пиво. Я начал к нему, досадуя, понемногу присматриваться. Личность его как будто была знакомая. Хмелел он быстро. Потеряв сразу интерес к нам с Мишей, тянулся худощавым и плоским ухом к соседнему столу.

— Да неправда это, — заметил он как бы походя. Соседи не стерпели.

— Чего? Орешь? Я сам видел, — сказал веско один из них, приоткрывая глаз. — И шурин рассказывал: три.

— Ну да... — засмеялся старичок. — Три-и... Сегодня

всю ночь гудмя гудели. Три.. И парашютистов твой шурин видел? А-а! Вот то-то и оно!

Старичка привлекли.

— О чем они это? — поинтересовался Миша.

— А юмореска? — тонко усмехнулся я.

Соседи уже стучали кулаками. Старичок воспарил над их столом в сером облаке дыма, воздев к лепному потолку неестественно громадные, по его-то росту, ладони:

— А план у них — всех нас...

Голос его утонул в нестройном реве: соседний стол выразил коренное несогласие с предполагаемым планом.

— А ученые куда смотрят?

— А начальство?

— Начальство смотрит вдаль...

— Всыпать бы этим ученым...

Дым рассеивался. Старичка не было. Но соседний стол не обратил уже на это обстоятельство своего внимания.

Сердце мое тут заволновалось. Кто он? Что ему здесь нужно было?

В несколько расстроенном состоянии мы вернулись к себе. Миша был весел, не замечая во мне перемен. Я не стал его разочаровывать: с полчаса еще мы с ним плоско шутили. Но меня... Меня уже не оставляла одна, не совсем еще ясная мысль...

Надо было, конечно, все ему рассказать.

Он встретил меня, сидючи за неприятно чистым столом: повеяло даже безжизненностью какой-то... На лбу багровел шрам. Улыбнулся. Он всегда улыбался почему-то при виде меня. «Андрюю-юша...» — и иначе меня не звал. Отчего уж — и не знаю... Я рассказал ему обо всем без купюр. Алексей как-то так сразу посерьезнел. Расспросил, ставя дельные, четкие вопросы. Посидел с минуту и...

— Андрюша! — обрадовался он какой-то внезапной своей мысли. — А скажи? А в какого ты Бога веруешь?

Он умел вот так ошарашивать... Чтоб потом, не выслушав, и провести над тобой черту, и вынести приговор. И высказаться — как же — как же, развесить словеса он любил...

Он долго говорил что-то из философии, спросил, читал ли я Фихте. Признаться, о Фихте я знал только из программы. Ну при чем здесь Фихте? Поэтому пришлось несколько сболтнуть.

— А знаешь ли, Андрюша, — заиграл он глазами, — у него есть один такой... маленький недостаток... Не знаешь, кстати, какой?

Я не знал. Да и зачем мне это знать-то?! Мы с ним незнакомы, какого черта привязался?

— А вот он какой... И Фихте, и Шопенгауэр, и Кант... И даже Гегель... Все они, эти философы, уговаривают сначала незаметно своего читателя принять за постулат «то-то и то-то»... Если им это удастся (они хоть и идеалисты, но большие мастера!) — дальше быстренько, быстренько строятся леса... Без единого гвоздя! Раз-раз, и — вот уже, поскрипывая, строение вздымается вверх... Вот уже мы штурмуем небо... Вот уже и очередной бог полетел вверх тормашками... Только не оглядывайся! Попял? Вперед! Лезь! Напролом! По силлогизмам! По умозаключениям! Стоять! Под ноги не смотреть, какие у нас там остались постулаты... Под ногами — вечность! Впереди — истина! Философ знает лучше тебя!.. Равняйся! С-ми-прна!!

Тут он вовсе уже разошелся, заорал так, что вздулся красно и выпукло шрам:

— Постулаты, твою мать! Омертвевшие, обесмысленные постулаты — вот что нас, людей, вечно губит... Конечно... Павел Сергеевич — это далеко... Не Фихте... К черту...

И сник. Будто выдохся. Упал на стул.

— Впрочем, тебе все равно... Скажи, тебя бессонница не мучит?

— С чего ты взял?

— Да так... Больной вид... Мне сейчас подумалось: ты не спишь, потому что не можешь никак решить, что было сначала: слово или дело... А? Так?

И захохотал. Смех у него был совсем идиотский.

— Надо, Андрюша, не верить на слово-то... чисто умытым. Прохожевым... У них всегда, конечно, зубки-то вычищенные и благоухает... А из нутра — смрад... Надо все своим умишком-то разымать, до самых до корней. А потом собирать...

— А если не соберется?

— А если не соберется?! — сверкнул он глазами грозно, но бессмысленно. — А и не надо... Не надо, Андрюша... Это куда честнее... Честнее твоего веселенького пессимизма.

Тут мы поспорили. Я говорил о том, что моя жизненная позиция — делать прежде всего дело. А это много полезнее, чем ломать голову и искать невесть чего и невесть где... Но разве его переубедишь? Он и потом еще долго меня... на меня производил впечатление... Притягивал и отталкивал. Одновременно. Даже теперь, когда его нет рядом, одно воспоминание — слишком широко и несколько вкривь расставленные глаза, с темно-блестящими, раздавшимися почти во весь глаз зрачками, — даже теперь от этого воспоминания становится порой не по себе несколько...

Интересно, подумалось мне сейчас, а он видел, как часовая стрелка движется?..

Он уткнул лицо в большие квадратные руки. Волосы его растрепались. Алексей, не поднимая головы, шептал:

— Я этой ночью был там. Сон мне приснился плохой. Я кричу. Шевелю руками. И понимаю с ужасом: ни язык, ни руки не работают... Неужели мы все спим, Андрюшка? И какие же страшные силы нужны, чтобы нас разбудить и не дать во сне умереть?!

И дальше он стал рассказывать, каким он видит наше совместное будущее — чистым и светлым. Однако по его словам выходило, что войны не избежать, если не уда-

стся победить Прохожева. Павел Сергеевич, кричал Тарлыков, как сумасшедший, украл, у идеалистов дугу познания! Туда, где у них Абсолютный Дух, Павел Сергеевич ловко себя подставил, и получилось: все, что только он еще мыслит, все уже в действительности существует! Конечно, орал Алексей, человека не так просто обмануть: у него глаза не на затылке! Но если придать идеализму тотальный характер? Если лишить человека иных источников информации и твердить каждый день одно и то же? Сознание податливо. Сознание можно усилить наркотиками, и оно примет в конце концов ту форму, которую выковал для него Прохожев. Алексей вопил: я видел сон, и мне был голос! Голос открыл, что полузабытый Беркли может быть объявлен пророком! Фельдфебели и недоучившиеся юристы тогда понесут его изображение на своих стягах, повсеместно объявляя досрочное наступление на Земле царствия небесного; Павел Сергеевич, отрыв в сундуке, обует скрипящие сапоги и станет философским фельдмаршалом. Его учение о единообразии разума и целесообразности жизни постепенно завоюет весь мир, найдя своих сторонников в каждом уголке планеты!

Все это нам не миновать, стучал кулаками по столу Алексей, если не удастся сегодня или, по крайней мере, на этой неделе разоблачить Павла Сергеевича. А вот если удастся разоблачить, то все, сапоги нам не грозят. Впереди рай или, другими словами, опять же... царствие небесное.

Алексей уже тогда, кажется, был близок к сумасшествию. В бреду он кричал, что жизнь человеческая не имеет цели. Что смерть есть часть жизни — но на более высоком уровне. Что мы сознательно обманываем человека, отвлекая его как от жизни, так и от смерти.

— Жизнь самоценна! Поняли вы там? Упивайтесь ею здесь и сейчас! Ибо, кроме нее, нигде и ничего не будет! — прокричал наконец Тарлыков почему-то в сторону печной отдушины.

— Короче, жизнь есть сон? Ну, это банально, — за-

смеялся я почти в открытую. — Мы все спим. А ты, выходит, уже проснулся?

Алексей медленно облизал пересохшие губы, улыбнулся какой-то расслабленной улыбкой:

— Хорошо ведь вовремя просыпаться? Правда? Вот бы еще раз? А?..

Возникает какая-то неловкая пауза. Мы смотрим друг на друга, слушая, как размеренно и необратимо идут и стучат часы. За раскрытым окном, в сумеречном саду, с шорохом и сочным чмоканьем падают крупные спелые яблоки. Сад живет своей, внутренне организованной и отдельной от нас жизнью. Что-то тихо постукивает, шуршит, всхлипывает, переворачивается, будто с боку на бок; вот ветка, вот другая, третья — закачались, хотя за окном ветра, кажется, и не было... Тихо. Воздух осязаемо-густой и влажный. Он стоит. Именно стоит за квадратом рамы: темный, глядящий мириадами неузнанных глаз — на нас, сквозь нас, дальше.

Скрипят часы. Ветка сама по себе шевелится. Аккуратно хрустит два раза гравий. Кажется, под ногою так хрустит. Кто же там? Кто там?!

— Алексей Иванович? — Голос знакомый, тихий, ласковый.

Мы переглядываемся, и я, сам не знаю почему, быстро и неслышно перехожу в соседнюю комнату. Занавеска колыхнулась за мной и замерла, оставив небольшую, удобную для глаза щелочку. В моей комнате черным-черно, у Алексея же ослепительный свет, и я вижу в свою щелочку, как из темноты медленно выходит Прохожев. На нем серая капроновая шляпа с миллионами вентиляционных дырочек. На шее капроновый же галстук на удобной, не слишком тугой резинке. Недорогой, неопределенного цвета костюм — из тех, что продаются в проворовском «Детском мире». Пиджак застегнут на все четыре пуговицы. Одной рукой Прохожев держит большой потрепанный портфель из кожзаменителя. Другой рукой — маленькую

руку ребенка. Ребенок, кажется, на редкость тихий и послушный.

— Погуляй, Мишенька, — ласково говорит Прохожев. — Вы разрешите, Алексей Иванович, погулять Мишеньке под окном?

— Да пожалуйста-пожалуйста! — как-то суетливо порывается вперед Тарлыков. — Может, чаю?

— Чаю хорошо. А лимончик у вас найдется? — говорит Прохожев, шуршит в своем большом портфеле и ставит что-то на стол со стуком. — Вот... А то там, на улице... Бр-р-р!

Мишенька молча уходит за окно, занимает строго ограниченную позицию в квадрате света и начинает тихо копать в песке и мурлыкать какую-то невнятную песенку.

— Вот, понимаешь, — объясняет Прохожев весело, но, кажется, без особого желания, чтобы ему поверили. — Гулял с внуком по окрестности. Вижу — огонек. Дай, думаю, зайду.

— И вот зашли, — насмешливо подхватывает Тарлыков. — Что-то это вас так на огонек и тянет, а, Павел Сергеевич?

Я вижу прохожевские глаза. Они до того прозрачные и голубые, что кажутся пронзительно искренними. И в то же время, когда вглядываешься в них, возникает и крепнет ощущение необъяснимой тревоги, вины, опасности.

Прохожев носит себя. Есть такой сорт людей, как правило, невеликих ростом и незначительных лицом от природы. Они вырабатывают в себе, видимо, годами умение как-то особенно двигаться, носить тело, голову, пиджак, галстук, даже штаны — и так носить по-особому, что невольно, подсознательно вызывают, будто выдавливают у окружающих инстинктивное чувство робости, неопределенности, ощущения собственной полной ничтожности.

Таким людям не нужны какие-то особенные вещи. Чем стандартнее их одежда, тем нагляднее их сила.

Они делают себя без перерыва на обед, каждый миг, каждую секунду, неостановимо и незаметно возвышаясь над вами. То, что обыкновенные люди считают целью, эти титаны называют целью, но эту-то цель давно и сознательно сделали средством. Одним из средств к достижению того, что есть цель их главная — возвышение и еще раз возвышение, рост, и если не по служебной лестнице, то хотя бы в глазах двух-трех десятков знакомых им людей. Эти знакомые люди должны навсегда привыкнуть быть робкими, должны не разучиваться теряться, тушеваться в присутствии титанов, с тем чтобы и дальние, глядя с расстояния на ближних и не находя причины их робости, тоже, на всякий случай, робели, автоматически передавая это полезное животное чувство все дальше и дальше... Когда же система отношений слажена и отработана, сильная личность позволяет себе изредка два-три демократических, щедрых жеста. Внезапно посочувствует вашему горю. Неожиданно похлопает вас по плечу. И что совсем неслыханно — посетует даже на робость и рабскую несамостоятельность ближних, и тогда дальние зайдутся в слезах умиления — поскольку вот оно, несложное доказательство выдающейся человечности, вот он каков на самом-то деле наш неприступный великан!..

И тогда уже всякое добро, кто бы его и зачем ни сделал, навсегда и прочно связывается с именем человека, умеющего носить себя. И тогда уже всякое зло, даже им произведенное, автоматически засчитывается на счет робких и таких рабски несамостоятельных ближних. Нет ничего более страшного на свете, чем умение по-особенному носить штаны... Это, честно говоря, не я сказал, это Тарлыков сказал. Но я считаю, что тут он в каком-то смысле высказал мои мысли.

Так вот, Прохожев и был из подобной породы людей. В великаны он, правда, не вышел, но можно сказать с уверенностью, что случилось это по какой-нибудь лишь нелепой ошибке. Все данные к тому у него были, и, сло-

жись удачнее обстоятельства, Павел Сергеевич у нас бы тут уж точно не сидел.

Не сидел бы он тут и не плел бы искусно и умело сети из полезных, подспудных чувств... Но он сидел. И дела сейчас то, что было у него, верно, на роду написано.

— У вас никого нет? — спросил Павел Сергеевич, экономно высасывая сок из кружка лимона.

— Нет, — сказал Тарлыков и закурил папиросу.

— Тогда будем открыто говорить, — сказал Прохожев и улыбнулся застенчиво. — Вы меня дважды ставили в крайне неловкое положение... И теперь я логично спрашиваю: зачем вам?

Тарлыков усмехнулся:

— Вы мне неприятны. Этого вам достаточно?

— Не-ет! — ласково не согласился Прохожев. — Так тоже не бывает... Мало ли кто кого не выносит и на дух, а терпит. И всю жизнь будет терпеть. А если перестанет — то либо по глупости, либо по причине... Но вы ведь умный человек. Значит, у вас причина?

— Причина.

— Так! — удовлетворенно сказал Прохожев и бросил в рот второй кружок лимона. — Слушаю вас. Рассказывайте.

— Это я к вам пришел? — удивился Тарлыков. — Или вы ко мне? Кому это надо? Мне — не надо. Рассказывайте! Ну!

— Ладно, — терпеливо и снисходительно перенес грубость Прохожев. — Будет вам. Начнем лучше с другого хода. У вас есть на мой счет документы?

— Документов нет. Но мне все про вас один человек рассказал.

— Кто?

— Неважно. Он уже умер.

— Умер? Замечательно!

Прохожев сел поудобнее, медленно и торжественно положил ногу на ногу. Величаво водрузил локоть на стол.

.. — Я знаю, — твердо сказал Прохожев, — что вы не из трусливых. И поэтому я вас пугать не буду. Но я знаю также, что вы много думаете. Знаю, что вы много места отводите вопросам совести. Уверен даже, что совесть вы ставите выше всего... Так?

— Продолжайте, — усмехнулся Тарлыков.

— Продолжаю, — довольно сказал Прохожев. И продолжил: — В своих мыслях вы заходите очень далеко. Слишком далеко. Я знаю таких людей. Вы из них. Из тех, что ищут. Распутывают. Разрывают. Копают... — Павел Сергеевич вздохнул участливо. — А кончается все, как правило, тем, что эти люди окончательно запутываются и впадают в отчаяние...

Стул под Тарлыковым закрипел.

— А что это вы так напряглись, а? — засмеялся Прохожев. — Я ведь только начинаю, а у вас уж желваки забегали?.. Мишенька! Вернись на место! Понял, ясный мой?

— Хорошо, дедуля!.. — отвечив охотно из-за окна Мишенька, возвращаясь на место.

— Все бессмысленно, — сказал дедуля Прохожев.

— Что?

— Все.

— Не понял я вас.

— Поймете... — вздохнул Прохожев. — Сейчас поймете! Вот тут... — Павел Сергеевич мягко приложил руку к сердцу. — Вот тут у меня — все. И область. И район. И кое-кто подальше. Ведь все мы, как говаривали в старину, грешны. Ни у одного из нас нет... У каждого есть хоть одно, хоть совсем маленькое, но пятнышко... Понимаете меня?

— Пытаюсь.

— Есть и у меня, да! И мне порой и подчас свойственно ошибаться, — весело удивился своим словам Прохожев. — И... у вас есть. Тоже есть, Алексей Иванович: маленькое. С зернышко. А имеется... Но, с другой стороны — и это очень и очень важно, — все мы теоре-

тически, по идее, числимся чистыми и честными. И вот теперь смотрите!

Прохожев медленно встал, прошелся значительно по комнате.

— Мы живем в эпоху сверхинформации. У кого ее больше, у кого она системнее, масштабнее, универсальнее — тот сегодня и Хозяин. Понимаете?

— Нет.

— Напрасно! — засмеялся Павел Сергеевич и потер энергично руки. — Нельзя недооценивать это. Иначе вы погибнете! Вот! — Он стал сжимать кулачок. — Вот мой банк информации! Здесь все — о сотнях людей. Все, что они предпочитают не помнить. А я помню. Эти люди связаны между собой тысячами видимых и невидимых нитей. Следовательно, владея банком, я владею и этими нитями! Этот банк я в любой момент могу привести в действие. Но я не привожу. Вот мой рычаг! Мочь — но не делать! Ясно?

Тарлыков молчал, опустив голову. Прохожев совсем разошелся, заложив руки за спину, он крупно, слишком для своего роста крупно шагал по комнате и горячо объяснял.

— Только от меня зависит, каким завтра человек проснется — честным или нечестным. И я его постоянно держу на этой грани! И вот вы идете к этому человеку... — засмеялся Прохожев внезапно какой-то своей мысли. — И говорите, что Прохожев негодяй. Вы даже даете ему факты! Но ведь он знает, что я знаю о нем? Знает! И что же он делает? Ничего. Но он, предположим, звонит другому и через другого пытается вывести меня из игры... И что же? А ничего. Полный ноль. Потому, что и другой, и третий в моем банке сидят. И все знают, что сидят. А если не знают, то догадываются...

Прохожев остановился.

— И это даже лучше: не знать, а догадываться! — Павел Сергеевич выставил перед собой ладони, медленно поворачивая их. — И есть, и нет! Было? Нету? Зна-

чит, никогда не было? Никогда не было?! А вот вам оно! Скушали? С аппетитом скушали? Хотите еще? Нет? Тогда сидите! И слушайте, что буду говорить вам я!

Прохожев отдышался, подошел к столу, осторожно отрезал кружочек лимона и бросил в рот. Детское лицо его сморщилось, порозовело, потом разошлось в улыбке.

— Вы понимаете, Алексей Иванович? — наклонился Прохожев. — Нет черного. И нет белого. Есть только то, что скажу я! ...Вы должны помнить, как снимали в Проворовске Радчинского — это при вас уже было. И за что, спрашивается? А всего за ничего, за совсем маленькое пятнышко — сына своего друга Иванова в институт протолкнул. Нехорошо, скажете? Так ведь тут как повернуть! Ведь талантливый же парень! Из народа! С хорошей биографией! Может, будущий Ломоносов, а?

Прохожев сказал это с искренней болью, с надрывом. Остановился, глаза его даже несколько перекосились — видимо, от вдохновения:

— Вы понимаете, мы ведем речь о судьбах отечественной науки! Мы отвечаем за будущее общемирового прогресса — а вы нам о такой-то мелочи? Да и что предосудительного в том, что товарищ Радчинский, как истинно мудрый руководитель, не зажимает талант из народа, а, наоборот, дает ему самый широкий простор для развития?

Павел Сергеевич хохотнул вдруг, провел ладонью по лицу. И через паузу продолжал:

— И тут выясняется, что товарищ Радчинский имел неосторожность не принять талантливую дочь товарища Петрова. Ах, вон как! Ну, это меняет дело! Я вообще не понимаю, товарищи, как мы до сих пор могли смотреть сквозь пальцы на проступки товарища Радчинского. Вы полюбуйтесь, до чего дошло — до кумовства, до злоупотребления служебным положением. А ну-ка, заглянем в личное дело товарища Радчинского — что там у нас? Ага! Два выговора. Правда, в разное время и по пустяковым поводам. Но что значит — пустяк? Вы что это се-

бе позволяете? А ну — со всей предельной принципиальностью! А в разное время — значит, линия, рецидив. И тут еще товарищи подсказывают: развелся. Когда? Десять лет назад? Так давали же ему время подумать. И он что, за десять-то лет не удосужился восстановить здоровую атмосферу в семье? Да еще (здесь имели место сигналы) — того, закладывает, говорят, заперевшись дома, за воротник. Раз в год? Изредка? Значит, скрытый и хронический? И вообще, товарищи, морально разложившаяся личность — как вы с ним еще здороваетесь? А ну, посмотрим, кто с ним сегодня за ручку-то? Никто? Точно? А вы и вы? Нет? Никогда? А ваше мнение? Недостойно? А ваше? Осудить? Значит, вы двое и выступите — от имени и по поручению коллектива... Что значит, нет времени? — это поручение. Да. Сверху. Имели в виду вас. Надо оправдать. Оправдаете? А попробуйте только не оправдать!..

Тарлыков смотрит расширившимися от страха глазами на Прохожева. Павел Сергеевич замечает это. И прекращает говорить.

— А что вы обо мне можете знать? — наконец выговаривает Алексей.

— Проверяете? — обрадовался Павел Сергеевич. — Ну вот, скажем. Первое. Я тут немного подсуетился. И вас... почему-то не утвердили директором.

— Это ерунда!

— Хорошо. Тогда второе. Пожалуйста... Вы убили своего отца.

Когда он это сказал, я едва не упал с табуретки. А Алексей — тот замычал, занемовал. Но Павел Сергеевич сказал жестко:

— Садись.

И Тарлыков сел. Сел до того послушно, что невольно породил во мне всякие сомнения... А Павел Сергеевич поднял глаза к потолку и будто бы там, на потолке, прочитал:

— Гражданин, назвавшийся Алексеевым А. И., неод-

пократно, в ожидании телефонных разговоров, плакал и выкрикивал: «Я его убил! Я его убил! Ну, зачем, спрашивается, я его с места тронул?!» В связи с чем и был предпринят вызов наряда милиции...

— Я хотел его спасти, — выдавливая из пересохшего горла Алексей.

— А кто знает, что вы на самом-то деле хотели? — улыбается Прохожев. — Темное дело... Темное!

— Этому никто не поверит, — почему-то шепотом сказал Тарлыков.

— Спорная вещь, да? — развеселился вновь Прохожев. — А мне и нужны спорные вещи! Именно такие! То ли так, то ли эдак было, — а ведь было? Что-то было? Нет дыма без огня, а? И — тень! Тень! Один пожмет плечом, другой испугается, третий и четвертый замолчат при вашем появлении — и все! И хана Тарлыкову! Он сам себя собственной совестью заест, докончит дело, начатое отцами! А, собственно...

— Что? — не вынес Тарлыков.

— Собственно... — устало сказал Прохожев. — Этого и не требуется. Не надо никому ничего говорить. Вы-то знаете. И мучаетесь. И я знаю и за вас... мучаюсь: как же вы так, а? Что же вы сделали-то? А? А?!

Тарлыков резко поднялся.

— Вон!

— Нет, — сказал просто Павел Сергеевич. — Это для вас было бы слишком красиво. А красоты нет. Как нет черного и белого. Есть лишь знание и незнание. Незнание есть жизнь. Знание есть смерть. И вы должны узнать, что я о вас знаю...

Тарлыков медленно садится и берется руками за голову.

— Так вот, — садится и Прохожев. — Это не все. В моем банке еще кое-что для вас имеется. Полезайте-полезайте! Не стесняйтесь! Всем места хватит!

— Вы о чем, Павел Сергеевич? — Голос у Тарлыкова почему-то дрогнул.

— А! — веселеет Павел Сергеевич. — По имени-отчеству? Давно бы так... с Хозяином... Так вот, вы очень, я бы даже сказал, болезненно сильно любите отца и мать. И при этом с отцом вон что сделали... А мать... А мать обвинили в том, что это она разбила памятник.

— Не обвинял я! Нет! — закричал Тарлыков. — Это я разбил! Я! Я никого не обвинял!

— А зачем вам это? — улыбнулся грустно Прохожев. — Зачем своими-то руками? Зачем, если можно чужими? Ведь мама ваша сама себя казнит, а вы? Вы помалкиваете?

— Уйдите... — шепчет Тарлыков, и плечи у него трясутся. — Уйди, сволочь... Я тебя ненавижу... Ненавижу!

— Вот! Вы меня за правду ненавидите. А я вас за эту правду... люблю, — сказал Прохожев на полном серьезе и торжественно. — Я люблю каждого из вас и хочу, чтоб вы стали чище. Добрее! Честнее! Я хочу пробудить вашу дремлющую совесть. Совесть! Вот что необходимо! Совесть и страх! И еще — бессилие! Тогда вы станете задыхаться в ваших собственных домыслах! А я буду поддерживать в вас жизнь! Я буду вам лучиком надежды!

— Вон! — Тарлыков нагнулся и взял в руку табуретку.

— Поосторожнее, — сказал тихо Павел Сергеевич. — Вы меня сейчас ударите. А я умру. А вас посадят. А у вас тяжело больная мама... Она этого не перенесет... Вы меня поняли?

Тарлыков роняет табуретку и отворачивается к стене.

Прохожев внимательно, оценивающе разглядывает его. И говорит:

— Это опять не все... Вы подыграли как-то недавно одной больной старушке. А старушка побежала делиться новостью, оступилась на бревне, ну, там, через речку, где раньше у нас был мост... И — амба старушке! Хрясь — открытый перелом! Как же вы это, Алексей Иванович? А если она умрет? А если мама умрет, а? Придет какой-

побудь дурак и скажет про вас что-то не того — и из нее дух вон, а?

Он прохаживается по комнате, по-хозяйски спокойно и продуманно расставляет стулья.

— Вот видите, как у вас все нелепо выходит? — сочувственно и с укоризной говорит Павел Сергеевич. — А если не будете слушаться меня, то выйдет еще хуже. Вы будете людям добро делать, а люди отшвырнут вас, как отшвыривают пиявку. Или даже не заметят вас. Не придадут значения. Не удержат в памяти — таким вы незначительным им покажетесь... И тогда вы от бессилия начнете творить зло. Добра вам не надо? А тогда вот вам зло! Вы станете делать всякие пакости человечеству единственно из любви к человечеству. Вы захотите пробудить ближнего. Потрясти! Напугать! А он, ближний, вас за это привлечет... Или, пуще того, не обратит внимания. И тогда — все. Конец. Точка. Этого вы, гордый и сильный человек, перенести не сможете... Алексей Иванович!

— Что? — Голос у Тарлыкова совсем осип.

— Я испытываю к вам уже теплое, дружеское чувство. — Прохожев улыбнулся презрительно ему в спину. — Вы мне уже дороги, как... продукт моего труда. Я не хотел бы, чтобы злая судьба отняла у меня вас... Давайте дружить?

— Пошел вон.

— А вы будете меня слушаться?

— Никогда!

— Все правильно, — пожимает худеньким плечом Павел Сергеевич. — Иного, честно говоря, я от вас и не ожидал. Тем-то мне и нравится идея как следует заняться вами...

Павел Сергеевич поднял со значением палец вверх:

— Знайте! Ни одно ваше начинание добром не кончится. И чем сильнее вы станете дергаться — тем хуже для вас. Чем честнее и бескорыстнее вы будете совершать поступки — тем смешнее, а может, и гнуснее вы

будете выглядеть в глазах людей. Я в этом буду виноват? Нет! Я ведь могу и так: я и пальцем о палец не ударю. Я даже могу не прибегать к помощи своего банка... Да у меня его и нет, если сказать честно... Вы просто будете попадаться всем под ноги, тыкаться не туда, не к тому, не с тем. Все время — не вовремя. Вы нерядовой человек. Вас нельзя под одну гребенку. Так вам нужна другая гребенка? А где ее взять? От одного такого вопроса любому скучно делается... А будешь лезть — просто причешут. Пригладят. И обкорнают. И снимут волосы. А если брыкаться будешь — так вместе с головой. Понял? Уяснил, товарищ Алеппа?

Тарлыков поворачивается к нему и медленно идет мимо него к двери. Останавливается.

— А если все это... на магнитную пленку, а? — Тарлыков смотрит на Прохожева безумными веселыми глазами.

— Записываете? — интересуется Прохожев.

— А как же!

— Так ведь то одни слова... — печально говорит Павел Сергеевич. — Вам, знаете, как скажут? Улыбнутся и скажут, и похлопают еще, как известного всем дурачка, по плечу: этого не было! Да и в принципе, товарищи, не могло такого быть! Послушаешь — дичь какая-то... Так в жизни не бывает... Очень уж страшно, если допустить, что такое может быть... А если все же так, то где же факты? Где факты, Алексей Иванович? А без фактов, что же получается? Покуражился Прохожев, напился, пьян был, бил посуду, нес ахинею, бред какой-то несусветный сочинял — и ему верить? Так в вытрезвителе, знаете, что несут? И всем верить? И по каждому бреду принимать меры? Да вы чего, Алексей Иванович? Вы в своем уме? Вы за кого нас принимаете? Как у вас самочувствие? А наследственность? В роду не было? Нет? А на учете? Не стоите? А ваша прабабушка в девичестве не употребляла?

Прохожев остановился, передохнул. Покрутил удивленно пальцем у виска.

— И не пытайтесь, — посоветовал он Тарлыкову. — Вам же боком выйдет. Видите, к какому вы можете прийти финалу?.. Советую пленку... того, если действительно записали. А если свидетель... там сидит, — он указал пальцем на мою штору, — то он и сам помолчать догадается... Есть на свете вещи настолько страшные, что мы в них попросту не в силах поверить. Вот вы не верите, что умрете? И я не верю. А в атомную войну? Всерьез? И я — нет! Это — не по нашей психике. Это — больше нас. Головки у нас слишком маленькие, чтоб это постигнуть. А кто постиг — того уж нет... И далеко не все умирают от старости. Ясно? Так что лучше оставьте свои страшные сны при себе. Для внутреннего, так сказать, пользования. И действуйте, как... — Он замолчал. И внезапно засмеялся. — А поступайте как хотите! Ведь это ни-че-го-шеньки изменить не сможет!

Павел Сергеевич застегнул портфель, надел шляпу и, смущенно улыбнувшись, молча вышел. А потом все надолго затихло.

— Дьявол, — сказал я, качая в темноте головой. — Черт... Настоящий черт... с рожками и в галстук на резинке.

Я вышел на свет. Алексей сидел на корточках и втирал в виски нашатырь. Запах резко ударил в мои ноздри, вызывая тошноту.

— Я, кажется, с ума схожу, — сообщил Тарлыков мельком.

— Не надо, — попросил я.

— Да я и сам знаю, что не надо, — вздохнул Тарлыков. — Да ведь ты же все слышал?.. Ну? А я еще сомневался, будто я его придумываю... Я же ведь о нем это написал... Андрей!

Он поднялся, достал из стола рукопись.

— Вот, — сказал Тарлыков. И лицо его мученически

сморщилось. — Тут. Все. Прочитай. Тогда поймешь многое.

Я замялся, не зная, брать или уже не стоит? Алексей это понял по-своему.

— Не бойся! — сказал он тихим голосом. — Читай... Тебе я еще... доверяю.

Из документов, составленных или найденных впоследствии:

«...По предположительным данным, близ железнодорожной ветки в районе станции Астахово-Товарная была произведена с воздуха высадка вражеского немецко-фашистского десанта группой в количестве 4-х человек. Начато преследование. Павел Сергеев для Двенадцатого. 7.IX.41 г.».

«...С большим и обстоятельным сообщением на пленарном заседании выступил почетный гость литературного музея-усадьбы Л. Я. Борева. Он привел любопытнейшие факты, неизвестные ранее науке, относительно последнего периода жизни великого писателя и рассказал о своих продолжительных и душевных беседах с ним. Л. Я. Боровев принял несколько приглашений, поступивших от ряда научных организаций и ведомств».

(Из информации, опубликованной в республиканской печати.)

«...А еще доводим до вашего сведения, что наш колхоз — перерожденец. Половина членов, являясь на самом деле скрытыми подкулачниками и вредителями, проводит подрывную работу, направленную на искривление непримиримой генеральной линии. Вести открытую агитацию они, правда, опасаются. И поэтому помалкивают. А их ударный труд одна сплошная видимость. Работают якобы за

двоих, но чтобы только не разоблачили! А всех покрывает председатель Лука Федотыч Огольцов. Когда мы перед ним поставили вопрос разоблачить хотя бы часть вредителей, он нам без стеснения и нагло заявил, что лучше сам пойдет и никого из колхоза не отдаст. И кто бы нас самих поскорее разоблачил. И что таких, как мы, давно пора ставить к стенке. Из этих слов мы делаем правильный вывод: Огольцов законченный враг. И его надо раздавить как гниду. Общественники села Япкина Павел Прохожев, Антон Борсев, Павел Борсеев. 10. VIII. 38 г.».

IV

...Бог позаботился, чтобы эта страна оставалась неизвестной, пока народ ее не будет готов. Тогда он избрал меня своим посланником, и я нашел эту страну, и она стала общим достоянием...

Редьярд Киплинг, XIX век

Конечно, сны вещь впечатляющая, но при всем уважении к потусторонней действительности я бы на месте Алексея Ивановича думал побольше и о том, как выкрутиться из положения, в какое мы попали по эту сторону... А положение, надо сказать, усложняется с каждым часом. Прежде всего, моя юмореска не достигла ожидаемого эффекта; более того, эффект был обратным. Уж не знаю, и как это случилось, с моей стороны, я уверен, не было допущено ни малейшего... И меня в чем бы то ни было заподозрить может разве... Ну не будем, впрочем, вдаваться в ненужные подробности, перейдем к делу. А дело было так. Наутро Валерий Иванович действительно развернул газету и нашел, по его словам, лишнее под-

тверждение тому, что редактора ни под каким предлогом и никогда нельзя отпустить...

— Провокация! — твердо сказал Валерий Иванович, едва я, по его звонку, переступил порог. — Ты понимаешь это, понимаешь?..

Ну, я не буду пересказывать все, что услышал в свой адрес: Валерий Иванович любит заковыристые слова типа «провокация». Важно другое: Хицко не выдвигал решительных формулировок относительно меня. (А впрочем, что он выдвинет? Все старо в этом мире, как сам мир...) И второй пункт: он очень дотошно интересовался Алексеем Ивановичем. Как, почему, кто родители, нет ли судимых, откуда пошел слух... Многие подробности я, разумеется, не знал. Но по последнему пункту, кажется, сумел его переубедить... Я разливался соловьем! Ведь совершенно ерундовый случай, кто бы знал, зачем же придавать такое значение... Чисто медицинский казус — и не больше. Психотерапия, так сказать. Что? Не знаете? Ну, вот: хотел психологически воздействовать... Резко. Клин клином. А получился непредсказуемый результат... Но кто мог предполагать, что Анисья Лукьяновна примется после этого рассказывать с утроенной энергией? Да еще и ссылаясь на авторитетное мнение яшкинского директора! Кто мог такое вообразить даже?!

И Валерий Иванович отпустил меня с миром. Но на этом, однако, неприятности не кончились. Только я из райкома — и чуть не нос к носу: Авдеев. С ним старичок давешний, с руками-кувалдами...

Коля дурачок, конечно, но свое дело знает крепко: нюх у него, какого поискать.

— Знаешь, это кто? — для начала кивнул Коля на старичка.

— Кто? — растерялся я.

— Да это ж знаменитый бандит Пашка Палач! А в войну он был правой рукой у Прохожева!

И дальше Коля рассказал, что никаких документов, подтверждающих, будто Прохожев оговаривал людей в

известные годы, а потом браконьерствовал, брал взятки и шантажировал, нет и быть не может. Оказывается, Павел Сергеевич кристальной честности человек. И на каждый случай у него имеется справка.

Выясняется, что и увозили Павла Сергеевича с вечера воспоминаний не на служебной машине, а на «Скорой помощи». Диагноз: предынфарктное состояние. Ого-го! «Да какой там инфаркт?! — перебил я Колю. — Я же Прохожева на следующий день видал: здоров, аки бык...» Коля не стал меня слушать... Коля отвел меня еще дальше и сказал: «Старик? Ты ослеп? Не понимаешь? Шью-ют! А когда шьют — что важнее, как было или как документ свидетельствует?»

И последнее, чем меня Коля вообще пригвоздил: из всех мест идут известия, что юмореску мою восприняли в буквальном смысле... То есть извращенно! То есть поняли чуть ли не как репортаж с места события!.. Господи-боже, я так прямо расстроился, что даже не попрощался с Авдеевым, уж про старичка с руками и вовсе забыл расспросить...

Двое-трое знакомых, встретившихся мне по дороге, добивали меня поочередно.

— Ты думаешь, твоя статейка что-нибудь изменит? Завтра же они будут здесь, на камнях этой площади! Попомни!..

— Не расстраивайся... За правду надо уметь страдать... Если будут вызывать, ссылайся на меня, я тоже кое-что видел...

— Да что ты видел-то?!

— Как?.. Походный лагерь — раз. Ракета-носитель рядом лежит — два. А нынче ночью весь Тришкин Куст ходуном ходил, это что, спроста? Не-ет! Фары, прожектора до самого утра, говорят, светили... Кого они только искали там?

А последний, грузчик из «Соки — воды — пиво», циркнул цинично слюнями рядом с моей ногой и спросил:

— Заставили про лосей скрыть? Или сам?.. Ну-ну.

Валяй дальше... Валяй! Но правду, — предупредил сп меня зло, — в мешке не утаишь...

В «Дубке»... Что же, в «Дубке» только и разговоров, что о тришкинских инопланетянах... Что до инопланетян, я уж тут и не удивляюсь: сам, сам виноват...

Я пристраиваюсь на подоконнике: сегодня народу что-то сверх обычного.

— А кто он такой, Лазарь?

Я резко оборачиваюсь. Аккуратно прихлебывая, мужичок с маленьким суховатым личиком интересуется вежливо у здорового деда в поношенном летнем пальто и с палкой. Дед вполоборота ко мне: лицо крупное, красивое, окаймленное бородой. Но словно бы молью траченное... Это бывший наш поп Серафим Труфанов.

— Лазарь, сын мой, — святой человек. В отличие от нас с тобой, хриstopродавцев окаженных... Ну, эт я так, к слову — не бойсь... Тебе-то он зачем? Сказывай...

И почмокал красными, будто вывернутыми губами.

Мужичок отставляет твердо кружку, вытирает платочком мелкий рот.

— Я не про этого Лазаря-то. Я про этого вас спрашиваю.

— Про какого такого «про этого»?!

— Чего вы? Ясно ж написано: луч Лазаря... А кто Лазарь?

Побитый молью Серафим медленно встает с бочки. Он встает и встает, и кажется, что никогда не кончится — до того у него чудовищный рост... Отец Серафим снимает неспешно засаленную шляпу, приглаживает, загадочно улыбаясь, белые концы на буром черепе. И вдруг рывкает:

— Встать!

Шум смолкает. Дым рассеивается. Удивленные лики просовываются сквозь облако к нам.

— Встать, су-укины дети!.. Кто сказал, что Земля умерла? Что она от пожара сгорела?!.. А-аабъявляю...

вта-аа-рое... прише-ествие... Ла-а-азаря! Па-ахлопаем, товарищи...

И выталкивает вперед себя перепуганного мужичонку. Отца Серафима уносят. Он охотно отдается в руки правосудия. Покачиваясь на широких плечах дружинников, остервенело ширяет суковатой палкой в шею впереди идущего. И блаженно, широко улыбается...

Палку отнимают. Тело выносят окончательно. Что ж, настроение по всем статьям испорчено. И я ухожу домой.

Просыпаюсь я от смеха, от собственного смеха: не могу вспомнить, что снилось, но сразу же, едва открыв глаза, — счастливое ощущение, что сегодня-то все будет — полный порядок...

Я умываюсь и причесываюсь, поглядываю на себя в маленькое дешевое зеркало. Ха! И ничего ведь особенно-го: серенькие волосики набочок, пряменький аккуратный носик, без явственных следов титанических страстей, голубенькие простодушные глаза... Простодырый — так меня дедушка и звал. Но! В этих глазах, если надо, присутствует резкий и насмешливый ум. А в прямой и горькой складке рта — так много уже окиси железа... Еще бицепсы напрячь не хватало... Напрягу — и полный порядок.

Конечно, полный порядок. Отгул, на работу не идти, да и утомился я, честно сказать, от всех этих мелких неприятностей. Я устал от новостей: самая лучшая новость, как любит говорить Виктор Петрович, это когда никаких новостей... Я разворачиваю труд моего друга Алексея Ивановича. «Бог позаботится, чтобы эта страна оставалась неизвестной...» — буквы налезает одна на другую, по почерку, по такому-то почерку, в крайнем случае, можно уже определить, что это за человек писал... Так, где прошлый раз я остановился? Где там Тарлыков идет на седьмое небо?

«— ...Он должен... лжен... лжен...

— Как мне пройти туда?!

Но небо не ответило. Небо треснуло с грохотом и раскололось пополам, и из самой середины сверкнули смертельные клычки острых молний.

— Как мне пройти туда?!

А из зияющей середины медленно, с нарастающим ревом потекла кроваво-красная лава. Ветер подхватил жар и понес в мою сторону, волосы затрещали, зашевелились и стали подниматься, едкий дым пошел снизу все быстрее и быстрее: тлела рубашка...

— Ма-маа-а!!!

И тут все сразу переменялось. Дым начал рассеиваться. И мне вроде новое видение. В стороне от пропасти черными от времени, широкими ступенями уходит постепенно в небо каменная лестница. Я, оглянувшись, ковырнул ногтем ступень: неужели ей тоже тысяча лет, а может, даже и целых две тысячи? Вдруг камень засветился какими-то знаками, и я прочитал: 1954 год от Рождества Христова. Я стал подниматься по лестнице. Ох, и тяжела ж была эта дорога. Каждая ступень шириною, наверное, в футбольное поле. Лестница была пустой. Лишь иногда, хихикая, мне дорогу перебегали какие-то бледные теппи. Но я шел. Позади была пропасть. Далеко-далеко впереди, в розоватой дымке, возвышалось что-то могучее и темное. Это, наверное, был Он. Сам. Дальше ведь некуда?

Не помню, сколько я одолел ступеней, когда далеко внизу, у начала лестницы, как будто море волнами заклокотало. Я повернул голову. И обмер: за мной из пропасти катилась бесформенная серая масса. Я закричал и по-

бежал в сторону. А потом сразу понял: это не масса. Это, кажется, люди. Или, точнее, то, что здесь могло остаться от людей. Их было много-много тысяч. Может, даже вообще миллион. И они шли и молчали. И это было самое страшное. Когда они стали догонять, я заранее закрыл руками живот и голову. Но они не заметили меня, вроде я здесь и не был.

Это были какие-то странные люди. Они шли рядами, как на демонстрацию, только в такой одежде, в какую теперь никого и ни за какие деньги не оденешь. Фуфайки в клочьях грязной ваты, рваные тулупы и полушубки, распоротые суконные пальто, длинные до пят, продырявленные шинели. Кое-кто в шляпах, остальные в натянутых до самых бровей шапках и фуражках. Царапали ступень костыли и протезы. Звенели, чиркая о камень, лопаты и заступы. Трещали телеги: их, впрягшись в оглобли, волокли люди. А в телегах лежали, видимо, те, кто не мог идти... Все почти шагали босиком. Я заметил, какие у них черные ноги, руки и лица.

Я искал своих. Но, конечно, не находил ни отца, ни баушку. Я шел сбоку и очень устал за это время. Слабость потекла от живота к сердцу. Я закачался, повалился на камни.

Дальше не все помню. Навернос, кто-то пожалел меня, поднял и положил в телегу. Когда я очнулся, все уже остановилось, и какой-то бритоголовый дед (у него в ногах меня и положили) закричал темным ртом без десен:

— Черт! Отодвинься щас же! Да поберегись! Тиф кругом! Тиф!

Он уронил без сил бритую голову в серую солому. Слышно было, как стукнула кость о дерево. «Какой еще тиф?» — подумал я, но

отодвинулся, мне-то что? Я даже встал в полный рост, чтобы лучше видеть. Тут выяснилось: моя телега во главе колонны. Только не все хорошо слышно.

Я осмотрелся. Колонна, оказывается, остановилась невдалеке от деревянной зеленой будки. Рядом с будкой стоял худой высокий старик (с непокрытой головой, в дорогом пальто, как у профессора, и с белым шелковым шарфиком). А перед колонной ходил (даже почти бегал) человек в желтой фуфайке, перепоясанной ремнем, и с полосатой палочкой под мышкой. Рукой, одетой в шерстяную перчатку, он постоянно вытирал покрасневший от холода нос (видимо, простыл) и спрашивал с неуверенностью и тревогой:

— Ну? Зачем вы без вызова явились? Сказано вам русским языком: идите отсюда! Все свободны!

Из первых рядов сильный голос:

— Ты хоть намекни по-свойски, браток, где Отец? Куда они его дели?

Постовой замялся. Стал шептать что-то своему профессору.

— Преступник! Преступник! — крикнули из задних рядов.

А из рядов за телегой уже скандируют:

— Все равно не спрячете! Доберемся до Него! До живого либо до мертвого!

За телегой зашикали. Послышался глухой звук. Вскрик. И там что-то упало. А со всех сторон сдвинулись, зашумели вразнобой:

— Да скажите вы наконец правду!

— Как же, держи карман шире!..

— Дайте, в конце концов, нам веры!

— А вот вам, нет вам веры!

— Приведите Его сюда! Пусть перед нами лично за все отчитается!

В этот момент профессор выступил вперед, вскинул руку в перчатке (все сразу смолкли). И улыбнулся грустно.

— Вам что нужнее все-таки: правда или вера? — спросил он тихо, но так ясно, что и в некоторых рядах за телегой слышали.

Колонна задумалась, не отвечала. Потом кто-то сказал:

— Правда!

Кто-то сказал:

— Вера!

А кто-то не сразу, но вспомнил:

— Но ведь прежде, кажется, это было одно и то же?

Профессор молчал.

Дед за моей спиной, в телеге, не поднимая головы, произнес в беспамятстве, но явственно:

— Вьются, так кругами и вьются... О Господи! Спаси нас, Господи!.. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа... Аминь!

Профессор кашлянул в туго обтянутый черной кожей кулак.

— Если вы захотели правды, то вот вам правда: Он мертв.

— Ну, спасибо и на этом... — прошептал кто-то впереди меня.

— Неправда! Ложь! Ложь! — закричал истошно женский голос в задних рядах. — Отец жив! Отец жив! Он бессмертный! Это вы все мертвые!

Постовой не сдержался и зареготал:

— Мы-ы?.. Да то вы ж мертвые? Вы же, совсем там полудурками сделались, что ли? А мы еще с вами тут чикаемся...

Профессор смерил его взглядом. И человек

с полосатой палочкой отошел от него на безопасное расстояние.

Тогда профессор повторил свой вопрос:

— Так вам веры в Него? Или правды о Нем?

— Отец не мог умереть! Верить хочу! — заплакал вдруг я. — Дайте поверить хоть в чего-нибудь!

Вокруг засмеялись сочувственно. А профессор с осуждением покачал головой:

— Вот мальчишки пошли. Для них, оказывается, есть что-то дороже света истины!

Тут из первого ряда выдвинулся высокий, широкоплечий, в мятой железнодорожной фуражке и меховой жилетке:

— Правду, правду сынок говорит. Вы, конечно, ученый человек. И все ж таки вы на мой вопрос ответьте. Я вот перед войной пятидесятилетником стал...

— Это как? — приподнял бровь профессор.

— А это пять тысяч паровозного пробега без ремонта. И как стал пятидесятилетником, вот даже эту жилетку в награду вручили. А вы теперь нам такое говорите, что, получается, я напрасно тогда в сальном годами прел. Напрасно я в горящую топку лез, когда потекли пробки...

— Как же напрасно? — усмехнулся невесело профессор. — Вас вот жилеткой наградили.

— Да не за жилеткой же я лез! — заорал железнодорожник. — Я в Него! В Него верил!

— А за это кто заплатит, если Он оказался смертным? — вышел еще один, стриженный, и распахнул на голой груди рваную командирскую шинель. — Ведь когда нас там месили, мы как думали? Мы думали: пусть, пусть, зна-

чит, и это для Его бессмертия требуется! А Его бессмертие — наше бессмертие!

Профессор поморщился.

— А это тогда зачем?! — вылез какой-то бородач, зарыдал, затрясся и скинул полушубок. И показал профессору спину.

— Прекратите! — попросил пощады профессор. — Ведь вы сами захотели правды!

— Нет! Постой! Не надо! — напер на него стриженный и обвел рукою серые тысячи — всех, кто пришел и кого принесли на ступени. — А их? — страшно закричал стриженный. — Кто теперь их ис-скупит?!

Колонна заворчала, зароптала в ответ, и гул пошел далеко вниз, где уже не видно было людей, где колыхалось в сумраке общее гигантское тулово.

— Так зачем тогда правда, если веры нету?

— Убили. Убили веру! — закричала в тесноте какая-то старушка.

— Правдой своей убили! — ответил ей силпый.

— Да какая правда? Он сам убивал и еще хотел, чтобы в Него верили!

Стриженный, в шинели, пристал и уже не отставал от профессора:

— Нет, ты объясни народу: зачем все? И куда делась вера?

Профессор туда-сюда, однако потом не выдержал, дал знак постовому. Постовой засуетился, закивал головой. Убежал в деревянную будку. Слышно было, как он громыхал там, как в складе, что-то отыскивая, и вполголоса, сердито матюкался. Вышел постовой с торжеством, держа наотлет в вытянутой руке тяжелую золоченую клетку. Тут все притихли, — я не понял, почему. В клетке находилась пти-

ца. Скорее всего сова, только больших размеров. Сова оглядела всех умными строгими, неживыми глазами. Молча пошарила у себя за спиной. Достала толстую черную старинную книгу (по форме — религиозного содержания). Поправила круглые железные очки, проворно полистала. Нашла нужное и прочла старческим скрипучим голосом, водя лапкой по раскрытой глянцевой странице:

— Э-эволюция жизни питается не чем иным, как телом и духом убиваемой ею ж-жизни!

Колонна онемела. Лишь дед в телеге (видимо, без сознания) тяжело простонал. В стороне навзрыд заплакал ребенок, и безнадежно, покрывая все звуки, завывала затесавшаяся сюда непонятным образом собака.

В этот момент давешняя старушка вновь подала ясный голос.

— Батюшка! — обратилась она к птице непосредственно. — Ты не гневайся на нас, батюшка. Ты скажи то же самое. Но по-русски. И мы, глядишь, пойдем...

Птица забила крылами, вероятно, только собралась ответить. Но постовой ее почему-то перебил. А старушку одернул. Постучал пальцем по своей голове. И сказал укоризненно:

— Уставы и предписания надо учить, старушка, назубок. Тогда все будешь с лета хватать в этой жизни.

Дед в телеге, за моей спиной, так и не придя в сознание, в полный голос пробормотал:

— Одна вера была. Нет, плоха. Другая стала. И эта вам плоха?.. И теперича што? Я вас, чертей, спрашиваю?

Профессор опустил и не поднимал голову. Бородач, тот, что содрал полушубок и сто-

ял теперь с голой синей спиной, трясся и просил птицу:

— Веры нам! Веры давай!

— Какие странные люди! — ворчала птица, отшатываясь от него и забиваясь в угол клетки. — Неужели они так и не усвоили, из чего делается всякая вера?

Все это время профессор сидел на ступени, взявшись за голову. Но, когда просьбу бородача поддержали в первых рядах, профессор не смолчал. Он подскочил на месте, стал на ноги. Потоптался, не зная, на что решиться. А потом крикнул, махнув пустой перчаткой себе за спину:

— Да вы поглядите сначала, что Там осталось!

И первые ряды устремили свои взгляды в направлении, куда было указано. То, что издалека, в розовой дымке, виделось могучим и грозным, при внимательном рассмотрении оказывалось всего лишь черными высокими сапогами. Правда, сапоги были хорошей кожи, полированы мастерски (даже не без изящества) и размером, наверное, с десятиэтажный дом. Но... все же это были только сапоги и ничего больше.

Профессор наклонился к бородачу, всмотрелся в его темные мокрые морщины и спросил горестно:

— Вы будете верить в сапоги?

Я не выдержал. Кровь ударила мне в лицо. И я закричал:

— Вы что, совсем сумасшедший, — такие вещи людям предлагать?!

— Ну-у, молодежь воспитали. Ни с кем не считается! Ни во что не верит! — восхищенно

покачал круглой головой какой-то атлет в форменной фуражке и гимнастерке.

— А это точно Отцовы сапоги? — быстро перепроверил сиплый.

— Его! Его! Ты разуи глаза, ты посмотри, какой размер! — Постовой был потрясен глубиной цинизма сиплого.

— Так вы хотите верить в сапоги?! — завопил профессор поверх голов что есть мочи. Но его вряд ли услышали. Колонна, особенно в задних рядах, по привычке вела себя крайне настороженно.

— Надо верить! — крикнул постовой зычно вниз, вероятно, уловив настроение момента.

— Вер-рим! — поддержали его сиплый и два-три десятка из толпы. — Вер-рим!

Дальние ряды молчали по-прежнему неопределенно.

— Верите? — опять двинулся профессор к бородачу. Бородач зажмурился:

— А что остается? — И заплакал.

Тут под руку профессору подвернулся некто в шляпе, но с оторванной тульей.

— Вот вы, кажется, интеллигентный человек? — набросился на него профессор.

— Нет-нет! Я как все, — твердо ответил наученный жизнью и в шляпе без тульи. — Я во все верю абсолютно!

— А вы? — спросил профессор стриженного. Стриженный поежился, как от холода. Запахнул рваную шинель на простреленной груди. Закашлялся, заматерился невнятно. И пошагал, ссутулившись, вниз по ступеням. Многие тогда повернулись и пошли вслед за ним. А на их места тут же продвинулись другие.

Постовой грубо встряхнул золоченую клетку. Птица зло защелкала клювом, раскорячила

крылья — видно, не сразу поняла, чего от нее ждут. Постовой потряс клетку вторично. В ответ птица быстро нашла нужную страницу и прочитала:

— И увидели они град осиянный. И вошли в него. И нашли они на главной площади Сапоги восемьсот шестьдесят четвертого размера. И поклонились им. И только тогда обрели они счастье, покой и веру!

Я закричал:

— Заткни пасть, продажная птица!

Тут человек в шляпе без тульи повернулся ко мне страдальческим лицом. И быстро прошептал:

— Ну, не веришь — и не верь! Просто возьми и соври! Ты что, не догадываешься, какая обстановка складывается?

— А зачем вы-то до сих пор врете? Ведь вы же давным-давно мертвые!!! — так же, шепотом, ответил я человеку в шляпе без тульи.

— Ты доорешься мне. Я тебя возьму на всякий случай на заметку, — сурово осадил меня атлет.

А давешняя старушка крикнула в сторону клетки:

— Батюшка! Ты на нас сильно не сердчай! Мы тебе не поленья с глазами деревянными, чтобы во что попало верить. Уж лучше мы пойдем отсюда. Сами себе дорожку поищем. Не сердчай, батюшка!

И с этими словами старушка подхватила оглобли, дернулась в них, и, против ожидания, наша телега загремела и поскакала по камням довольно бойко. Колонна неохотно расступилась. Некоторые под видом, что помогают и подталкивают, отделились от всех и пошли вслед за нами.

Ровная каменная дорога сразу кончилась, и телега затряслась по кочкам. Дед за моей спиной терпеливо покряхтывал и вдруг сказал:

— А малина, мать, у нас под окнами, наверное, стоит оградная...

На что старушка, согнувшись пополам и натягивая жилы на тощей шее, отвечала:

— Терпи-терпи. Егор Михалыч. Мы тебе сейчас единым духом домчим.

— Баушка, куда мы? — спросил я (я уже, конечно, догадался, что это баушка).

— Домой, внучек, домой, — и споткнулась, и едва не упала на колени.

— А где наш дом?

— Там, кажется! — поправила она сползший на глаза платок и махнула неопределенно в сторону белой каменистой горы, на которую мы пытались взобраться. — Ты не крутись, ты запомниай дорогу!

— А что это за люди? — не слушался и оборачивался я.

Позади нас тянулась длинная вереница. Причем последних уже и не было видно в сумерках.

— Эти все наши. Эти до тебя были, — стало срываться дыхание у баушки, и в горле у нее заклекотало. — А там те, кто... будет после тебя.

Я посмотрел вперед. Высоко-высоко, примерно на полпути к верхушке белой горы, легко прыгала по камням какая-то совсем маленькая девочка... Телега дернулась и остановилась.

— Баушк, ты не умираешь еще? — забеспокоился я. — Давай я тебе помогу тащить телегу!

Баушка не отвечала. Ноги ее подкосились.

И она, как шла, так и легла в оглоблях. Я попробовал поднять баушку. Мертвая, она была легче пуха. Я положил ее рядом с дедом, в ногах у него. И горько заплакал. А дед в беспмятстве сказал:

— Не плачь, мать. Чего теперь плакать? Видно, отмучились мы с тобой.

Тогда я с яростью схватился за оглобли. Я дернул телегу, и она с великим трудом, но подалась. Я тащил телегу, но никак не мог вспомнить дорогу. Я останавливался и кричал тем, что без слов двигались за мной:

— Куда мы идем?

Но они тоже останавливались и молчали.

И я вновь тянул телегу в гору. И вновь, обращиваясь, кричал:

— Куда мы идем? Где наш дом?

Но не было ответа. И тогда я понял все...

Сдерживая зевоту, я перелистываю с десятков страниц рукописи:

«...Приезд мой отмечен: выпал сильный град, побивший картофельные кусты. Моя соседка Аграфена Дементьевна прямо и просто душно связывает стихию с появлением нового человека...» Ну! Разумеется! Без странностей и без событий у Алеши никогда не обходится. Даже если они и не имеют места быть. «Какое же это чудное село! Ему лет четыреста, не меньше. Половину этого времени держит у себя в костистой длинной голове столетний дед Лукьян Яковлевич Бореев... Столетний — это, пожалуй, слишком приблизительно. Сто — это точно. А скольких сверх ста, того никто не ведет. Потому как никого старше Лукьяна в селе нет: некому помнить... Одна наша молоденькая учительница, из местных, рассказыва-

ет, будто бы столетие Лукьяну Яковлевичу справляли на пионерском, для нее последнем, сборе, примерно прикинуть даже: лет так восемь назад. Сам Лукьян, помня цепко почти все село в десяти поколениях, заняв, очевидно, голову этой, оказавшейся бесценной для меня ныне информацией, личный счет времени как-то запустил. Каждый месяц, в день «пензии», когда он начинает ощущать некоторую живую связь с окружающим, начинает чувствовать, что и его не забыли, «коли деньги-то носят», — в этот день он посылает либо Аграфену Дементьевну, либо кого из сыновей (Ананию 85, Антону почти 80) в райвоенкомат. Поинтересоваться насчет возраста. Не может он допустить и мысли, что его, бойца, давно уже сняли со всех учетов. Сыновья, понятно, не идут, им пора уже и свои счета подбивать. Мне все время смешно наблюдать, как они, три деда, причем внешне в одной стадии старения, соблюдают в разговоре родственную табель о рангах: «Папа... Папашка... Сыны вы мои... Сынки...» Аграфена Дементьевна на пять лет моложе младшего сына, она четвертая жена у Лукьяна, потому все трое зовут ее одинаково: Грания... Аграфена Дементьевна в военкомат тоже не идет. И так много у нее дел на этой земле, чтобы справлять еще блажь столетнего...

Сидя по вечерам на дырявом деревянном топчане, рядом с дедом, который возлежит в эту минуту прямо в валенках и очках на высоченной, высохшей добела кровати, я расспрашиваю его о двухстах годах. Двухстах, потому что свои сто и в голове сто. А в общем-то, все они теперь только в голове. И у меня иной раз возникает сильное сомнение, не путает ли он местами, не смешивает ли он то, что было с

ним, с тем, что было при нем, а то, что было при нем, — с тем, что было до него?

По его словам, он помнит каких-то французских и итальянских солдат, «в белых штанах», это было недавно, если верить дедовым рассказам: «Войско стояло по соседям», «все на хороших лошадях», «с саблями, с пиками», «оружие и одежда — все сплошь в серебре и золоте...»

— Помню, Григорию, Анания Великанова сыну, ни за что ни про что — взяли да и оставили лошадь... В яблоках, серая, худая скотина, а все же своя.

— Какие же это французы, наполеоновские, что ли?!

Лукьяна не смущает вопрос: он просто не помнит, кто такой Наполеон, а вот тех, «в белых штанах», — твердо держит в памяти...

На всякий случай закидываю удочку и насчет Петра. Нет, Лукьян Яковлевич знает, что был такой царь, но не при нем. Раньше несколько. Про него ему прадед рассказывал. Клементий Ефимович. А тому — его дед, Прокопий Старостин. «Ходили в извоз, до самого до царя Петра, — припоминает Лукьян. — Царь-то повиделся Прокопию не дюже громадным...»

В сорок первом году Лукьяна хотели судить за падеж двенадцати жеребят.

— Вызвали... Захожу — шапку с головы, конечно, долой... Приглаждаюсь, а в середине сам Прохожев. Скрипит ремнями.

Сказывает: ты что, Лукьян, их не кормил? А с кормом было плохо — что говорить? И кому говорить, коль сами из района и выделяли... И такая досада меня взяла... Я в сердцах и ляпни: ага, говорю, не кормил! Сам ел! А их за ноги оттаскивал...

Сказал, вспоминает Лукьян, да и обмер: ведь перед кем голос поднял, перед самим Прохожевым! А он в те года особенно свирепствовал: половину Яшкина отправил — кого до войны на восток, кого в войну на запад. Даром, что свой, яшкинский, а, видать, под пулю-то неохота, вот и старался.

Ну, хлопнулся, как был, Прохожеву в ноги. А тот на дыбки. С поезда только и сняли, в области уже: «Вернуть знатного конюха!» Нашелся-таки хороший человек, Севастьян Михайлович Бобров, он тогда повыше Прохожева был, в милиции всеми делами заворачивал...

Но Павел Сергееч так это просто не спустил. Это он, рассказывают, Анисью, дочку, потом допрашивал. Так, что сделалась она с того разговора как больная.

А еще помнит Лукьян, как в 1905-м оказался в Москве. Пошел на заработки, повезло: пристроили приказчиком. «А тут как начали стрелять... Я — под стену. И штукатурка — па меня, за шиворот, да по голове... Кончили — я сундучок собрал, и ни слова никому — домой...»

— А баррикады, дедушка, хотя бы видели?

— Ни-и, сынок! Какие баррикады... Домой! Я — домой. И — в путевые обходчики.

Да, нелады у Лукьяна с большой историей. Вот про белые штаны запомнилось. А от целой эпохи только и осталось — «штукатурка да по голове»... Впрочем, в свое время и в своем селе он «устанавливал Советскую власть» — но в подвигах это почему-то за собой не числит. Может быть, потому что в этих местах проходило все более-менее мирно. У кого я еще не спрашивал из старожил, у всех общее: стре-

ляли мало, больше на станции... А потом, как разобрались, — а у нас уже Советы...

В войну Лукьян Яковлевич, выбыв навсегда по возрасту из бойцов, возглавлял местный сельский Совет. За войну же у него грамота за подписью Калинина — «Знатному конюху Борееву Лукьяну Яковлевичу...».

А как классика хоронили? Аграфена мне подсовывает снимок — ветхий, желтоватый, с помятыми углами. Тусклый какой-то Лукьян, в шапке до бровей, с молотком в руках, у громадного, красивого гроба... Впрочем, не один Лукьян. Еще двое-трое мастеровых позируют — кто с топором, кто с молотком, кто с ножом. За их спинами, за желтой сеткой побитого от времени глянца, угадываются приземистые здания, черные шляпы дам, сюртуки, тросточки, пролетки, телеги... Странная штука: тросточки и пролетки, шляпы и сюртуки только что вот в фотографии и остались да в голове у Лукьяна. А молотки и телеги — те же, что и теперь. Да разве еще и гроб. Вечные орудия вечного бытия...

— Ни-и, сынок! Я потом и не остался. За чем? Велено заколотить, я и заколотил, а сме-на подошла — я домой, я к детям...

...Приходил Антон. Просил одеколona.

— Зачем одеколон? Водка есть — хочешь? Выпил. Из уважения. И...

— Мне б все ж деколону... Я яво, Лексей Иванович, люблю... Так уж я яво люблю...

Славный, славный Антон Лукьянович: у него даже в лице ничего не переменялось, когда он в себя эту белую жидкость опрокидывал.

Выпив, он мне пропел благодарность:

Была на свете Салтычиха,
Нашего ж родила Сычиха,

Вечно морда кирпичом,
По фамилии Сычов.

И притопнул ногой: «Вот так-то! У меня не сорвесси...» Это Антон о нынешнем председателе Совета так, о Сычове Иване Петровиче. Да, у такого уж действительно: не сорвесси...

Прежде Антон Лукьянович, или попросту Антон Лукев, был в активистах: это он в тридцатые годы подорвал церковь, делавшую село Яшкино селом. Церковный камень не пошел прахом: под водительством энергичного молодого Антона церковь превратилась в дорогу.

— Что же, Антон Лукьянович, хватило камня?

— Вполне... Так этою церковью весь уезд можно было замостить... Не дали, сукины дети...

На вопрос, кто эти дети, Антон скромно помалкивает.

В молодости Антон считался активистом, а сейчас... Хотя, собственно, и нынешнее его поведение довольно-таки активное. Правда, теперь он «в апазицах» — к бригадиру, управляющему, председателю — стоит им объявиться на Антоновом горизонте. Объявится — и сразу ляп, вот тебе частушка!

Мне передавали, что и по моей персоне он уже проехался. Долго его упрашивать не приходится. Прикрывая стыдливо щербатый рот ладошкой на полпуда весом, он поет визгливо-хриплым голосом:

Ты слышал иль нет пока?
Отыскал я Тарлыка!
Я иду: у Тарлыка
Торчит с-под трактора рука...

Что ж... Увековечил. Во веки и присно не сорвесси...

...Какой замечательный конь у Анания Лукьяновича! А какой он сам замечательный! Они чрезвычайно подходят друг другу. Оба в одинаковой степени старые, оба в одинаковой степени осоловелые. Я думал, у Анания слабая память — иначе почему же он со мной при встречах не здоровается? Но посмотрел на его коня. И все понял. Им уже здесь все — все равно, потому они себя и не утруждают на этом свете ни словом, ни ржанием, — ставшей ненужной уже привычкой здороваться... «Здрав?...» — «Здрав!» — говорят что ни день друг другу соседи. А там, глядишь, уже и поволокли и того, и другого в сторону Тришкина Куста, а они, конь и Ананий, проводят их, это уже которых, долгим осоловелым взглядом: царствие вам, дескать, небесное...

Хотя, кажется, и слова-то эти, и другие тоже, Ананий давно позабыл.

Сильно же я был удивлен однажды, привыкнув уже к великому молчанию этих двоих, когда Ананий (он меня подвозил из Астахова) вдруг разверз уста свои и промолвил:

— Еду я так... Этой зимою... А она впереди бежит... А снегу-то, снегу — жуть божья! Снегу по краям наворотило... По самую ему холку будет... И вот она, сердешная, бежит, вот бежи-ит, а куда денниси? Справа снег, слева снег. Не выпрыгнешь...

— А кто это она́? — спрашиваю я осторожно.

— Дак кто! Свинья!.. Ка-бан — кто еще?.. Я так вот, жичиной-то мово Федулку стегнул... Федулка-то в шаге прибавил... Глянь: и она прибавляет... Оглянется — царица небесная! Харя! Глаза! Как... у черта. Клыки — во-о... —

и отвалил на своей здоровенной ладони сантиметров десять, не меньше.

— Мы ходу — и она ходу... Вот так с полкилометра вместе рысью и шли...

— Ну? А если бы она развернулась?

— Што?

— Я говорю: если бы свинья эта развернулась да на вас кинулась?

— И што?

Ананий смотрит на меня долгим-долгим взглядом... В его белесых некрупных глазах — ни страха, ни какого-либо другого чувства.

Машет и машет костлявой головой и его Федулко; вот так и тогда, наверное, вверх-вниз, вверх-вниз, мутно разглядывая полуослепшими глазами тряский кабаний зад: неужели они и страх-то весь в себе выжили?!

Сколь же, видимо, суетны в этих дремлющих глазах, приученных к равнодушной вечности, сколь же суетны все мы, и я, и тот же Сычов, и Прохожев, и даже Андрюшка — способный Андрюшка, естественно и закономерно ставший плохоньким репортером в плохонькой газетке... А чем мы все, в самом деле, лучше этого Анания или этого безропотного Федулки, взмахивающего и взмахивающего бессильно головой, перевешивающей давно и безнадежно все его дратенькое тельце? Разве тем, что Федулка, в выгодном отличие от нас, не сознает своей суетности, а потому и не суетен, разве тем, что не подскакивает, не пыжится, не корячится, не дрожит он последней похотливой дрожью: ах, что там-то? Что? И к чему все это? А может быть, все вопросы — для него и не вопросы.

Глупо, все глупо... Как глупо... Но ведь в этом... (Зачеркнуто.) Мне смешно, например, смотреть, с какой снисходительной, интелли-

гентной, обаятельной ласковостью обращается Павел Сергеевич со всем тем, что ниже его. С травой, с деревьями, с цветами, с подчиненными, с лошадьми, с машинами, с коровами, с командированными, с собаками, с шоферами, с кошками, с детьми. Даже с начальством Павел Сергеевич умеет и любит обходиться покровительственно и нежно... И весь он такой точный, подтянутый, при галстуке и умный (умный ведь!) — и вот представить себе, что в его аккуратную здравомыслящую голову вдруг так, незаметно, входят все эти дурацкие вопросы. И голова его расширяется до беспредельности, до черного, до безмолвного, до космического ужаса, который, того и гляди, разорвет черепную коробку!.. И после всего, после пережитого падения (которое уже и не падение вообще), — после всего этого Павел Сергеевич начинает наконец чувствовать, что и он не лучше и не хуже, а так, вровень и с комаром, и с лошадью, и с травой. Вровень, потому как еще никто не пришел и не измерил: который из нас, с какой стороны и с какой стати, по какому качеству и по какому праву полезнее, лучше, важнее, нужнее? И для чего? Для чего — нужнее, важнее, лучше, полезнее?!

Я не знаю, для чего я полезен... Да, конечно, употребив слово «польза», мы ставим все на «свои места»: и мир, превратившийся было в голову Павла Сергеевича во вселенский бардак, быстренько шарахается обратно, на все свои четыре точки, и все вещички разом — шасть по нумерам, и под свои бирочки, которых мы поразвесили, слава богу, по свету более, чем в достатке...

Какая же, я спрашиваю, от меня польза — кроме того, что я хожу, везу, несу, руковожу?

Если «я» имеет особенный смысл, как полагает об себе Павел Сергеевич, то какой он, этот смысл, отличающий его и меня от Федулки, по-своему умеющего делать все то же самое? В конечном счете через пару миллионов лет любопытному глазу равно интересно будет (если будет!) разглядывать и Федулкины яблоки, и приказы с автографом Павла Сергеевича... Против миллионов-то, как глаголет Антон Лукев, не попрешь!..

Да не в этом и дело.

В детстве я любил бросаться посреди какой-нибудь игры в высокую траву и лежать, никем не угаданный и не найденный, пока не сбивался с ног водила в поисках меня... Конечно, я почти нарушал правила, почти, но не совсем: в конечном счете мое дело было лучше спрятаться, а его — лучше меня искать. Но я уже знаю (и тогда знал!), как, насколько может быть жесток человек даже и в эти годы: в те годы мы незаметно выскакивали не только за пределы правил игры, но и за пределы правил жизни... И бились. А иные убивались и насмерть.

Мы со смехом можем сейчас вспоминать и самую беспощадную из тогдашних игр: все это для нас позади. Мы крепко защищены от детства выстраданной, грубой корою взрослости, корою, обильно покрытой нашей спекшейся кровью. Вот, впрочем, и объяснение одной из загадок, занимавших меня там, в высокой, душистой и душиной траве.

Я думал: вот мы, дети, собираемся и делимся на две группы. Одни задумывают число, а другие должны его отгадать... Те, что держат это самое число в голове, они все довольные, важные, преисполненные счастья от

одного только, что смысл, весь смысл игры только они и ведают... Те же, что не знают и угадывают, по неуловимым признакам, по бесконечным наводящим вопросам, они мучаются, они страдают и унижаются, пока поиск их не закончится успехом: и тогда общий взрыв смеха, и общие несколько секунд владеем все мы счастьем и смыслом...

По лицам взрослых я догадывался: то чем мы располагаем всего несколько секунд, им, взрослым, удалось найти, каждому по своей душе, удалось задержать в себе это навеки — иначе отчего они такие уверенные, всезнающие, снисходительно-спокойные? И особенно по отношению к нам, детям? Понятно, что это трудно будет — найти. Понятно, что их, взрослый смысл, — он не такой, как у детей...

Однако таинство приобщенности, обмирающее счастье приобщенности к сокровенному, к важнейшему — оно, это таинство и счастье, не может же не походить на наши, детские смыслы.

И ведь владели же они тогда им, этим сокровенным, — в моих-то глазах!

...Стало быть, спокойствие это — от спекшейся и почерневшей от грехов крови? Стало быть, снисходительность — от толщины корявой коры, грубо-искусно возвращенной из утомительных точностей и раздражающих неточностей, из невыплаченных долгов и проваленных обязательств, вероломных любовей и пуританских ответственностей, опоздавших побед и пунктуальных поражений, умело скроенных полуправд и фантастических слухов, ставших правдой, поверхностных дружб и глубокомысленных предательств, предсказуемых смертей и нежелательных рождений, — от толщины, гор-

батости стойкой на излом коры, ямя которой «нормальная степень утомления», коры, позволяющей нормально есть, нормально спать, приносить в доступной форме пользу, двигаться, улыбаться... — но и не более того?!

Мы почему-то полагаем, что мы значительно более наших детей. По моему же мнению — совершенно беспричинно... Они не ведают себя, и в этом счастливом неведении их, только их гармония и мудрость. Она недоступна нам...

Счастливы и потому, что они, слава богу, еще не научились не отличать любовь от согласия, мечту от терпения, смысл — от умения забываться, а не достигнутую почему-то цель — от полученного кое-как результата...»

Я захопываю и отодвигаю рукопись. Боже... Как все глупо, как все пропахло нафталином, почерпнутым вместе с заплесневевшими идеями прямо из отсыревших сундуков XIX века. Милый Алексей Иванович, а я и не знал, что вы идеалист равно в такой же степени, как и обруганный и распетушенный вами третьего дня в пух и прах какой-нибудь недозревший Фихте!.. Идеализму вам захотелось? По максимуму жить намереваетесь?

Жизнь (вы и сами так считаете) посложнее будет всяческих искуснейших построений. И тех, которые по максимуму хотят, они максимумами и быют: сверх-унижением на колени ставят, сверх-грязью с головой поливают, а сверхглупостью сделают и тебя глупым!..

Ты-то все вынесешь.

А вот когда за глупого, нет, не за какого-нибудь выдающегося идиота, а за ничтожного, всеми обманутого дурачка будут тебя держать, вот этого ты уже не стерпишь... Заорешь. Да еще как!

Опомнись, Алеша... На дворе двадцатый... Да что там! На дворе — третье тысячелетие, а ты все меришь «смыслы» складным скрипучим метром старичка Канта...

Ладно. Все это пустяки. Пустяки в сравнении с тем,

что мне пора идти. Все. Меня ждет Наташа. И мы с ней идем в кино. Щекотать нервы. «Плохонький репортер с плохонькой машинисткой идут в плохонькое кино». Адью, товарищ идеалист...

Из документов, составленных или найденных впоследствии:

«На ваш запрос сообщаем, что гр. Борева Анисья Лукьяновна, 1910 года рождения, постоянно проживающая в с. Яшкине, Покровского с-с Астаховского р-на, на спецучете в диспансере № 1 не состоит. В период с 1942 по 1976 г. трижды проходила обследование и во всех случаях признана психически здоровой. Наблюдается расстройство вегетативной нервной системы, что осложняется преклонным возрастом больной. Нуждается в амбулаторном лечении».

(И. о. гл. врача поликлиники, подпись неразборчива.)

«...отряд, сформированный крепостными крестьянами Савелием Авдеевым и Кузьмой Яшкиным, дал первый бой захватчикам близ местечка Сенное (ныне пос. Астахово). Было отбито 2 пушки, 5 лошадей с повозками, 1 повозка без лошади, 1 мясная коровья туша, 1 сбруя... Французы, сопровождавшие обоз, в беспорядке бежали, бросая оружие и награбленное. Особо отличился в схватке крепостной крестьянин Григорий Великанов, получивший впоследствии вольную от своего помещика, офицера русской армии Б. И. Астахова, дошедшего со своим полком до Парижа».

(Из материалов экспозиции областного краеведческого музея «Отечественная война 1812 года».)

«Тов. Кремневу. Попробуйте прояснить (по

своим каналам), чем занимался Прохожев П. С. в 30-е и 40-е годы. В. Хицко».

(Из записки.)

«Тов. Ляпину. Александр Федорович! Кажется, есть ниточка и к нему. Поинтересуйтесь (только аккуратно), как снесли памятник в Яшкине и кто охотился на лосей в Тришкином Кусте? В. И.».

(Из записки.)

«С. И. Труфанов в своем выступлении, в частности, сказал: «Суеверия и слухи издавна служили надежным оплотом любой религии... На моем примере видно воочию, каких результатов может добиться личность, освобожденная от пут темной и невежественной веры. Я, бывший служитель культа, шел к свету нелегким путем, и тем искреннее моя благодарность всем, кто помог мне выйти на большую дорогу...»

(Из корреспонденции «Убеждениям — крепнуть!», опубликованной в районной газете «Вперед.»)

V

Математическая истина, возможно, и сродни равнобедренному треугольнику. Но правда... Она, по-моему, всегда криворота.

Алексей Тарлыков, XX век

Наиболее простой способ стать глупцом — стать им с помощью системы...

*Иоганн Вольфганг Гёте,
XVIII век*

Я возвращаюсь... Поздно ночью. Я сделал паузу, потому что время четыре часа, и есть возможность выбрать: то ли ты пришел домой поздней ночью, то ли ранним утром.

Я выбираю ночь. Хозяйка же моя, коварно улыбаясь, приветствует меня... с добрым утром. Губы опухли и саднятся, и это заметно, а коли так, то и ширина улыбки у моей хозяйки обеспечена до вечера... Признаюсь, я, едва поселившись, при виде ее хитрой рожи уж было задумался, что она имеет на меня какие-то виды. И начал ее всерьез опасаться. Но оказалось, что все проще, ей достаточно быть чуточку в курсе моей частной жизни: след помады, например, выбеленная спина, найденный под моей кроватью предмет женского туалета.

И всего-то? И полное умиротворение? Да я тебя, милая, этими предметами завалю!

Я тихо-тихо смеюсь... Я представляю себе вдруг Тарлыкова, лихорадочно отстукивающего по ночам этот нелепый труд на своей нелепой старомодной машинке... Эх, да испытал ли он состояние, когда все выдающиеся и даже великие труды, можно променять за одну только ночь с хорошенькой машинисткой?!

Я зеваю... Но все ж таки обязательство есть обязательство. Я открываю и читаю, не помню, с какой страницы: «...ное, что все они или почти все — родственники...» Ну да, и черт с ними! Впрочем, ладно. Кто бишь они эти все, ставшие родственниками? До кровосмешения, что ли, Алеша дошел там?..

«С какого края ни зайди, хоть по официальной, хоть по религиозной линии, а так или иначе, а к Лукьяну или Сычихе и выберешься...

Сидели мы с Аграфеной и специально высчитывали, кто и каким боком деду родней приходится. С Анисочкой ясно: дочь. Антон и Ананий — тоже просто... А вот, положим, Сеня Оригинальный? Оказывается, Сеня, муж своей жены, почтальонки Любки, «котора вторая дочь у Александры, а Александра была седьмая дочь у Антонины. А уж Антонина, она самая старшая у Лукьяна Яковлевича... Деяносто бы пять годков летось ей исполнилось...»

Стало быть, тракторист Сения Оригинальный нашему деду как бы сводный правнук?! А продавщица Серафима Дарикова, через своего мужа, Витю Дарикова, — уже и просто внучка. Получается ему какой-то родней, посредством опять же Сени, и районный судмедэксперт Эдурд Заранкин, и его родной брат по матери — мой старый знакомый, Байков Костя. А профжених? Профжених, молниеносно сосчитывает Аграфена, приемный внук Антона, значит, опять же правнуком, хоть и незаконным деду приходится...

Но более всего меня потрясают вот какие родственные обстоятельства. По выкладкам Аграфены Дементьевны выходит, что тезки и почти ровесники Павел Прохожев и Павел Боре-ев тоже из одного, из этого же рода. Причем Пашка Палач, сын Анания, затесался в дядья к Павлу Сергеевичу, внуку Антонины... Вот так так! Хорош же дядя попался Павлу Сергеевичу... Да и Палачу, впрочем, мало повезло с племянничком. Не этой ли, тщательно укрытой от глаз родственностью, объясняются его, Павла Сергеевича, странные намеки на Палача?

Я быстренько набрасываю ехемку всего бореевского клана с дедом Лукьяном во главе. Аграфена вносит уточнения охотно и радостно, но затем сразу же остывает и обижается... Я долго не пойму, в чем тут дело. О, господи, оказывается, она же совсем чужая в этой моей схеме! Она же из другого совсем «дерева»! И род ее, судя по поджатым губам, не менее старинный и заслуженный. Ну и аристократы, черт их подери!

И вот мы рисуем еще один чертеж, здесь во главе, из самых старых и ныне здравствующих, — бабка Сычиха. То есть, прошу проще-

пия, Сычова Матрена Клементьевна. Ей скоро девяносто два. Она жива и здорова. А вот Федор, ее сын, он же первый муж Аграфены, представился на семьдесят третьем году... «Не в мать», — произносит Аграфена, но без сожаления. И не понять: то ли она Федора упрекает за его нестойкость, то ли Сычиху — за то, что на этом свете зажила...

Не понять — и не то что по схеме, по реальным отношениям — кто есть кто в этом генеалогическом лесу, с ветвями, причудливо переплетенными не меньше, если не больше, чем дремучие крепкие корни, которые уходят своим сознанием и плотью в три-четыре столетия, поднявших на своих плечах, а потом и пустивших по ветру могучее Яшкино. Да, было оно когда-то в триста дворов. Крест-накрест шли длинные улицы, с двумя-тремя гармониями по вечерам. С двадцатью колодцами, с большим дойным стадом, голов на четыреста...

Сейчас в Яшкине двадцать семь целых домов. Тонкая, с частыми и долгими обрывами, ниточка человеческих остывающих центров.

Но, удивительно ли, нет ли, а это, доживающее век село, кажется, наложило именно своим нынешним состоянием некоторый отпечаток на своих обитателей. Нет здесь просто людей: без характера, без закавыки какой-нибудь... Все сплошь — «замечательны», говоря словами Антона Лукева.

Но при этом вот что любопытно. Я прожил здесь уже месяц и не встретил (надо же!) ни одного жлоба. Последний, подчеркивают обязательно здесь в разговоре, бухгалтер Павло Макарыч Авдеев (в простонародье Падло Магарыч), отошел в мир иной не далее как прошлым летом, и, как уверяет Аграфена, не без

помощи Сени Оригинального... Два выстрела будто бы слышала она той ночью, наутро же глянули — «а он уж ледяной...».

Да, Яшкино уходит в небытие, с треском и громом, под аккомпанемент больших и малых потрясений, виновниками (или застрельщиками?) которых, как правило, сами его замечательные жители и оказываются...

Отмеченный в детстве мелкой дробью, Сеня всю жизнь питал слабость к огнестрельному оружию. Лицо у него будто побито оспой. Тогда, сразу после колхозного сада и больницы, Сеню принялись было дразнить:

— Ты что, никак рябой стал?

Сеня терпел. А потом Сене надоело. Он нахмурил однажды свой лоб и... приклеил себе кличку до скончания века:

— Не, не рябой я... Я — оригинальный...

Два раза в год, в ночь накануне советских праздников, Оригинальный аккуратно будил своего соседа. Первые годы, после возвращения из лагерей, Павло Макарыч еще в ответ высывался, нелепо и невыгодно обрисовывая себя сразу белым байковым бельем — на фоне свежей темной ночи. Того Сеньке и надо было. Он вылезал из укрытия и шел на соседа не спеша, хладнокровно примериваясь к белой фигуре своей двустволкой.

— А ты, падла? Ты по какому праву спишь? А-атчего советский праздник не встречаешь?! Не идравится?.. Ах, ты...

Не повезло Сене на соседей: один и оказался на все село дезертир, и тот — под боком. А с другой стороны... С другой стороны Игорь Николаевич Горюев. Или просто проф-жених. Человек тоже довольно-таки ничемный... Но поглядеть... Поглядеть есть на что:

рост высокий, нос орлиный, шевелюра густая, лицо в целом крупное, облагороженное с двух сторон большими четырехугольными бакенбардами. Игорь Николаевич много учился. Это подтверждают и два ромбовидных значка на лацканах. Сначала его тут сильно за значки-то уважали. А потом все как-то переменилось. То ли он сам в конце концов дурачком где-то выскочил, то ли цена на высшее образование сразу и резко упала...

Вошел же он в яшкинскую историю тремя замечательными фактами. В бытность свою школьным военруком (а был Игорь Николаевич и бригадиром, и директором школы, и управляющим) он любил щегольнуть специфическим словечком — где надо. И где не надо. Деревенские ребятишки, святая простота, встречая его и летом, лихо забрасывали ладошки к непокрытым головам. На что Игорь Николаевич неоднократно и с удовольствием будто бы выкрикивал:

— Пустой голове честь не отдавать!

Но, несмотря на это самокритичное, и в общем-то объективное признание, избирали профжениха с охотой. В президиумы. В рабочком. От имени последнего он и присутствовал однажды на собственной свадьбе.

Дело это было так... Гуляет свадьба, жених с невестой, то есть Игорь Николаевич со своей в будущем неудавшейся супругой, пробираются меж гостей к свежему воздуху. Попадаетеся им, на беду, по пути Савелий Огольцов. Савелий Огольцов уже изрядно принявши, и ему трудно теперь разобрать, кто есть кто на этой самой свадьбе...

Он загораживает дорогу Игорю Николаевичу и спрашивает в лоб. Прямо:

— Ну, вот она невеста — это я знаю... А ты? Ты почему к ней прицепился... Ты — кто?

— Я? — удивился Игорь Николаевич. — Я?! — испугался он тут же и задумался. — Я по профсоюзной линии...

Так он стал профженихом. Все ничего было, пока не угораздило его вмешаться в дела природы. Как раз в районе Покровского оврага это случилось. Точнее — в районе моста через реку Чертунья (ну и названия здесь, однако...).

Близился ледоход. Речку уже вспучило местами. А по рассказам жителей, Чертунья, едва заметная летом, в паводок поднимается на пять-десять метров, срывая по своему течению мосты и плотины и заливая чуть ли не весь район ледяным крошевом...

Игорь Николаевич решил упредить стихию. Накануне он призвал на совет своего товарища из ГАИ Шапку. Шапка — товарищ серьезный, безответственных решений он обычно не принимает. Он подумал, оглаживая помятую шинель красными на морозе ладонями, и промолвил:

— Игорь Николаевич? Не сомневайсь... Завтра к утру будут у тебя саперы...

Но к утру саперы не приехали. К обеду тоже. А к вечеру лед так затрещал, что Игорь Николаевич, по недолгом размышлении и как активист, решил принять командование на себя. Где-то в момент был изъят динамит и направлен спешно в район действия, к Игорю Николаевичу, расположившемуся непосредственно на льду в полукилометре от Покровского моста. Близились сумерки. Игорь Николаевич время от времени поднимался на крутой берег, страхивал изморозь с четырехугольных

бакенбардов, грелся, похлопывая себя большими руками по бокам и заглядывая периодически в бардачок: не маловато ли осталось?

А когда опасный груз был наконец доставлен, Игорь Николаевич совместно с шофером вынес ящик на лед. Подумал. И подложил еще пару кусков, чтобы, значит, наверняка...

Собственноручно он прикрепил шнур. Собственноручно и торжественно запалил его... И постоял еще мгновение, демонстрируя очевидное мужество подчиненному... Оплотность была обнаружена только в кустах. Опасный груз не спешил взрываться: шнура было отрезано с большим запасом. Игорь Николаевич начал уже было беспокоиться. Но тут так ахнуло, что Горюев, никогда не слышавший взрывов, будто бы сильно вздрогнул и прошептал, как утверждают, шоферу, удерживая на лице улыбку:

— Ну вот и все, Ваня... Спасли мы с тобой район... Вот так, наверное, и входят в историю!

На что Ваня будто бы ему ответил, тоже в лице меняясь:

— Пошел... Пошел!.. Что же нам теперь бу-удет?!

А он действительно пошел. Еще несколько раз ахнуло, белое поле раскололось, вода заревела, крупные куски льда с шумом понеслись вниз, волоча на себе бешено вертящийся динамитный ящик с посверкивающим в темноте, пылающим шнуром...

— Держи! Ваня! Беги-и!!!

Но все было кончено. На подходе к мосту, метрах в пяти, ящик разнесло в клочья, огромное светлое пятно полыхнуло вверх, сотрясая пространство треском и грохотом...

Все было кончено — и с мостом, и с автомобилем Игоря Николаевича. Его не судили, может, потому что по окрестностям поползли невероятные слухи то ли о партизанах каких-то, то ли о каком-то десанте. Слухи были устойчивые и неприятные. И чтобы не усугублять, решено было это дело прикрыть.

Но утверждают, что была и другая причина.

Вовремя тут как-то вспомнили некоторые подробности его предыдущего поведения. Кто-то рассказывал, что вроде бы еще за три дня до случившегося Горюев ходил по селу, обмотав шею бикфордовым шнуром и неопределенно грозя: «Ну-у, вы все у меня дождетесь...» Кто-то из сельсоветовских вдруг обнаружил, что утром, в день диверсии, он прокричал на колхозной планерке трижды: «Уйдите отсюда все! Я один все решу!» А в колхозной бухгалтерии ту же историю рассказывали уже иначе, словно бы Игорь Николаевич попросил Геннадия Васильевича, то есть председателя колхоза, освободить «в конце концов кресло». И выкрикнул: «Я председатель! О, да! Я единственный председатель!» И только после этого однократно прокричал: «Уйдите все! Я сам знаю, куда вас всех вести!»

После этих странностей и происшествий, мгновенно распространенных окрест, у большинства населения, проживающего на территории совета, обнаружилось необъяснимое потепление к Горюеву, даже некоторая робкая симпатия, я бы сказал.

Думаю, однако же, что все это, относительно выкриков, сочинено было задним числом. Зачем, сразу и не скажешь, во всяком случае, Игорь Николаевич, пожив недолго в больнице,

вернулся. Правда, не в Покровское, а на родину, в Яшкино. Но через месяц. А могло бы — и через годы...

Уж в чем не откажешь деятелям типа Игоря Николаевича, этим человекам в стандартных неброских шляпах и в копеечных галстуках на резинке, будто навеки, в одном наборе приданных к плоским хлопчатобумажным грудям, — в чем не откажешь им, так это в доскональной осведомленности относительно всякого рода логических и алогических правил, в знании допустимых ходов и позволенных выходов... А впрочем, какие еще бездны, какие часовые стрелки могут прятаться под этими маскировочными шляпами! Нет, никому не дано того знать. Может, и прячутся. Да уж лучше бы так, чем плоскоумие, как плоскостопие.

...Наступают холода. Сентябрь, а речка июною ночью схватывается уже тончайшею гибкою коркою: в самую пору люльку качать — первый лед на крепость испробовать... Что ж, один уже покачал: праправнук Лукьяна Борева.

Слава богу, речка в том месте мелкая оказалась. Вытащил... Какое пронзительное, какое жутко-счастливое чувство от этой желтоватой прозрачной пленки льда, плавно плывущей вниз, неопределенно и вбок уходящей под ногу, так, что остывает все внутри: то ли вынесет, то ли хрястнет, ломко и резко; и обломится, и повлечет тебя в маслянистую, сейчас сквозь лед мерцающую, черно-зеленую глубину, мягко заволакивая и спутывая, выравнивая в изначальных правах со всеми здесь равными в своем постоянном холодном молчании, со всем неродившимся еще, рожденным и уже ушедшим, — всем этим, живущим совместно, в од-

ном, ничего не выделяющем, вечном, недвижном русле; совместно, потому что нет здесь и не может быть наблюдающего и острого и, главное, сознающего свой час и по нему размышляющего все в этой полной, бездонной глубине на то, что будет (после него). То, что было (до него). И то, что есть.

Есть и всегда. В этом, быть может, и состоит сила поднимающейся снизу, из глубин, материи, неостановимо, необъяснимо колышущейся своим чудовищным, неопределенным туловом под тонкой, гибкой, но и хрупкой коркой познанного, того, что разум успел схватить и лихорадочно постичь в мгновение своей истории, отсчитанной вечностью посредством трех сухих щелчков метронома: раз, два, три...

Раз. Два. Три. Любое из этих мгновений способно разорвать башку каждому из нас. Что ж, спасайтесь, сознающие, совестливые и памятливые, — беспамятством?

Впрочем, тут и смешно про совесть: в природе — не помнить.

Вечность, мягкое чудовище, стирает и стирает знаки, выведенные ею же самой и внушенной ею же нам с догадкой, что это — важно, что это — смысл. Стирает и стирает, чтобы начертать новые знаки и новые смыслы, которые исчезнут, уступив место третьим... Я не хочу не помнить... Я не хочу не знать и не чувствовать сердцем, как разорвалось сердце у моего отца... Не хочу не видеть своими глазами ослепляющих моего деда... Впрочем? Впрочем, Алеша, и здесь какой-то мелкий эгоизм? Эгоизм сознающего и не желающего, настырно бьющегося, не желающего быть раздавленным сводом равнодушного времени. Не согласного быть захороненным и потеряннным навеки в прахе и

плесени, меж рыб, трав, цветов и насекомых... Ну? Как же? Милый? Ты же за равные права и за равный удел! Да не за равные и не за равных! А за то, чтобы... А за что?

Дядька мой перед смертью повторял с тихим остервенением и часто: «Захороните — оставьте меня в покое, никаких камней! Никаких оград! Схороните — и забудьте. Все одно камень в прах пойдет... Какой толк мне обманываться?»

На красной голове у него были одни седые клочковатые виски — все, что осталось от стертой временем, болью и трудной умственной работой шевелюры. Я помню его, всегда греющегося, у пылающей печки, в толстых валенках, в белом меховом жилете, с желтым львиным лицом, с белыми страшными глазами цвета нашего некрашеного забора. Это был странный, измученный жизнью человек: война, тяжелое ранение, плен, лагерь. Там, в последнем, было и такое — «пойти на провод». То есть не вынесший мук бросался, падал на провода ограждения, которые почти всегда были под рукой, в двух шагах... Но — жить! Жить, понимая измученным нутром, что завтра или даже сегодня — мокрые клыки овчарки, разрывные пули в костлявую спину... Жить, твердо зная и помня, что для внешнего, оставшегося в юности мира их смерти окажутся более оправданными, нежели их спасенные, но никому не нужные жизни...

«Почему?» — спрашивал я его, приезжая к нему на каникулы. «На провод там считалось позорно... Там свое было понятие — глубже, шире? Не знаю... Догадываюсь... что заработало что-то из глубины, из сути, из природы... Природа ведь, пожалуй, не знала, чем, как и когда

закончится война? Природа и в нас видела возможный материал (вдруг другого не окажется?) для восстановления человечества, для спасения вида...»

Я никому не рассказывал, что мой дядя был в плену. Это помогало: дядя, дядя Петя Тарлыков, жил совсем в другом городе. А у нас к таким, как он, относились плохо. У нас было тогда тоже свое понятие — шире, глубже? Не знаю, как не знал и дядя Петя... Не рассказывал я еще и потому, что меня ожгла вот такая мысль: а вдруг они там все придумывали себе? И про вид, и про человечество, и про мудрую природу — чтобы спастись любой ценой? Чтобы хотя бы в глазах друг у друга оправдаться?

А если все же правда? — думал я позже. — Как же им было, ведь и их, наверное, казнило сомнение: кто прав, они? или то время, из которого они ушли на войну?

Время? Время имеет жутковатое обыкновение ставить все на свои места лишь впоследствии. Дяде даже орден вернули и две медали. Я сам по слогам читал. К тому сроку я уже успел оценить решающий, окончательный смысл печатной буквы. Как напечатано (а не просто написано), так и было, так и будет считаться всегда.

И я перестал стесняться дяди. И получил полное моральное право его уважать. Единственно, что меня беспокоило: а почему я раньше, до того, как прочитал, сомневался, что так и было? Но важнее, значительнее казалось, что все-таки все стало на свои места...

Впрочем, что значит «на свои места»? Есть какая-то едва приметная ухмылка в этом выражении. Все на своем месте и стоит в каждом отдельном времени. Трезвая правда, наверное,

в том, что ты должен жить внутри определенного тебе времени и вне его жить не можешь, и не быть судимым его судом не имеешь никакой возможности. Надо иметь мужество жить своим временем, в то время, когда родился, иначе же ты не сможешь жить вообще...

Дядя Петя сумел дожить до «полной правды».

«Схороните — забудьте. Не надо мне ни ограды, ни камня».

Гордый до остервенения.

Испечеленный до неспособности принять последний обман.

Как же... Как же ты не пошел на провод?..»

Ну-ну... Голова кругом пойдет от таких перепадов... Алеша пишет по законам, ведомым лишь ему одному. Все развивается у него как в дурных снах, все вроде и похоже на правду, и вроде правда, но пойдешь за ним и обязательно уж в какое-нибудь бучило завалишься...

Так что: ходи один, мой верный, мой ненадежный друг... Так-то спокойнее.

Из документов, составленных или найденных впоследствии:

«Из ответов, полученных на официальные запросы, явствует:

1. Факт рождения Тарлыкова А. Н. в Барденевском загсе не зарегистрирован;
2. Тарлыков А. И. на территории Барденевского г/с не проживал;
3. Тарлыков А. И. в Проворовском университете не обучался. На основании установленного факта фиктивности личности гр. Тарлыкова А. И. уголовное дело о якобы имевшем место факте его убийства предлагаю вернуть на исследование. И. о. пом. прокурора области Р. Бореев. 12.11.80 г.»

...В иных случаях умнее и надежнее потянуть, повременить и дожидаться некоего последнего удара часов: время, время довершит тобою начатое.

Павел Прохожев, XX век

Довольно-таки странные у меня в последние дни ощущения, и я уверен, что не со мной одним подобное случилось... Надежный вроде бы человек с тобою рядом, не подведет, знаешь, и не обманет, а зацепится где-нибудь в закоулке мозга либо оговорка дурная, случайно про него кем-то или даже самым тобой оброненная, либо сон, пустой и никчемный, приснится: будто он продал тебя, обманул, подвел, сподличал, да мало ли какие сны снятся нам? Но — и все, и покатится: и вдруг застасшь себя на том, что в присутствии этого человека настораживаешься, ждешь чего-то, ловишь взгляд, фразу, и толкуешь уже: а не подтверждение ли? а если подтверждение — верно ли ты догадался? или показалось?

Вот и мне показалось: а уж не притворяется ли наш Алеша? Оттого у меня нынче не было никакого желания встречаться с ним. Отчасти и по этой причине, отчасти, и главным образом, потому, что имелись планы совсем другие, но... Но с начальством, поверьте, спорить вредно для здоровья: короче говоря, очутился я в Покровском, на ферме. А возвращаясь, поехал, как повезла попутка, через Яшкино...

Был хороший солнечный день. Я вылез у школы, поскольку дальше нам с водилой оказалось не по пути: ему в колхоз Маяковского, мне в Астахово... Двери были настежь, то есть открыты. Я зашел. Попить водички. Итак.

В коридоре было пусто. Топились уже печи, хотя на улице еще стояло тепло. У печи дремала баба Ксения: уборщица, из местных, она же сторож, она же и истопник.

Баба Ксения открыла свое недремлющее око:

— Двери дома закрывашь?

Я не понял.

— Закрываешь! — ответила она за меня. И я закрыл послушно не мной распахнутые двери.

— То-то... Вытирай ноги. Входи, коль вошел... Там они, в учительской, решают...

— Что решают?

— Эт ты у них и спроси... Понаехали, понатаскали — вытирай за вами, пластайся: а чего решать? Чего решать, когда все без нас решили? И-их, люди, навоз от вас столько, а боле от вас ничего...

В учительской дверь была полуоткрыта: все в комнате не уместилось, стояло больше, чем сидело. В одежде, в ватниках, в плюшевках, в сапогах и в шапках — человек сорок, считай, все яшкинские жители, кроме разве что младенцев и стариков.

За учительским столом сидели двое. То есть сидел один: Игорь Николаевич Горюев. А второй, как будто бы знакомый мне, из Покровского, — этот стоял... Я поскреб в памяти. И вспомнил — не далее как месяца полтора назад мы с ним познакомились. В поле. Я искал главного агронома. Подвернулся этот парень. Спрашиваю: «Ты кто? Как зовут?» Заулыбался смущенно, покрываясь нежными алыми пятнами: «Володя... То есть Владимир Петрович... Главный агроном».

Так вот этот Володя-агроном и говорил сейчас, сминая в руках какую-то пространную, плотную, исчерченную бумагу.

— Мы почему к вам приехали? — спрашивал он собравшихся неуверенно. И, не дождавшись, отвечал: — Потому что... В общем, у нас не может быть секретов от вас, как от народа. А вы молчите... Отвечайте... Кто хотя бы желает выступить?

Игорь Николаевич, положив руку на руку, смотрел насупленно на людей. Они молчали. Тогда Игорь Николаевич поднялся, отобрал бумагу у Володи-агронома и сказал веско:

— Товарищи.

Люди зашевелились. Горюев переждал шевеление. И продолжил:

— В настоящий момент в моих руках находится план предстоящего переустройства земельных угодий колхоза «Светлый путь». То есть нашего с вами, товарищи, коллективного хозяйства. По плану, в соответствии с производственными интересами и расчетами, подготовлены и приняты решения. Все земли, занятые пока малоперспективным населенным пунктом Яшкино, начиная с будущего года, постепенно и планомерно распахать... Не сразу, товарищи! Не сразу! На территории села, как вы знаете, много брошенных усадеб, а также пустошей. По плану именно эти участки будут прежде всего положены в основу расширения земельных угодий... Земля должна приносить пользу — правильно?

— Правильно...

— А нас куда?

— За кудыкины горы...

— Кто это там порядок нарушает?! — строго спросил Игорь Николаевич, но, не дождавшись ответа, пояснил: — А вас сейчас никто и не трогает. А со временем, хотите — перебирайтесь на центральное отделение, хотите — в Астахово... Выбирайте — выбирать есть из чего...

— А ежели я здесь хочу остаться? — поинтересовался кто-то слабым голосом.

Я оглянулся: оказывается, и столетнего Лукьяна сюда привели.

Горюев усмехнулся:

— К тому времени, дедушка, этот вопрос будет снят.

— Как... Снят? Обратно воротимся? — приятно удивился Лукьян.

— Да помрешь ты, помрешь к тому времени... — досадливо толкнула деда в бок Аграфена Дементьевна.

— Ага... — облегченно сказал Лукьян. — Помру... А ну как не помру?

— В лице деда Лукьяна отвечаю всем сомневающим-

ся! — возвысил голос Игорь Николаевич. — Никто никого не выселяет и выселять не собирается... Никто никого не принуждает против воли... Переезд — дело добровольное...

— Ну а если в самом деле кто-то захочет остаться? — спросил из дальнего угла Тарлыков.

Игорь Николаевич задумался, как лучше ответить. И тут опять влез Володя-агроном:

— Вот мы и должны сейчас решить...

— Так чего решать? — перебил его Горюев. — Ясно — переезжать! Колхоз всем желающим выделит благоустроенные квартиры, чего же решать?.. Кто за то, чтобы жить в светлых благоустроенных жилищах? Так... Пять, шесть, семь, десять. В перспективе с газом! С душем! С ванной! Так... Двенадцать, четырнадцать, восемнадцать... С магазином!... Двадцать, двадцать пять, тридцать... С маршрутным автобусом!... Ну? Вот: тридцать четыре, тридцать семь... Кто против, кто воздержался, единогласно!..

— А когда пахать будете?

— По мере переселения.

— А когда переселяться?

— По мере подачи заявлений. Все заявления будут рассмотрены.

— А когда школу закроете?

— Ориентировочно — в будущем году. Не следует спешить, верно?

— Верно...

— Неверно!

— Верно!

— Здание школы будет капитально отремонтировано и оставлено под зерно. Зерно тоже хранить необходимо... Согласны?

— Согласны...

— Валяй далее...

— Деревья у бывшей школы оставляем. Как украше-

ние. Как память. И как зеленые насаждения. Есть кто против?

— Да кто ж против-то...

— Руби их, жги! Паши! — закричал вдруг Огольцов и застучал единственным кулаком по крышке парты. — Главное, ребята: не поддаваться на провокации!

— Нет... Но... — осторожно начал Игорь Николаевич. — Это все по плану, по чертежам, все продумано...

— Продумано?!

Савелий Огольцов поднялся в полный рост и захотел.

— Да чего думать-то? — крикнул он весело, пробираясь к выходу. — Чего сомневаться? Чего ты сомневаешься? Почему не веришь? Вали ее, руби под корень, жги!.. Я сам и подожгу, первый — к чертовой матери...

— А! Ну... Это другое дело! — догадался Горюев. — Это, конечно, Савелий Лукич, это само собой. Но! — возвысил вторично он голос, когда дверь за Огольцовым закрылась. — Спешить не следует, товарищи!.. Всему — свой срок... Надо быть последовательным, верно я говорю?

— Верно...

— Неверно...

— Так что — оставляем деревья? Поддерживаете?

— Поддерживаем! Поддерживаем!

— Согласны!

— А кто твоего согласия спрашивает? — выскочил внезапно из общего шума голос Серафимы Дариковой.

— Как — кто? Всех спрашивают! И меня спрашивают! — обалдел Витя Дариков, вытаращив глаза на жену.

Все весело засмеялись...

— Молчи, дурак, — подвела итог короткой схватки Серафима. — Все кричат «поддерживаем», а ты что кричишь?

— Я кричу: согласны!

— Вот то-то и оно... — горестно и стыдливо обвела

односельчан взглядом Серафима. — У всех мужья как мужья... А у меня... Соглашатель чертов!

Все опять весело засмеялись.

— А как с кладбищем обойдетесь? — спросил чуть слышно кто-то из старух.

— С кладбищем? — оживился Антон Лукев. — С кладбищем?..

— Дед! Тихо! — предупредительно прикрикнул на него Горюев, по праву хоть и дальнего, но родственника. А Володя-агроном попросил:

— Не мешайте, пожалуйста.

— А ты без «пожалуйста», пожалуйста. Понял? — обозлел Антон, но добавил уже ровнее, обращаясь к односельчанам: — Мимо погоста, дорогие товарищи, нас с вами все равно не пронесут... Так что помирайте спокойно...

И спел, пристукивая подшитыми валенками:

— Всех схороним и запашем,
И подыдем урожай,
Всем врагам мы хрен покажем
И загоним за Можай!

Вот так-то у mine, коллеги: не сорвесси! А? То-то... Спасибо за внимание...

— Выведите его, — кратко сказал Горюев. И, когда все было сделано, он покашлял в кулак, пережидая шум, и произвел разъяснение:

— Кладбище мы вам пока оставляем. Хотя... Хотя не по закону это.

— А по закону как?

— А по закону... — строго, с укором промолвил Игорь Николаевич. — По закону еще прошлой осенью надо было распахать... Понятно? Тридцать третий год вы никого там не закапываете. А по закону: как тридцать — так все, порядок...

— А по закону разве так-то? — вновь удивился дед Лукьян.

— Так-то... — передразнила Ссрафима деда. — Да что мы, товарищи, сомневаемся? Повод тоже мне нашли... Принимаем все целником и поддерживаем, Игорь Николаевич! Так наверху и доложите!

— Это ты, Сима, брось! — сурово начал Витя Дариков, но тут же и замолчал, потрясенный ударом в темя: хоть и сквозь шапку, а все ж — чувствительно...

— Нет-нет, — заволновался Володя-агроном, — в самом деле... Вот смотрите... Последние захоронения... По актам сельсовета... Последнее захоронение произведено в сорок восьмом году...

— Да ты же видишь! Видишь — никто с тобой спорить и не собирается! — засмеялся Тарлыков. — Что там еще? Валяй по списку дальше.

— Правильно, Алексей Иванович! — поддержала горячо Тарлыкова Алла Евгеньевна, временно исполняющая обязанности директора. — У нас вопросов нет. Если все по закону — у нас вопросов не имеется... Правильно!

— Правильно...

— Растолкуйте хоть...

— Заткнись, тебе говорят...

— Правильно!

— Верно!

— Поддерживаем! Паши ее к чертям!

— И последний вопрос... — поднял палец Горюев. — Молоко! Доложит вопрос Владимир Петрович... П-а-апрашу ти-ши-ны, товарищи...

Мы вышли с Алексеем на вольный воздух. Вдохнули — чистого, терпкого, осеннего. Тарлыков скривился:

— Этот... Как его... Профжених этот... Он от имени кого здесь?

— Ты бы у него и спросил, — улыбнулся я невольно.

— Да какая мне разница? — огрызнулся Алексей. — Им не надо, а мне?

Это-то свойство в Тарлыкове более всего людей и раздражало: когда надо сказать — промолчит, когда не надо — обязательно влезет... Умный, добрый, не бездарь,

но — препротивнейший, если разобраться, человечинко...
— Почему не надо? — не согласился я. — Что надо — ими сказано... А о том, что для них уже неважно, зачем и говорить?

Мимо, по ступеням, загремела пустыми ведрами баба Ксения.

— Ты-то чего не пошла? — прищурился Алексей.

— Я? — остановилась баба Ксения в недоумении. — Ай я там чего забыла? На mine печи, на mine вода, на mine дрова, дома корова не доена... Это вы, бездельники, вам бы все ласы точить... Вам бы, бездельникам...

— Ну! Разошлась! Не ругайся... — усмехнулся примирительно Тарлыков. — А будешь возвращаться, клики Анания: мы у реки, он подвезти обещался.

И пояснил. Для меня. С совершенно каменным лицом:

— Алла Евгеньевна просила... На активе вместо нее посидеть...

Любопытно: а если бы Прохожев попросил «за себя» — он тоже бы согласился?

...Скрипят, хоть и мазанные, колеса; колеса старые, на пол-обода сношенные, и уходят они в каждый оборот, будто в последний путь, выписывая в воздухе головокружительные, особенные кривые; и если взглянуть в пыль, в след, что оставляет за собою телега, то можно и усомниться: а так ли уж трезв наш многотерпеливый Федулка? Такие размашистые, от души, восьмерки, столь асимметрично разбросанные яблоки — в густой пыли остаются...

Алексей ведет с Ананием малопонятный мне разговор.

— Дед! — вклиниваюсь я в их мирную беседу. — А ты, говорят, Зимний брал?

Ананий молчит, ни единым мускулом не давая понять, что слышал, перекладывает, как перекладывал в здоровенных ладонях сальные веревочные вожжи. Муха села на шею. Он и муху не смахнул. Федулка стегнул хвостом по щеке — и это без внимания...

— Брал.

Ага! Уже лучше... А вот я тебе сейчас...

— А царя, дедушка, ты там видел? Или без тебя обошлось?

— Видал.

Вот так вот: попался Ананий... Ты еще ко всему и брешешь, оказывается?

— Как же ты его... Что он там делал-то хоть?

Ананий бьет наконец муху. И долго смотрит на толстые растопыренные пальцы:

— Это мне неведомо...

— Ну как, как все было?

— Как... Мы влево — он вправо... Мы вправо — он влево... Мы за им — он на второй этаж... Побежал, побежал, анчихрист... А борода-а... Борода у него до земли болтается: сел в лихт — и поминай как звали... Так-то... — и скосил на меня залепленный морщинами глаз.

Тарлыков качается из стороны в сторону, и тут только я замечаю: смеется гад, заходится аж, издавая нутром трубные какие-то звуки. Ну чего смешного? Чего?

Все это, конечно, ерунда. Но осадок неприятный в душе остается-таки... И смеяться мне почему-то не хочется.

Да и ему, если задуматься, с чего ему смеяться? Диссертацию писал — провалилась; женат был — жена ушла; квартиру в городе имел — бросил; директором был — разжаловали; мотоцикл давали — утопил; лошадь выделяли — отняли... Что же, что за душой-то у тебя? Уменьше выпить хоть ведро да поболтать за жисть? Картины? Да уж... Не картины, а поминки по самому себе...

И мне становится даже несколько жаль Алексея. Неприкаянный он и несуразный: а все от него чего-то ждут, ждут... Кто чего: кто неприятностей, кто гениальностей... Откуда? С чего бы это? Ему бы с самим собой справиться да разобраться...

Боже, как же можно в таком неуюте и такой нечистоте жить? Как в неубираемой годами квартире...

Мы едем. Точнее: мы движемся. Проходит не менее

двадцати минут. Высоко в сухом небе поет неведомая мне птица, Тарлыков долго смотрит прямо над собой, верно, пытаясь сыскать ее вверху. Ананий, кажется, дремлет — с прямой спиной и с коричневато-набрякшей шеей... Но — нет.

— Иваныч, — окликает он Тарлыкова осипшим голосом. — Ты мне прошлый раз про мысли мои спрашивал... Как я про что думаю...

— Ну? — не сразу отзывается Тарлыков, не опуская глаз. — И что?

— А про мудреца ты мне сказывал, — напоминает Ананий. — Был такой, всамделе был?

— Который не знал, во что после смерти превратится?

— Ага...

— Был! — оглядывается весело Алексей. — Всамделе... А тебе зачем?

— Вот и я думаю... — начал было Ананий и надолго замолчал, уставясь опять в Федулкин тощенький круп. Молчал и Алексей, поглядывая в звенящее небо: какому, однако, терпения хватает — и с такими общаться?

— Думать, Лукьяныч, не возбраняется... Думай, Ананий! Мечтай больше. И тем утетишься.

— Мечтать? — не поверил Ананий. — Так как мечтать... Не знаешь ведь, как и чего будет...

— Для утешения и мечтай...

— Для утешения, — трудно размышляет он. — Зверь даже или птица вон, и та для утешения, за просто так — голоса не кажет... Все — для пользы какой-то...

— Так ты чего себя по зверью-то меришь? — улыбнулся Тарлыков. — Ты же че-ло-век! Властелин, значит, и покоритель просторов...

— А ну как... После того-этого... В зверя обратишься?

— Ну — и какие проблемы?

— Какие... А вот какие... — раздумывает Ананий Лукьянович вслух, тревожа Федулку жичиной. — И в кошку бы и в мышку я согласный... И в птицу: в ворону или

там в голубя — все неплохо... И в собаку... В собаку — даже хорошо...

— Так что ж плохо?

— А ну как... в лошадь?

— А что? — вновь не выдерживаю я. — Лошадь — животное чистое. Не в пример свинье или той же вороне...

— Так-то оно так... — отвечает Ананий уклончиво, всматриваясь опять и всматриваясь зорко в зад своего уезженного мерина. — Согласный бы я и в лошадь. Только вот ср... я на ходу не умею...

Алексей не смеется в этот раз. Алексей усмехается. А в самом деле, шутит Ананий или всерьез? А если всерьез, то не слишком ли серьезно?

— Тэпэру-у! — понятно для лошади говорит Ананий и сползает с передка. — Перепахано... Слазь.

Мы соскакиваем: дороги действительно нет. Все была-была. И кончилась.

— А дальше? — смотрит Тарлыков в сторону поселка, приставив козырьком ладонь.

— Конца вроде не видать... — с сомнением вглядывается туда же Ананий Лукьянович.

— Да поезжай!

— Прямо штоль?

— Прямо и поезжай...

— А ну как заругают? Не зазря ж машины портили...

— А ну как не заругают! — вскрикивает бешено Тарлыков и нетерпеливо хватается за узду. — Сам говоришь, что на ходу не умеешь!..

Километра через полтора, метров за двести до поселка, пахота кончается. В воздухе уже прохладно, часа четыре, пожалуй, упарившийся, покрытый темным и грязным потом Федулка тащится еле-еле. В поселок мы входим пешком...

Итак, положение, в котором оказывается Алексей уже на сегодняшний день, можно назвать не иначе, как *persona non grata*... В отделе культуры поделились: слухи «о поведении этого разгильдяя» дошли уже и до больших людей области... В райпо отказываются принимать из его рук счета... В райисполкоме похихатывают при одном его имени... В роно с ним принципиально не здороваются... Ну, тут понятно, тут Павел Сергеевич не дремал, а по другим ведомствам: неужели тоже его работа?

— Одиозная фигура, — поднимает со значением свой тонкий белый палец Авдеев. И молчит. Потому что уже все сказал...

Ах, Авдеев, Авдеев... Предчувствую я, сколь грандиозную ты сможешь роль сыграть в этом затянувшемся водевиле... Догадываюсь я... Увы, только догадываюсь: далеко не одного меня снабжаешь ты своей точнейшей, бесценнейшей информацией!

И везде-то Коля успевает. Сегодня вот успел на райхозактив. Успел-таки — в кулуарах райхозактива. А может, кое в чем и сплетнями попользовался, не знаю, не берусь... Но вот что он, по крайней мере, мне рассказал. Привожу как есть, как рассказано, без каких-либо комментариев...

После актива Тарлыков поймал Геннадия Васильевича Зарывалина в буфете. Оттащил едва ли не за рукав:

— Вы думаете магазин открывать?

Зарывалин — мужик неглупый и, в общем-то, если не давить, покладистый.

— Так у вас же есть Дарикова? — заулыбался он, располагая к себе.

Но Тарлыкову не до тонкостей... Тарлыков берет быка за рога. И причем с самой мрачной физиономией, будто всдет уже этого быка на бойню.

— Дарикова — раз в неделю. И по совместительству. И только хлебом и водкой...

— А разве этого мало? — шутит Зарывалин. — Разве мало для настоящего-то мужчины?

— Вот вы, как настоящий мужчина, и питайтесь водкой и заедайте ее хлебом... А в Яшкине...

Но Зарывалин не прост. Ох, не прост. И обыкновенным хамством его не возьмешь. Он разводит руками, сохраняя улыбку на лице:

— Не мой вопрос, Алексей Иванович. Обратитесь-ка в райпо... Всего вам...

— Это не все еще! — берется Алексей уже за лацканы. — Подождите! Успеете в буфет... Как быть с мостом?

— Так вы ж с Валерием Ивановичем толковали! — зыркает на него недобро Зарывалин, освобождая пиджак. — Помог он вам?

— Нет. Он обещал с вами говорить...

— Так вот надо не к Хицко ходить! А к Зарывалину! — не сдерживается наконец Геннадий Васильевич. — А на мне и так выговоров — как собак, без счета!

— Вы не кричите, — каменеет Тарлыков. — И говорите по делу...

— А? По делу? — успокаивается Зарывалин и говорит негромко, для двоих. — А по делу — не будет тебе ласа... И — точка!

И поворачивается, чтобы уйти.

— Стоп, дружочек, — улыбается уже Тарлыков, как-то даже жалко, и сдавливая, и сдавливая своей рукой запястье Зарывалина. — Сядем... Садись!

Они садятся. В сутолоке никто и не замечает этих двоих, устроившихся на диване, соединенных... несколькими странными узами.

Тут только Тарлыков и начинает, кажется, дипломатничать:

— Прошу вас, извините меня... Честное слово, не сдержался...

— Да уж... Чего уж там... — оскорбленно шепчет побледневший Зарывалин.

— Скажите, Геннадий Васильевич, вы уже приступили?

— К че-му?!

— Вы зачем Яшкино опахали?

— То есть как?

— Так.

— Я не в курсе...

— И что посеяли — тоже не в курсе?

Зарывалин молчит.

— Хорошо... — говорит жестко Тарлыков, ломая губы брезгливой усмешкой. — Когда озимые взойдут... Я подговорю пастуха, когда они взойдут... Подговорю и стравлю деревенским коровам. Понял?

— Да ты кто есть такой? Ты как разговариваешь?!

— Я? — захохотал Тарлыков. — Я?! Я — представитель народа... Такой же, как и ты, между прочим...

Геннадий Васильевич растерялся на мгновение. Но — лишь на мгновение.

— Кто тебя представлял? — перешел он тут же в атаку. — Кто? Покажи документ!.. То-то же... Мальчишка!

И поднялся. И понял, что освободился, сразу и крупным шагом пошел в сторону, оглядываясь.

— Сопляк! Я тя-я научу разговаривать. Я тя научу родину любить...

Ну вот так, как всегда бесславно, и закончился очередной демарш Алексея Ивановича. Так-то разве дела меж людьми делаются?! Если верить Авдееву, то дальше, по-моему, уже просто и некуда... Действительно: сама себя раба бьет... Три недели спустя, уже после того как наступила развязка, Коля Авдеев посвятит меня в некоторые дополнительные подробности решающего дня.

Оказывается, сразу после актива Тарлыков побывал в прокуратуре, в милиции, заглянул он в тот день и к Валерию Ивановичу Хицко.

Как сказал Авдеев, все разговоры Тарлыков сводил к двум вопросам. Первый: этот негодяй Прохожев! Второй:

немедленно требую восстановить в Яшкине оживленную культурную жизнь!

Представляю, как улыбались те, кому пришлось все это выслушивать.

Вечером, накануне, я наотрез отказался где бы то ни было свидетельствовать о том, что Прохожев рассказывал Тарлыкову. Фактов действительно никаких не было. А без фактов все это в самом деле скорее всего оказывалось причудливой жутковатой прохожевской сказкой.

И вот, видимо, Тарлыков, как всегда перескакивая со второго на третье, поведал изумленному человечеству бредни властолюбивого старичка. И его изо всех кабинетов проводили, разумеется, вежливо поблагодарив за «неожиданную постановку вопроса».

Догадываюсь, какие мысли, какие подозрения и сомнения роились во вздорной голове Тарлыкова, когда его с улыбкой выслушивали и потом неизменно указывали на дверь. Я сейчас уже и так думаю: вероятно, Прохожев совершенно сознательно внушил Тарлыкову лживую мысль о каком-то банке и каких-то нитях — для того лишь только, чтобы нормальная реакция деловых и очень занятых людей воспринималась Алексеем как подтверждение и указание на то, что таковое существует.

И при таком повороте Павел Сергеевич мне представляется в самом деле хоть и не зловещим, но достаточно опасным человеком. Ведь в принципе он мог здесь крутить всеми нами как ему хотелось.

А коли мог, то... То — что?

Нет. Не знаю. Ничего не знаю. Не знаю. Не помню. Не слышал. Не говорил...

Коля утверждает, что Хицко был к Тарлыкову расположен. Не спорю. Возможно. Даже, наверно, точно так: Хицко почему-то обожает таких вот придурковатых людей. Помню, он пригрел какого-то хромого изобретателя. Дал ему даже комнату. И он доизобретался до того, что едва не сжег наш поселок. Потом был какой-то поэт из Москвы — Хицко помогал ему с жильем в одном совхо-

зе. Потом егерь, тот все норовил поймать на браконьерстве начальство. Ну, и доловился — самого посадили. Был архитектор — тот, правда, построил нынешний музей, но в конце концов сбежал от нас с женой управляющего сельхозтехникой.

Было много. И все — какие-то чокнутые.

Что в них Валерий Иванович находил? Но закавыка сейчас, конечно, не в этом. А в том, каким образом Хицко объяснил Тарлыкову, что тот совершенно и во всем заблуждается?

Из документов, составленных или найденных впоследствии:

«...Все сказанное невольно заставляет сделать вывод: мы имеем дело с человеком, давно не отдающим отчета в собственных поступках. Поймите меня верно. Менее всего сейчас озабочен действиями, которыми с его стороны подвергся я. Да. Всем в районе очевидно, сколь двусмысленно мое нынешнее положение. Что мне ответить им? Пока нечего. Безнравственность, полнейшая развращенность этого человека — не в силах допустить, что эти качества могут вызывать у кого-либо симпатию! Но неужели это все-таки жестокая и злая правда? И я, со своей стороны, буду вынужден принять незамедлительные меры?! Теплится надежда, что недалековидных в подобной степени руководителей у нас в районе не найдется...»

(Из докладной П. С. Прохожева на имя В. И. Хицко.)

«...Не скрою, я был среди самых близких ему людей. И с болью теперь наблюдаю, как много желающих примазаться к его славе. Как нечистыми руками обывателей, мнимых поклонников мусолится его белоснежное имя. Не да-

вай оболгать большой талант! — говорю я себе. — Вот твое призвание!»

(Из статьи П. Прохожева «Звезды Тарлыкова».)

VII

...К счастью, он имел карманы в брюках, — и туда могли уйти его руки.

В крайнем случае он мог бы там сам укрыться целиком.

Он попробовал осторожно, незаметно это сделать, как будто бы оттирал пыль с брюк.

Но карманы его были защищены глухо крупными белыми стежками.

Янис Рицос, XX век

Он примчался в село неизвестно на чем и как. И сразу же нырнул в свою нору. Неизвестно потому, что — только мне рассказал про все Авдеев, — я сразу стал названивать в Яшкино. Трубку подняла сначала баба Ксения, и тут же, параллельно, на квартире — Тарлыков... Представляю, сколько бешенства сидело в нем, когда он летел с актива сломя голову. Но голос его был почти ровен:

— Слушаю... Да... Слушаю...

Но мне ли не знать его, мне ли обманываться, не разобравшись в его интонациях?.. Таким я не помнил Алексея еще со времен университета.

Я стал говорить ему что-то, объяснять, кажется, про Зарывалина, про то, какой замотанный и затравленный он, про его многочисленные взыскания и многотысячные долги. Он хотел было бросить трубку, но я не дал, я завопил изо всей мочи.

Я бил наверняка. Только в двух пунктах можно бить

Алексея наверняка. Надо или оскорблять его. Или напоминать про жену. Что, впрочем, как мне казалось тогда, было одно и то же...

Я ударил по двум пунктам сразу.

Трубка замолчала.

Пока она молчала, я прикидывал: чем буду крыть дальше?

— Если хочешь, приезжай завтра...

— Сегодня! — сказал я.

— Сегодня ночь.

— Ночью!

— Не надо, — спокойно отказала трубка. — Без истерик, Андрей Степанович... Это несолидно... Мы же не умираем с тобой! Так ведь?

Только я собрался ему что-то такое завернуть, как в наушнике щелкнуло, затрещало и как будто всхлипнуло...

— Кто-то нас слушает? — спросили мы неуверенно и одновременно друг у друга. — Положите! Сейчас же!!!

— Да на черта вы кому сдались... — ответили нам. — Тыфу на вас! Не помираете, лежени, и — не помрете... А Анисочка! Померла! Царствие ей...

Голос прервался, пошли короткие гудки. Я тут же, спотыкаясь, набрал вторично: опять короткие! Еще раз: опять! Видно, там, в школе, трубку уронили рядом с аппаратом. Уронили — и не хотят положить как следует... А может быть, пошли просто-напросто подкладывать в печь.

Конечно, я не отдавал себе отчета в том, каковы могут оказаться последствия этого дурацкого тройного разговора... Разумеется, я не допускал и мысли, что это как-то на Тарлыкове скажется.

Только утром, заглянув на работу, я отправился в Яш-кино. Все мои действия тогдашние, даже и самые скорые и четкие, кажутся мне теперь и медлительными и вялыми, будто я специально не спешил, будто знал я, чем все это в конце концов кончится... Ну, а может, и знал? Что с того сейчас? Конечно, знал! А если и не знал наверняка,

то догадывался, да и угадать все было бы так же трудно, как результат и смысл какой-нибудь детской игры, рассчитанной на три хода.

Добрался я к обеду, а к тому времени в Яшкине уже и начались невероятные события, не укладывающиеся и теперь для меня ни в какие рамки... Начались — и остановиться, а пуще того, переделать или изменить что-либо — было уже невозможно.

Тут же, оказывается, едва уронив трубку, Алексей помчался к Бореевым. Все так и было, как сказал голос из телефона: Анисья Лукьяновна приказала долго жить... Да и что тут удивительного? Человек в преклонном возрасте, семьдесят с лишним годов, ну, поскользнулась, ну, упала, ну, сломала ногу — мало ли людей ломает конечности? Умерла Анисья Лукьяновна? Ну и что? Могла ведь она умереть и не от ноги. Да и объективно неизвестно опять же, имела ли отношение самая нога (точнее, ее перелом) непосредственно к факту ее кончины?..

У нас в районе, по крайней мере, никто и никогда не связывал и не соединял все это в одну цепь; разве что одному Алексею могло прийти такое в голову...

Впрочем, постараемся быть объективными и в мелочах: вряд ли и Алексей вот так вот, четко и ясно, взвешивал, тут, вернее, имел место порыв, удар, приступ бешенства или чего-то там подобного... Не знаю, не знаю... Во всяком случае, понатворил он вскорости немало непонятных дел, отзвук которых и по сей день остается в нашей памяти...

Я заговорил об объективности, а уж коли так разговор повернулся, следовало бы и пошире взглянуть на случившееся: думается, тогда только и будет понято все до конца и верно; лишь впоследствии, осмысливая происшедшее, я вернулся к некоторым, не совсем понятным для меня страницам тарлыковского дневника; признаюсь, и до сей поры полной ясности в их толковании нет, но что-то общее со всем, у нас происшедшим, есть несомненно. Я решил привести несколько кусочков из его рукописи

именно здесь, перед тем как рассказать о случившемся, и именно потому, что думаю: это поможет хоть как-то, хоть в какой-то степени объяснить нелепые, невероятные поступки моего товарища.

«...Прошло уже четыре месяца. Все это время я старательно пытался не вспоминать. Нет, я вовсе не хотел забыть или забыться. Просто-напросто срабатывал трезво и безотказно какой-то там инстинкт: когда внезапно, как из трещины, начинали вылезать все эти видения... Но вот я подумал: что, если я и дальше буду столь же старателен, и, пожалуй, все и поблекнет в моей памяти до нейтральных цветов и запахов малозначительного события. И вот я решил все записать. Если еще не поздно.

Как же все было? Я гостил у родителей.

Приходил Колька, сосед, детский товарищ... Мой товарищ... Приходил какой-то Митя, два раза или даже три — это уже отцов приятель, его помощник. То есть бывший помощник бывшего машиниста. Все эти дни, вся эта неделя, долгие бесконечные сидения за деревянным столом в деревянном цветочном саду, разговоры, разговоры, разговоры, братания, ссоры, объяснения и клятвы в вечной дружбе и любви, рыбалки, опять застолья, белые, резко пахнущие белые яблони, яблоневого розоватый цвет, устилающий и устлавший наконец деревянный, грубо и щедро заставленный стол... Общие сцены, общее веселье, общие походы, не разобрать, где кто, все общее, как счастливое неразборчивое забытие, — и за всем за этим, — постоянные незаметные, невмешивающиеся два грустных глаза... Глаза стареющего отца, собравшего всех и все это затем, чтобы... Но как прорвать-

ся, продраться друг к другу, к нему, сквозь все это?.. Да и было ли тогда желание продраться?

Вот Митя улыбается, моргает левым глазом, обаятельный пятидесятипятилетний Митя, всплывший откуда-то прямо из небытия, вынырнувший вместе со своей полуразодранной гармошкой прямо в середине весело-горькой недели.

Вот Митя играет, вот мы пляшем, вот Колька сидит. Колька не пляшет, потому что Кольке невесело. А невесело потому, что не выпил. А не выпил потому, что непьющий. А непьющий потому, что не хочет. А не хочет потому, что воля есть.

Ах, как хорошо объяснять и как бы хорошо все объяснить с помощью пустотелых и бесконечных от своей пустоты «потому что»... А если выпадешь невзначай из их заколдованного круга, то и окажется, что Колька не пил по той простой причине, что ему уже и тогда нельзя было пить. Выпил свое, ампула у него в ноге зашитая. Вот и вся недолга...

— Помяните, помяните, помяните... Помяните раба божьего Ивана... Сыночка, Христос с тобой, зачем ты кутью перековырнул? Зачем ты плачешь?

— Зачем? Зачем? Да разве всегда есть «зачем»? Неужели все и всюду преследуют цели?! Шпионы! Иезуиты! Уйдите отсюда! Уйдите от моего отца!..

Но это позже? Или раньше?..

Вот Митя играет. Вот мы пляшем. Вот Колька глотает какие-то крупные розовые таблетки. Давится. Запивает выдохшимся, резким, похожим на эссенцию лимонадом...

— Уксусу побольше... И перчику... Хрена, хрена не жалейте! Дядя Ваня любил, кажется, острое? Правда ведь, тетя Аня?

Вот Митя играет. Вот мы пляшем. Вот и Колька пляшет... Мы пляшем вместе, вдальблывая и вдальблывая новые каблуки в новую, мягкую, в весеннюю землю, сотрясая деревья, сотрясая весь деревянный, осыпающийся белым сад; сыплются и сыплются в грязь белые лепестки, как триста рублей, спущенные мною в трехдневном веселом угаре; сотрясается забор, сотрясаются кучевые облака в побелевшем небе, сотрясается законсервированный, без знаков и рангов, черный паровоз за черным забором, сотрясаются руки, сплетенные и побледневшие от последней мертвой хватки, сотрясаются Колькины остекленевшие, расширившиеся зрачки в черных рамочках ресниц... Сотрясается стол, потому что Митя упал на него, валяя и смешивая закуски, и не встает и не хочет вставать, у него заболело сердце...

— Все готово, тетя Аня!.. Итак? Итак? Где музыканты? Музыку!

— Кто им вынес три бутылки? Они же пьяные!

— Не... Не! Просто веселые ребята! Не подкачают! Приготовиться к выносу! Минор... Начали!..

Вот Митя играет. Вот мы пляшем. Колька спас жизнь дяде Мите: Колька накормил дядю Митю какими-то своими таблетками. И Митя ожил, восстал из закусок, чтобы продолжить игру на разорванной гармошке, чтобы дальше трясти ширинкой над убежавшими пирогами...

Господи, когда это кончилось? Господи, как же это остановилось?

— Чем поят, чем?

— Да, кажись, спиртом...

— Богато... Да он и сам вроде крепко принимал...

— Не пролей капли!

Вот Митя играет... Вот я не могу подняться до двух часов дня, потому что заснул под утро. Отец будит меня, он пытается разбудить меня. Хотя никогда прежде этого не делал... Я смотрю на отца сегодняшними глазами, смотрю на себя спящего. Засаленный диван под старым одеялом, смятая цветастая подушка, взлохмаченная голова, кастрюли, большие, малые, посуды, чистая и нечистая, потолок в паутине, штаны, рубашка, скомканные носки, черные, отстукивающие над головой часы... Вот сейчас, сейчас это все останется здесь, а отец пойдет в магазин, выйдет, не добудившись, а они, эти черные, отстучат свое... И в половине третьего станут. Так что не сможет ни один механик — ни починить, ни пустить дальше...

Он вышел.

Дядя Митя подмигивает мне левым глазом. Я принимаю инструмент. Вот я играю. Вот дядя Митя пляшет...

Я разговариваю с матерью. Кухня. Стол. Стулья. Старые отстукивающие часы. Двадцать пять третьего. Мать. Руки. Деревянная толкушка. Кастрюля. Картошка пюре. Он любит картошку пюре... Отец возвращается из магазина и входит в дом.

— Ты будешь картошку пюре?

Он не отвечает. Он проходит мимо меня. Он проходит за моей спиной. Я все это вижу сегодняшними глазами. Он проходит. Проходит в свою комнату. Он снимает на ходу черный форменный китель.

— Алеша! — Это его голос.

— Ты будешь картошку пюре? — Это голос мамы.

— Алеша... Алешка!

— Ты будешь картошку пюре?

— Алеша...

Что-то падает в его комнате. Я поворачиваюсь, чтобы идти и смотреть. Поворачиваюсь, но еще договариваю, дорассказываю что-то маме, мама смеется... Мама остается в кухне. Часы. Деревянная толкушка. Касгрюля... Картошка...

— Ты что там? Машинку уронил? — Это мой голос.

Вот я играю. Вот все вокруг пляшут.

Он лежит... Я не помню, как он лежал: головой то ли к железной черной печке, то ли к швейной машинке... Я пытался это вспомнить сразу, тем же вечером. И не вспомнил. Не буду врать, как он лежал.

Я не вспомнил.

Я беру его за плечи. Я пытаюсь перевернуть его могучее горячее тело на спину.

Я переворачиваю его на спину. Я хочу дать ему воздуха. Я рву ему рубашку...

Я вытягиваю его в зал. Я смотрю ему в меняющееся лицо. Это не он...

— Да спроси ты у него! Он будет картошку пюре?!

— Я, конечно, не берусь ничего утверждать! Но я как врач... я бы посоветовал вам тогда с места его не трогать...

— Вы, врач, советуете не делать того, что я уже сделал?

Лицо поднимается, поднимается на меня и вбок, вбок, куда-то вбок... Боже! Какая, ка-ка-я большая го-ло-ва-а... Мама!!! Ма-ма...

— Ты спросил у него? Он будет картошку пюре?

Но это же не он! Этот, это... что-то... Громадное, сине-черное, вспучивается, лезет на меня...

У меня дергается сердце: вбок, вбок — и вниз... Вбок, вбок — и вниз. Вбок, вбок — и вниз...

Колька откладывает осторожно инструмент. Колька дает и мне свои таблетки...

Я кладу отца на пол. Ровно. Под голову коврик. Мягко надо. Теперь надо в белом. Врача. Быстрее...

Я бегу через дорогу. Через рельсы. Мимо черного паровоза. Думаю. Нет. Надо соврать. Так быстрее. Надо сказать, что он умирает... Так врач быстрее побежит. Так мы вместе быстрее побегим... Ступни обжигаются о рельсы, ступни режутся о гальку... Я потерял ночные тапочки.

Добрый Колька снимает и отдает мне свои. И я вновь пляшу, мы все вместе пляшем, только Колька кривится — его ногам больно плясать на острых бутылочных осколках... Но и

он, и он пляшет. Это главное. Я рад. Я так рад за него.

Она в белом халате, внимательно смотрит на отца. Она не подходит к нему. Она смотрит. А в руках у нее аппарат для измерения внутривенного давления.

— Сделайте ему хоть что-нибудь!

Митя подмигивает мне, лицо его пьяно расползается. И падает на незастегнутую ширинку. Рука его в синих наколках ползет, ползет, ползет... Я не успеваю. Руки остервенело стаскивают потную фуражку.

Отец лежит потому, что упал? А упал потому, что ударился о печку? А ударился потому, что покачнулся? А покачнулся потому, что стал терять сознание? А сознание потерял потому, что заболел? Он придет в себя? Он придет в себя?!

— Сделайте ему укол... Сделайте Кольке укол!

— Не трогайте! Вы убьете его! Он пьет таблетки...

Она смотрит на отца. Откладывает, как ненужный, инструмент. Аппарат для внутривенного давления.

— Сделайте ему укол!

— Что ж ты стоишь?! Измерь ему хоть давление! — грубо говорит мама, выпрямившись как неживая.

По всему дому занавешены зеркала и окна. По всей улице молчат при моем появлении

люди. По всей станции объявлено: не стучать молотками. По всему городу прекращено движение. По всей Юго-Восточной железной дороге остановились паровозы, чтобы иметь возможность весь пар пустить сегодня в мазутные охрипшие глотки.

Отец не будет сегодня есть картофельное пюре.

Она, в белом халате, смотрит на нас. На лице у нее удивление. Вот-вот улыбнется — и я ее ударю. Как только улыбнется. Или как только откроет рот.

— Вы зачем меня позвали? Он же мертв.

— Не трогайте! Вы убьете его. Он пьет таблетки...

Вот Митя играет. Вот я выхожу. Вот мы все выходим. Труба у Мити черная, грязная. Где он ее держит в паузах между покойниками?

Все приходят. Стоят. Крестятся. Снимают фуражки. Все стоят. Все уходят.

Мы остаемся. Старые остановившиеся часы. Половина третьего. А сколько на самом деле? Я на стуле. Он на полу. Мать у стола. Руки. Деревянная толкушка. Руки. Деревянная толкушка... Кастрюля. Картошка.

— Лег. Хлопнулся. Кто же будет есть твое пюре? — Это голос мамы.

Я смотрю на нее, смотрю на нее, смотрю на нее... Она мнет и мнет картошку, мнет и мнет картошку... Ни слезинки... Руки. Деревянная толкушка. Руки. Деревянная толкушка.

— Вань? Ваня? Кому она теперь пужна?! Я тебе ее... Я тебе ее... — ласково зовст она и вдруг кричит страшно.

Я не успеваю. Она падает. Ударяясь головой о кастрюлю. Жидкое пюре размазывается по полу. Расплескивается. Каплями. Мелкими-мелкими... Белыми-белыми...

— Господи? Ты станешь есть нашу картошку?

Вечером собираются те, кого он ждал раньше. Вернее, отец приглашал и ждал тогда, когда они смогут прийти. И вот они смогли прийти. А он просто не смог дожждаться. Он просто не знал, что они смогут все вокруг него собраться только тогда, когда его не будет.

Вечером мы наталкиваемся на сумку, с которой он вернулся из магазина. В ней хлеб и водка. Что делать с этим хлебом? А с этой водкой — что делать?..

Мы открываем. Разливаем. Пьем. Из его бутылки. Его водку. За него.

А за него — это как, когда его уже нет?..

Совсем нету! Никогда! И нигде! И ни в какой форме! Я это точно знаю... Я это видел...

Меня успокаивают. Мне говорят, что еще неизвестно... Потом мне скручивают руки... Меня уносят.

Ночью я открываю глаза. Бронзово-желтый сумрак. Лампада. Свечи. Спертый воздух. Шелестят страницы. Женский тихий голос. Оттуда. Монашка. Тетя Сима. Наша соседка. Милая женщина...

Она умрет через полтора месяца.

Утро. День. Опять утро. Похороны назначены на шестнадцать. То есть на четыре. Я смогу на часы. Половина третьего. Я все время

ошибаюсь и смотрю на часы, на которые уже смотреть бессмысленно.

Мне нужно сделать еще много дел. Мне нужно все сделать. Ни у кого нет сил. У меня есть силы. Надо получить справку, что он умер. Надо получить еще другую справку, чтобы он умер... Нет. Не так. Чтобы можно было вырыть могилу, которая уже вырыта... Нет. Справка эта называется, все говорят так: «чтобы разрешили место». Кладбище старое. И место там получить непросто. Некоторые заранее стараются. Что поделаешь? Без места не похоронишь. Значит, и умирать нельзя, пока не разрешили место. Или когда нет детей.

У него есть дети. Поэтому он и умер не задумываясь.

Надо еще предупредить музыкантов. Я послал за Митей. Митю ищут по всему городу. На похоронах и на свадьбах. Только там можно Митю найти. Но Митя старый друг. Митя не подведет.

В больнице справку не дают. Необходимо вскрытие. Мы не знали. Мы его сразу помыли. Мы его сразу одели в новый костюм. Что делать? Резать, говорят спокойно мне все. Хорошо, говорю я тоже спокойно, а в чем мы его будем хоронить?.. Молодой врач. Наверное, мой ровесник, он говорит:

— Ему все равно, в чем.

Появляется знакомая докторша. И не дает мне... его ударить. Она быстро говорит:

— Пойдем-ка. Я все устрою.

Она все устраивает. И я получаю справку. И еду за другой справкой — в пригород. В бюро инвентаризации. В бюро инвентаризации места на строгом учете. Поэтому мне категорически отказывают. Я объясняю, что все уже

вырыто. И ровно в семнадцать ноль-ноль мы опустим его и закопаем.

— Вы что, придете ночью разрывать? — спрашиваю я у молодой женщины. Женщина смотрит на меня долго и тоже спрашивает:

— А вы кто, сын?

— Да. Я сын.

— Ладно, — говорит женщина, — только не волнуйтесь. Хотя и не положено... Но, как сыну, я вам выделю место.

Я выхожу на улицу с двумя справками. Время — четырнадцать двадцать пять. Я подхожу к перекрестку. Здесь дежурит гаишник. Я объясняю. Гаишник останавливает машину. Но сам шоферу ничего не объясняет. Я сажусь. Я боюсь говорить. Вдруг шоферу не в ту сторону?

Но все же говорю. Шофер везет. Хотя ему действительно не в ту сторону... Мы подъезжаем. Я говорю ему:

— Приходи вечером. Выпьешь. У меня умер отец.

Он обещает. Я знаю, что он не придет. Но спасибо ему и за то, что он обещает.

Музыкантов еще нет. Пока музыкантов нет, я иду на станцию. Он здесь работал. Начальник сказал, что памятник ему здесь сделают, и хороший. И еще выделил пятьдесят рублей. И еще — обещал гудки. И развел руками, виновато улыбаясь: больше ничем не могу помочь.

— Хороший мужик был Иван Петрович, — говорит тихо начальник. — Я у него, кажется, помощником начинал...

У него многие были в помощниках. Только сейчас вот ему помочь уже никто не сможет...

Я беру с собой две бутылки. Тетя Надя говорит: много. Но я беру. Сварщикам. Им тоже

надо выпить. И они говорят, что вроде бы его помнят.

Сварщики обещают сварить в срок. И еще обещают сами принести. Мы пьем в беседе. Мимо идут люди. Начальники сварщиков. Они начинают кричать. Один из сварщиков, тот, который постарше и с татуировкой на рыжей груди, посылает их на... И тут же объясняет, что умер Иван Петрович. И показывает на меня.

Начальники сварщиков и сами сварщики, и я — мы все вместе выпиваем по двадцать граммов. Начальники сварщиков пожимают мне руку, хлопают по плечам, заглядывают в глаза. А когда и я гляжу им в глаза, отворачиваются... И я ухожу.

Пришли музыканты. Я разговариваю с Митей. Я объясняю, что надо ехать не напрямую. Мы живем недалеко от кладбища. Значит, надо ехать вокруг, через весь город. Он здесь жил, объясняю я. Он должен... Мы должны его везде здесь провезти. Ты понимаешь?

— Это будет стоить дороже, — говорит Митя.

— Сколько? — спрашиваю я. Хотя ни о какой цене мы накануне не говорили.

— Не сто. Как обычно. А сто пятьдесят.

Я выворачиваю карманы: двадцать пять, шестьдесят, девяносто, сто десять... Я знаю, что у матери уже нет денег.

— Пойми, — говорит Митя. — Я работаю не один... Я бы и на сто согласен... Ты ж меня отлично знаешь...

Я смотрю на него. Он смотрит на меня. И подмигивает.

Митя играет. Мы все пляшем. Яблоневый цвет устилает и устилает грубый деревянный

стол. На столе гроб. Белые лепестки на черной креповой рюшке, наспех пришпиленной к красным краям...

— Сто двадцать...

— Сто сорок. И ни рубля меньше.

Я играю. Митя пляшет... Острые каблуки глубоко вонзаются в земную мякоть. Ему неудобно плясать. Митя забирается на табурет. Чтобы перелезть на твердый удобный стол.

Я говорю:

— Не надо! Не трожь!

Он подмигивает:

— Сто пятьдесят? И ни грамма больше!

Я прошу. Тихо:

— Слезь. Я налью!

Все хлопают в ладоши. Смеются до слез. И кричат:

— Пляши! Пляши, Митя! Потом вместе выпьем!

— Сто тридцать. Я займу у теток.

— Сто тридцать пять. Леха, пойми! Меньше теперь с тебя никто не возьмет...

Я подхожу к тете Наде. Все собрались вокруг стола. У всех полные рюмки. На тете Наде темное платье. Темное платье ей к лицу. Она это знает. И когда Митя ей подмигивает с табурета, она тоже подмигивает и поднимает чуть рюмку: предлагает выпить втроем.

Мы выпиваем втроем. Я. Дядя Митя. И тетя Надя.

Тетя Надя ставит рюмку:

— Ты чего, Лешк?

— Займите мне сорок рублей.

— А сколько просит?

— Сто пятьдесят.

— Это много, — говорит тетя Надя. — Это даже у нас, по Москве, много... Что ж они так

дерут, гады? Разве ж с покойников так дерут?

— Я не знаю, — говорю я, — как дерут у вас с покойников... Вы займете?

— Лешка! — говорит тетя Надя. И кладет руку себе на сердце. — Честное слово! У меня только на дорогу... Я с таким расчетом и брала: туда — и обратно...

— Вы дадите? — спрашиваю я и стараюсь держать Митю в поле зрения: не упустить бы... Митя качается на табурете с гармошкой. Поднимет ногу. Поставит... Опустит. Поднимет. Поставит. И вновь опустит...

Лицо у него виноватое:

— Мне-то чего... Но ребята — ждут... Ты там как-нибудь поторапливайся...

Вот Митя играет. Вот я пляшу... Яблоневого цвет под ногами мнется. Мнется. Втаптывается в землю. Втаптывается в грязь. И становится сам грязью.

Я отхожу от тети Нади. И начинаю снимать рубашку.

— Ты это брось! — говорит Митя затравленным голосом. — Брось! Кто теперь берет подержанные вещи?

— Оденься, — говорит тетя Надя. И берет за вторую полную рюмку. — Аня, скажи, чтоб он оделся... Что он как блатной ходит... Ты мать ему или не мать?

— У меня, сыночек, ничего нету больше, — говорит мне мама. — Может, короткой дорогой? Позору меньше? Сыночек?..

— У меня хватит. Ты уйди, мама. Я сам расплачусь со всеми...

— Ты только не бей их, — просит мама и плачет. И сует мне в карман пятерку. — Не бей... А то они уйдут... И отец останется без музыки...

В полузатоптанных кустах за столом музыканты допивают третью бутылку. Осталось семнадцать, считаю я про себя. Митя устал играть. Тетя Надя берет из его рук инструмент.

— Без музыки мы, конечно, не останемся... — говорит Митя. И смотрит на тетю Надю. — Ну, как она вообще? Дает?

Я молчу. Я прикидываю. А выдержат ли доски, тонкие сосновые доски — под острыми Митиными каблуками?

— Ну?

Дальше тянуть нельзя. Кто не платит, тот музыку не заказывает. Все играют. Все пляшут. Яблони, сотрясаясь, стряхивают под ноги последние малозаметные лепестки.

— Дает, — говорю я Мите и тоже смотрю широко раскрытыми глазами на тетю Надю. Она и вправду дает, но может...

— Я понял. Заметано, — говорит Митя. — Давай тогда, сколько сейчас есть... А к согласию если сразу не придем, я доплачу... Из своего кармана... Она того стоит... А ты потом отдашь, понял?

— Понял, — говорю я. — Играй!.. Надо играть... Чего бы это нам ни стоило... Играй, дядя Митя, играй громче... Чтоб все слышали, как ты его хоронишь...

— Чего ты? — говорит Митя. — Я еще тебе, дураку, навстречу пошел...

— Ты давай, — говорю я, — иди пока навстречу кладбищу... А я потом расплачусь... Я потом... Я все потом...

Вот Митя играет. Вот я выхожу. Вот мы все выходим. Дядя Митя делает отмашку.

И начинает дуть в нечистую, старую трубу. Черная у тебя, Митя, труба. Черная: кто-то станет в нее дудеть на твоих похоронах?..

Выносят. Очень широкий. И очень длинный. В узких дверях шестеро мужиков, обняв гроб, багровея напрягшимися шеями, вытаскивают его красное деревянное тулово как-то неуклюже и боком. Все сразу начинают кричать. Митя делает отмашку. Ударяет медь. Рыкают трубы. Гроб опускают в пыль на дорогу... Но, нет, успевают подставить два обшарпанных табурета. На одном из них Митя и стоял... Митя делает отмашку. Затихает. Слышно, как шелестит на ссутулившейся матери черное, старое, ссутулившееся платье...

Гаснет, тонет, мутнеет; жуткий, пронзительный, тонкий и хрипящий вой накрывает, прихлопывает все: пустую улицу, онемевшую толпу с красным продолговатым ящиком посередине.

Сначала черный паровоз напротив. Потом второй, у депо. Третий, с густым голосом, — этот уже не видно. Дальше... Дальше... Паровозы кричат, как медленно убиваемые звери — долго, страшно... И все смолкает. Только вскрикивает затравленно опоздавший тонкий свисток вдали.

Все.

...Я становлюсь рядом. Митя делает отмашку. Земля ползет из-под ног. Я падаю на колени. И земля струится вниз, гулко постукивая по крышке, и глухо — по глиняному желтому дну, утягивая и меня за собой... Я падаю, падаю...

Далеко-далеко, ближе, близко, вой — все

повторяется. Я сколько-то, тело расслабляется, кто-то выламывает мне локти, мать, лица, небо, лица, мать, мокрое темное сморщившееся яблоко, глаза задушены сырыми морщинами, слепые руки, все...

Мы стоим у неровной, бугром насыпанной, пестро-пегой земли, колючие острые лапы бьют по щекам, тыкаются в глаза, венки, венки, все наваливают, наваливают, наваливают...

Митя делает отмашку.

Я нахожу в затоптанных кустах истерзанную гармошку.

— Чем поят, чем?

— Спирт.

— Спирт — хорошо... А покойный-то сам, как? Выпивал?

— Не пролей капля...

Тетя Надя. В платье ей лучше.

— Сыграем?

— Да ты чего? Очертенел?

— Помяните, помяните, помяните... Помяните раба божьего Ивана...

— Васька! Бога побойся... Прежде чем спирт хлестать, сожри кутьи хоть ложку...

— Ну? Что? Все деньги просадил? — весело глядит на меня тетя Надя. — И решил мной расплатиться? А что? Ничего... Пятьдесят пять — а все живчик... Только вот... Как, Леша, ты думаешь? Он там... В гробу... Не перевернется?

Я бью ее гармошкой. Красное на белом. Расширившиеся зрачки. Молчание. Все падает...

— Помяните, помяните, помяните... Помяните раба божьего Ивана... Сыночка, Христос с тобой, ты зачем кутью перековырнул?..

Я приезжаю в город. У меня сто пятьдесят. Шестьдесят взяла мать у соседей. Пятьдесят собрали родственники. Сорок я перехватываю у Саньки. Все-таки хоть и бывшая, но жена.

Не думал, никогда не думал, что за этими веселыми плакатами и афишами — кладбище. В середине его скромный домик: бюро похоронных услуг. Оказывают услуги умершему населению. Значит, и мне окажут. Мне надо заказать недорогой памятник. С портретом. Из мраморной крошки.

Дело слаживается в полчаса. Такса, на удивление, небольшая: семьдесят рублей. Портрет с собой? С собой. Плиты есть готовые. Выбирайте. И приходите завтра.

Надо куда-то идти. Но не домой же... Я вду в общепитие. Дело слаживается в полчаса. Сидим. Ходим. Говорим. Чьи-то незнакомые лица. Чьи-то холодные интересующиеся глаза... Кто-то целуется. Горько-то как. Горько...

Кто-то врубает маг. Все пляшут. Я сижу. Надо попросить, чтобы заткнулись... Ладно... Говорят, не делай мировой проблемы из личного. Говорят, ребятам тоже нужен повод, чтобы расслабиться... Просыпаюсь в половине одиннадцатого. В голове тонкая, прокалывающая боль. В небе хмарь. В карманах семьдесят три рубля двадцать шесть копеек.

Аквариум. Родная до боли точка. Здесь тоже оказывают услуги. Всему умершему населению. Три — меньше не возьмет... С пенкой, бронзового устоя, как лампадное масло. Льет-ся с гулом. Впитывается, как в арык, пересохший еще в прошлом тысячелетии.

В бюро. Портрет готов. Как ни повернись, смотрит прямо в глаза. Не по себе, не по себе как-то...

Плачу. Оказывается, еще и дорога... Иду в общагу. Сшибаю. Не хватает еще пяти. Ладно. На месте. Грузим в спецавтобус: дверь сзади, колесики, очень удобно. Грузим вшестером. Вкатываем как по маслу...

Едем.

Автобус спотыкается. Я влепляюсь головой в поручни. Что-то там в двигателе легит к чертовой матери...

Приехали. Выгружаем. Прямо на дорогу. Автобус на буксире уходит обратно. Я один. Сыро. Сумерки.

Выхожу на дорогу. Голосую.

— Сколько? — спрашивает.

— Чирик, — говорю я.

— Чего? Смеешься?

— А сколько?

— Четвертной — и не меньше...

— Катись отсюда!

Катится...

.
— Сколько?

Я молчу.

— Сколько даешь, спрашиваю?!

— Четвертной...

— Тридцатник.

— Едем!!! — кричу я и бегу к памятнику.

Грузим. Вдвоем. Офигенная тяжесть. Лопнут жилы, кровь рвется из черепа. Плита падает. Ничего. Вроде ничего... Едва заметно, так, чуть-чуть — тонкая совсем под портретом трещинка.

Приехали.

— Мать! Давай скорее! Еще двадцать нужно...

Жалкие, затравленные, улыбающиеся гла-

за... Боже, боже праведный? Ну как я такое делаю?!

— Не хватило?

— Нет...

— Сейчас-сейчас, сыночка... Сейчас... Я только прикинусь чем-нибудь. Я к соседям сбегая... Я живо сбегая...

Тонко и плавно. И пополам. Прямо под портретом.

— Сыночка! Я не хотела... Не хотела! — плачет, плачет, целует руки. — Только не бей меня... Не бей... Не бей...

Господи! Господи! Что же это мы с тобой творим?! Что мы делаем?!

Из документов, составленных или найденных впоследствии:

Документы не обнаружены.

VIII

...Мы успели. В гости к богу не бывает опозданий... Так что ж там ангелы поют такими злыми головами?..

Владимир Высоцкий, XX век

... Тюрьма — она тоже большая. Да кто ей рад?

Неизвестный автор, IX—XIX вв.

Он переступил порог. Серая сухая дверь, охваченная крепкими железам, пошла за ним сама и упала внутрь, на въехавший давным-давно в сени косяк. И стало темно. После уличного золотого воздуха, пронизанного белым солнцем, он никак не мог тут чего-то разобрать. Квохтали

недовольные куры. В темноте свежо и резко пахло сегодняшним пометом. Кто-то возился у самых ног, посапывая.

Он перешагнул вслепую, едва не ступив в загремевшую посуду. Дверь в избу приоткрылась: из-под ноги прыснули две или три старушки, взмахивая черными платками и юбками.

Сложившись пополам, он прошел в избу.

Здесь было немногим светлее. В маленьком, крестом, оконце распластались темные, сильные растения, давно одолевшие пределы крохотных баночек и горшков. Растения были уже явно дикими. Высади их в огород — они задавили бы насмерть любой сорняк... Но здесь, в избе, растения эти по привычке считались домашними. Их берегли от холодов, подвязывали старыми чулками, подпирали лучиной и регулярно обкладывали спитой трижды заваркой.

Комнатка была небольшой, чистой. Лет пятьдесят подряд обновляемой одним средством: старыми газетами. Клеили каждый раз, видимо, только там, где грязнилось. Поэтому и оказывалось, что из-под семьдесят шестого года выглядывал сразу тридцать шестой или даже тридцатый... Михаил Иванович прищипливал и прищипливал к пиджакам медали. Молодые мужчины, стриженные под бокс, молодые женщины в пиджаках и пестрых платочках кому-то улыбались. А мимо их виноватых улыбок неслись уже железные военные машины; гражданские пиджаки, одинаковые и на женщинах и на мужчинах, тут же и надолго исчезали под однообразными френчами; меж них внезапно являлся белозубый чумазый красавец с отбойным молотком на плече, но он являлся, вероятно, по ошибке, из другого совсем времени, а на самом деле находился там, где ему и положено было теперь находиться, то есть на передовой... Но так уж, верно, клеилось: без разбору, какая газета под руку попадет... Снимки разных лет, наслаиваясь, соединялись. И получилось, что не разобраться здесь ни одному историку: Михаил Иванович поздрав-

лял уже с высокой наградой не знатных свинарок, но первого космонавта. Космонавт же номер два смеялся из группы фронтовиков на какой-то площади поверженного Берлина, а моложавых ударников первых пятилеток шумно и радостно провожали для чего-то на далекий БАМ...

Он отвлекся, догадавшись, что здесь надо смотреть не на стены, а на главное, из-за чего, собственно, пришел.

Анисочка лежала меж гигантских стен-газет, короткая и твердая. Касаясь изнутри очень высоких бортов неживыми складками нового, почти пустого платья. Ее было слишком мало для такого количества вздымающейся ткани. Твердые маленькие ступни, ноги, крепко и умело связанные шерстяною ниткой, кончались задолго до того, как кончался этот ящик, вырезанный и сшитый, вероятно, совсем под другое тело. Из вороха тяжелой материи только и выпрастывались мелкие руки, зябко уцепившиеся за горящую свечу. Крупный желтый лоб прижимался к гробу черной лентой, пересекавшей выпуклую кость золотыми, непонятными ему знаками.

Лицо было хорошее, чистое. Разве что чуть-чуть поджалось левое веко, да кожа на левом виске будто бы сведена была быстрым испугом и ожиданием так и не последовавшего удара...

Она была такая маленькая, такая потерянная, так бесформенно выпирал из-под белого каляного ситца не снятый почему-то гипс, что у Алексея стало вдруг больно внутри сердца. Он забормотал, забормотал, стараясь отыскать вокруг что-нибудь для глаз.

Внезапно, но сразу чисто и высоко запели старухи.

И, опрокидывая вновь старух, он выскочил в сени и сразу же дальше, во двор.

Ему хотелось сделать что-то такое, чтобы разом прекратить все: и пронизывающее пение, и эту режущую грудную боль, и это холодное, ненужное лежание в ящике, напоминающем лодку, которую вот-вот спихнут, вышвырнут в бушующий, безъязыкий океан без дна и берегов, без названия и памяти...

Он вернулся домой и стал ходить без толку по промозглым просторным сенцам. Зубы не попадали один на другой. Он полез в чулан. В чулане, в паутине и перьях, ему попался топор. Алексей достал его. И долго-долго смотрел на тускло мерцающее синеватое лезвие...

Узкое лезвие мягко, как в масло, входило в нежное тело тополя. Но древесины в нем было непочатый край. И пока Алексей один раз опоясал ствол, по крайней мере, трое из проходящих поинтересовались, для какой такой нужды Лексей Иваныч валит совсем хорошее дерево. Он не отвечал. Мужики присаживались поодаль, закуривали и высказывали предположения.

Он работал все злее. Ожесточеннее. Под ноготь большого пальца залезла крупная щепка — но топор он не отбросил. Он догадывался, что, остановившись, не выдержит, зашвырнет его в реку, а пуще того, разрыдается, как маленький мальчик.

Предположений было сделано немало. Пока наконец один из мужиков не подвел черту.

— Да все ясно! Очищают, знамо дело, территорию! — и сплюнул окурок в жухлую траву. И раздавил. — Так чего ж в одиночку-то? Чего ж мы, нелюди какие? Давай-ка подсобим...

И потянулся за топором. Алексей как взмахнул, так и всадил топор в дерево. И, повернувшись, ударил мужика в ухо.

— Нелюди! Верно! Вы и есть нелюди!

Размахнулся и ударил его в другое ухо.

— Вот тебе! Вот! Зачем тебе голова? Зачем тебе руки? Отрубить все! Ты и без них хорош!..

И бил его. Пока мужики не бросились врассыпную.

Дерево упало точно, соединив два берега Чертуньи. Впрочем, теперь ему было все равно, как оно упало. Мост он теперь делать не собирался, как бы опомнившись и подумав: а зачем он, этот мост? Анисочка померла, а вся

деревня на сундуках сидит, пожилые мужики и те вон из рук тонор рвут, впору и себе головы на радостях поотхватывают. До того их нетерпение гложет что-нибудь в себе и в других сокрушить.

Охотные мужики пошли... Охотные до всякого сокрушения...

Его другое чувство теперь, другое желание ело.

Он прошелся вдоль берега. И положил подряд две высокие раскидистые березки. Просто так. Да, просто так. Без какой-либо ясной цели.

Временами он взглядывал, осклабясь, вверх, на ряд живых домов. Там были, кажется, люди. Но ни один из них не вышел, не крикнул чего-нибудь ему...

А ему так нужно было это, чтобы крикнули...

— Очищаем, стало быть, территорию?!

Он постоял, покачиваясь, в порушенной, сияющей последней крупной листвою кроне, бессмысленно разглядывая замазанные руки, которые теперь трудно было отмыть, потому что грязь смешалась с древесным соком... Постоял. И двинул к плотине.

Плотина была старая. Он сам ее чинил, сразу, как прискал. И поэтому знал, где и какой камень. Поэтому не суетился. Перекуривал. Но никто не шел.

...Когда он уж заканчивал, а вода, еще ничего не зная, не зная, течь ей или не течь в обнаружившийся проем, начала только пробовать себя первыми струйками, за спиной что-то зазвенело. Он резко оглянулся, закрывая сразу голову руками. На дороге, прижав к себе велосипед, стоял парень лет двадцати пяти.

— Ты чё... Ты чё делаешь? — спросил он, улыбаясь кривым тонкогубым ртом.

— Да вот, — улыбнулся Алексей в ответ так же глупо. — Разрушаю... Уничтожаю...

— А-аа! — вздохнул облегченно парень и положил свой велосипед осторожно на обочину. — Так чё? Помочь?

— Помоги... — взглянул он на него как-то странно. — Помоги... Коль не шутишь...

Вдвоем они быстро разбросали крупные камни... Вода, попробовав себя и почувствовав свою силу, со стоном рванула вниз, расшибая глиняные глыбы и отбрасывая каменную мелочь.

— Ух, здорово! — поразился парень, оглядывая образовавшийся шипучий водопад и следя за тем, как стремительно снижается уровень воды. — А чё? распоряжение, наконец, вышло?

— Пока нет! — крикнул он, преодолевая шум. — Это мы с тобой опережая время! Понял?!

— Ага! — радостно засмеялся парень. — Крепко мы ее с тобой разворотили! И за неделю не восстановишь!.. Они отошли в сторону. Закурили.

— Тебя как зовут?

— Витя... Витек.

Он постоял. Подумал, раскуривая основательно «беломорину».

— Ну вот что... Вот что, Витек, — и остро взглянул ему в глаза. — Ты меня не знаешь, я тебя не знаю... Понял? Ты здесь не был — понял? Плотину не трогал — понял? Ехал другой дорогой — понял?

Парень смотрел на него остановившимися зрачками.

— Не понял...

— А чего ж тут понимать? — засмеялся он. — Мы с тобой как-никак...

И захохотал.

— Рви, Витек, когти... Как говорят в тех местах, где бы я тебе быть не посоветовал. Теперь понял?

— Понял...

— Все... Держи корягу...

Парень не подал руки. Рванулся с места не оглядываясь. Алексей помедлил мгновение. И бросился его догонять.

— Если что! Я! Я! Я во всем виноват! — кричал он

ему в пригнувшиеся к рулю плачущие глаза. — Я — во всем! Я — во всем! Я! Ты понял?!

Он бежал рядом, спотыкаясь, и кричал, и держался за руль, пока наконец парень не кивнул в ответ мокрым лицом. Алексей хлопнул его по спине и, выворачиваясь из-под колеса, ударился ногой об известняк. Рухнул со всего маху в пыльную дорогу.

И затих. Не шевелясь. Прикрыв голову грязными руками.

Из документов, составленных или найденных впоследствии.

«...28.IX. Принято: 3 (три) ствола (с хлыстами) от 5-ти до 11-ти метров общим объемом древесины 4,2 м³, в хорошем состоянии. Поступило: с Яшкинского отделения. Направлено: замена 1 опоры электропередачи в Покровском-Астахове; ремонт перекрытий мол. фермы № 2 центрального отделения. Зав. столяр. мастерскими. Подпись неразборчива».

(Из накладной.)

«Дорогой Паша! Спешу тебя обрадовать известием: наш общий знакомый пусть тебя больше не волнует. Мы его пристроили в хорошее место. И он стал там, как могила, молчалив... Твой тезка. 1.X.1949 г.».

(Из письма.)

«Тов. Кремневу. Уточните по Прохожеву. По 30-м и 40-м до сих пор нет определенности! Хицко».

«Геннадий Васильевич! Вы, надеюсь, все, что касается Яшкина и Тришкиного Куста, оформили правильно? Помните: меня в любом случае с вами не было. Будьте умником. И не забывайте, что вы видели у меня... П. С.».

(Из письма.)

«Увы, с памятником, Валерий Иванович, пока неясно. Утверждают, что снесен по плану с

тем, чтобы поставить новый на центральной усадьбе... Лямин».

(Из записки.)

IX

Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Морская фигура? На месте... За-мри...

Неизвестный автор, XX век

Снявши голову, по волосам не плачут...

Неизвестный автор, IX—XIX вв.

Я ходил по комнате, не зная куда деть замерзшие руки. Меня донимала дрожь. Я чувствовал: оставаться здесь, с ним, с каждой минутой становится все глупее и глупее... Я физически ощущал нелепость собственного положения. Я представлял, видел, вот сейчас-сейчас войдут шумно, ширкая хромом узких сапог, в сером, в низко надвинутых жестких фуражках. Не поймут, не захотят понять. Холодно отодвинут в сторону, зачеркивая меня и все, чем жил, что сумел, годами стараясь чего-то там добиться... И я падаю, падаю внутрь себя, опрокидывая окружающее пространство, обжитое мною...

Эх, ты, сволочь... Ему — что? Он сделал свое дело. Теперь уже поздно. Теперь он уже вне... всего... Вне закона. Вне всякого понимания. А я? А я остаюсь все еще рядом, и никто, конечно, и разговаривать не станет... Дурак! Мразь! Мразь и дерьмо, не способное никогда поступать по-своему...

Но и уйти я не мог. Сбросить с себя путы, те самые, вериги, привязывавшие меня постоянно к нему, я почему-то пока не мог.

В дверь постучали. Алексей пошел, не раздумывая, открывать. А я замер, как пойманный, посреди комнаты. Ожидая чего угодно: ареста, обыска, расстрела на месте...

Но на пороге почему-то стоял Огольцов. Гигантский, не по росту, земляной кулак сжимался и разжимался. Глаза его вперились в меня. Морщины стали, как гофрированная трубка противогАЗа. Челюсть выползала вперед и вбок:

— И этот... У тебя? Здесь?!

Они прошли мимо меня в комнату. Огольцов нарочно говорил вполголоса — но я опять, на свою беду, все слышал. Огольцов говорил о каком-то памятнике. Но о каком? — стал я соображать лихорадочно. — О том, что, по слухам, Прохожев сбил по пьянке своей машиной, а потом спихнул его в овраг? Или о том, какой Огольцов с Тарлыковым из оврага вытянули и оставили на краю, для всеобщего обозрения? (То есть это, конечно, был один и тот же памятник, но ведь и не совсем один, не совсем тот же? Первый, какой по пьянке, — он в овраге, и все шито-крыто; второй — это уже демонстрация, это уже, получается, и вся пьянка наружу вылезла?) А может, это про третий памятник — про тот, что объявили, будто он в Покровском стоит, но на самом деле его нет?

Страшно заинтригованный, я не мог не последовать вслед, когда они, опять не замечая меня, бежали вон из дома.

* * *

Лукьян едва одолел ее: черная, четырехугольная, с прогнившим насквозь днищем, лодка с усилием сошла в темную влагу, заплескавшуюся из глубины зелеными язычками. Теперь надо было перенести себя. Лукьян долго примеривался, удерживая ветхий борт ледяною рукою, обреченно, боком повалился на трухлявое дерево, полежал на носу и по-стариковски неуклюже пере-

полз на коленках к середине. Мелко перебирая веслами, проплывал до глубины. Перевалил камень в воду. Камень ушел сразу, прорвав реку почти бесшумным ударом. Три тугих круга разошлись по поверхности, и стихло.

С лесок, касавшихся реки, изредка падали капли. Но скоро и лески провисли, и он, привыкнув к неустойчивости воды, колыхавшейся слегка под ним, различал уже острыми стариновскими глазами зеленую прозрачную пустоту, пронзенную белой жилой лески, длинные податливые растения, темные тени, стелющиеся по далекому песчаному дну, светлый, маленький отсюда, камень — на неправдоподобно толстой веревке.

Лукьян обнаруживал эту пустоту много раз. Но никак не мог привыкнуть к ней: всегда, когда глаз, жадно вглядываясь, доставал, наконец, дна, и дно это оказывалось неожиданно, пугающе неблизким, ему, Лукьяну, чудилось, что он находится на какой-то огромной, трепещущей высоте, удерживаемый одной лишь конопляной веревкой: вот-вот, сейчас раскачает, старая веревка беззвучно лопнет там или выскочит слишком легкий, неудачно опущенный камешек, и — он не сможет удержаться, взмахнув нелепо руками, не успев и вскрикнуть, полетит с гулом далеко вниз.

* * *

Я крался за ними довольно долго по кустам, пока мы не выбрались прямо к оврагу. Здесь Тарлыков заметил меня и засмеялся:

— Интересно все-таки, — стукачи, апостолы и летописцы — неужели они все из одной породы?

Я не обиделся. Я уже привык к его хамству. Тем более что и обижаться было теперь ни к чему. Алексей свет Иванович совместно со своим подельником (или оруженосцем, это как хотите) Огольцовым починали новую историческую битву. Первым делом хулиган Огольцов ки-

нулся, конечно, на представителя власти Прохожева. Однако Алексею удалось перехватить руку Огольцова, так — чуть повыше запястья. Гаечный ключ со звоном упал на памятник. Павел Сергеевич отпрянул. Тарлыков помотал взлохмаченной головой. Усмехнулся:

— Провоцируем? Не надо... Не надо нарываться! А то синяками не отделаешься...

Они стояли друг против друга. С одной стороны Тарлыков, Огольцов и подоспевший к самой кульминации механизатор Байков. С другой — Геннадий Васильевич, Павел Сергеевич, профжених и Косовский. Бульдозерист, вызванный Зарывалиным к месту события, не выдержав, обматерил в конце концов обе стороны и скрылся в неизвестном направлении вместе со своим бульдозером.

Я стоял чуть в стороне, не зная пока, к какой стороне пристать. И, полагая, что разумнее не приставать до времени ни к одной из них.

Посередине как раз лежал памятник.

— Вы хотите скандала? — Павел Сергеевич нервно, торопясь расстегивал портфель, доставал какие-то бумаги и передавал их профжениху. — Хорошо. Будет вам скандал...

— Ты! Полегче! — Огольцов выворачивался из рук Тарлыкова. — Мы скандала хотим? Ты хотишь скандала! Ты! Сволота! Гадина! Горилла!

— Записывайте, Игорь Николаевич, все записывайте... — через плечо, хладнокровно говорил Прохожев. И продолжал, оборачиваясь уже к Тарлыкову. — Я обращаюсь к вам, как к трезвому человеку. С этим алкашом я отказываюсь разговаривать.

Я зааплодировал Прохожеву мысленно. Это слово «алкаш» действовало на Огольцова безотказно.

И Огольцов, конечно, дернулся, из рук Алексея. Пиджак треснул на Огольцове. Без рукава и ворота Савелий повис в падении на Павле Сергеевиче, как и планировалось им. Затрещала рубаша и у Прохожева.

— Ну, вот и все, — сказал Прохожев облегченно. И ловким движением стряхнул с себя Огольцова. — Ты свое отработал.

Байков и Алексей оттащили вдвоем отбивающегося Савелия в сторону. Байков прижал его коленом к траве, выворачивая руку и прихватывая поясным ремнем.

Я отошел в сторону. И сел в кусты. Кажется, пахло жареным...

— Подойди сюда, — обратился Прохожев к Алексею, уже без церемоний. Алексей подошел. Прохожев кивнул на папку в руках профжениха, оправляя разорванную рубаху. — Акт мы составили. Алексей Иванович... Оскорбления... Сопротивление... Посягательство на представителей власти... Телесные повреждения... Тебе понятно? Тебе все теперь понятно?

И широко, дружелюбно улыбнулся Тарлыкову.

— Теперь все понятно, — угрюмо глядел на Прохожева Тарлыков. — Костя... Костя! Брось-ка мне трос! Быстрее! Садись в бульдозер!

Мотор заревел. Бульдозер вертанулся на месте. Тарлыков, покинув Павла Сергеевича, принялся заводить трос под лежащий памятник.

Прохожев постоял мгновение и, отойдя к Зарывалину, стал говорить ему что-то горячо и долго. Тем временем памятник, прикрепленный к тросу, под напором бульдозера начал медленно отрываться от земли...

— Да вы не поняли! Ничего не поняли! — закричал раздраженный Прохожев. — Сегодня они в дураках! А завтра? А завтра — вы! Вы понимаете, понимаете?

— Ничего не слышу, — держался за уши Зарывалин. — Ничего не понимаю...

— Если им удастся к утру его поставить... — повернулся к его уху Павел Сергеевич. — Если приведут его в божеский вид...

— Я понял! — Зарывалин согласно кивнул. — Я все понял! Значит, откроем его здесь... Так?

— Да вы с ума сошли... — прошептал Павел Сергеевич. — Он у вас со всех балансов списан... Нет его! Нету! Откуда ему взяться? И к тому же все сразу припомнят: а почему он здесь, а почему нового до сих пор в Покровском нет, а почему неделю назад по областному радио объявили про открытие нового? Теперь вы понимаете?.. А эти... Эти не останятся! Им — суд! Суд грозит. Они этим памятником, как щитом, прикроются! Ясно?

— Ясно... — опустил голову Зарывалин.

— Тогда в чем дело? — заулыбался нетерпеливо Прохожев. — Сейчас они на крючке! А завтра? А завтра, если мы его не свалим — пошла писать губерния... Вы же себя, себя этим выводите под удар! Я — что? Вы разве не помните? Я случайный человек здесь... Ехал мимо, взялся помочь, меня же и избили... А за все, что было — только вы и ответите... Вам что, это тоже надо растолковывать?

Прохожев пристально поглядывал на Геннадия Васильевича, посверкивая светлыми зрачками.

— Вот что... Вы председатель? Вам и карты в руки! Прикажите своему трактористу. Немедленно!

Зарывалин растерянно потряс руками с наползающими на ладони обшлагами. Поглядел на бульдозер. Потом на Павла Сергеевича.

— Да побыстрее же... Черт бы тебя побрал!

Зарывалин с силой постучал в стекло кабины. Двигатель сбросил обороты. Памятник, стоящий почти вертикально, поддерживаемый Тарлыковым и Огольцовым, вновь завис на тросе. Алексей бежал уже к бульдозеру.

Но он не успевал. Костя, картаво матерясь, прыгнул наземь. Бросил в сердцах рукавицы и пошел к лесу. На его место проворно взлетел легкий, азартный Прохожев и захлопнул дверь. Мотор заревел. Машина подалась назад. Огольцов едва выскочил из-под летящего на землю памятника.

Бульдозер остановился. Прохожев делал какие-то знаки из кабины. Быстрее всех догадался Игорь Николаевич. Он сунул папку Косовскому и одним громадным прыжком — к бульдозеру. Сбросить трос с крюка — секундное дело... Бульдозер покрутился на месте, привыкая к новому седоку, и, опустив щит, двинулся на памятник.

Леска вздрогнула. Раз и другой. Но он слишком хорошо знал эту темную реку. Прожив над ней свыше ста лет, Лукьян запомнил ее и щедрой, блещущей в солнечный день гибкими рыбьими спинами, и черной, хлюпающей, щербатой, будто непристойно-грязной, когда в войну однажды унесло плотину. Запомнил и такой, какой была она в последние годы: старой, как он, спокойной, без неожиданностей, по причине полного бесплодия.

Собственно, он и не рассчитывал на какой-либо улов. Так, маленько побаловать себя и соседей, выделив из остальных дней торжественный день поминовения Ани-сьи. Чтоб запомнилось хотя б этим, а оно того стоило.

К удивлению Лукьяна, ему часа за полтора все же попались три полупрозрачных, худощавых пескарика. Вытащенные из глубины, они не трепетали, не боролись, а качались прямо, смирно, будто заранее повешенные, и точно согласившиеся сразу, что раз уж так получилось, значит, так и должно было получиться...

Все замерли на месте. Бульдозер, подрагивая гусеницами, двигал и двигал вперед. На памятник. На Огольцова, который выставил свою огромную лапу и шевелил пальцами. Как раненный смертельно рак шевелит клешней... Или напугать он кого хотел?

Огольцов корчил рожи, обнажая длинные зубы, шевелил, шевелил пальцами и — отступал, отступал... Под ноги ему попался трос, Савелий рванулся из петли и грохнулся оземь, подламывая раскоряченную руку.

Все ахнули. Бульдозер чуть тормознул. И, пользуясь мгновением, пошел вперед. Щит с грохотом ударился в металлическую основу. Памятник развернуло, снимая дерн, вырывая в земле глубокую борозду. На мгновение он завис над оврагом... И покатило со стуком вниз...

И тут произошло что-то невероятное. Прохожев то ли замешкался, то ли перепутал рычаги. Поднявшийся Огольцов кинулся на щит, щит чуть приподнялся и упал наземь... Даже грохот бульдозера не смог заглушить страшный вскрик. Преодолев оцепенение, мы бросились вперед, к бульдозеру, к Огольцову...

Он поднимался с коленей. Поднимался, вздымая вверх, вверх окровавленную руку... Поднимался и шел на щит, будто бы вглядываясь обезумевшим почернелым лицом в кабину... Бульдозер для чего-то медленно, рывками сдавал назад.

Прохожев вывалился из бульдозера, сбрасывая с себя пиджак, галстук, сорочку. Никто не мог ничего понять. А Павел Сергеевич уже рвал свою сорочку на куски. А Савелий шел на него, обливаясь кровью, заливая кровью лицо, разодранный пиджак, седые клочковатые волосы...

— Савелий... Севка... Севка! — Прохожев стоял в желтой майке, бледный, худенький, как мальчик, держа в ладонях порванную на бинты рубашку. — Постой! Прости! Севка! Прости! Дай мне руку! Дай! Дай я тебя пере...

И уронил руки. Огольцов, подойдя вплотную, вглядывался и вглядывался своими одичалыми глазами в глаза Павла Сергеевича. Павел Сергеевич не выдерживал, опустил взгляд...

— У-ух, т-ы-ы?.. Ка-кой?.. — говорил словно бы в бреду Савелий, не давая Прохожеву отвести глаза. — Как-ой ты ст-аал? Паша, Па-ша... Дружба?.. Кор-ре-ша? Ты?! Па-ша?.. Падла-а ты! Пас-ск-ууда-а! Стука-ач!..

И заорал нечленораздельно, поводя изуродованной рукой, кругами, по лицу Павла Сергеевича. Павел Сергеевич стоял смирно, закрыв глаза... Пока все лицо его не

покрылось красным... Пока Огольцов не размахнулся и не ударил с резким выдохом.

Прохожев скрючился и упал. Упал бы, видимо, и Савелий, не подхвати его Зарывалин.

Подбежал шофер Прохожева. Наклонился к Павлу Сергеевичу... Зарывалин дернул его нервно за плечо:

— Быстро! Огольцова! В район! В больницу!

Косовский и Игорь Николаевич уже перевязывали Савелия быстро прохожевской рубашкой. И, подхватив его легкое тело, побежали к машине.

— Стоп! Сто-ять! — бросился к ним Тарлыков и взял за рукав шофера. — Друг! Слушай! Не в Астахово! Я тебя прошу! Только не в Астахово!

— Почему? — удивился шофер.

— Так надо! Друг! Как тебя зовут?

— Василий...

— Василий! Васек! Друг! Я тебя прошу! В соседний район, в Покрячино! Только туда... Ты понял? Я тебе потом объясню... Ты понял?

— Понял... — ничего не понял Василий. — Хорошо... Я все сделаю... Я туда — и обратно... Я мигом...

Савелия увезли. Косовский полил из оставленной шофером фляжки на руки Прохожеву. Павел Сергеевич умылся. Вытерся полотенцем Василия. Надел его же на всякий случай припасенный старенький свитер. И свой пиджак. И причесался... Эх! Вот если бы он в ту секунду знал — про деревья-то и плотину...

Подошел к Тарлыкову. Хмуро взглянул на него.

— Конечно, я не надеюсь... Я не надеюсь, что все это... Останется между нами... Но я со своей стороны могу обещать...

Тарлыков усмехнулся одними глазами.

— Я все понял, Алексей Иванович, — серьезно сказал Прохожев. — Я взрослый человек... У каждого есть черта, на этой черте чаще и живем... Разве не так?

— Я не знаю, — устало сказал Тарлыков. — Где черта? И по какой черте мы ходим? Это я точно знаю...

Только — что это вам? Завтра вы наденете свежую рубашку, зубы почистите, и... какая мне разница, что вы приметесь делать завтра?.. Да, наверное, то же, что и вчера...

И взглянул на Прохожева почти враждебно.

Прохожев засмеялся.

— Клясться несерьезно... Я не буду клясться... Поверьте на слово... Вы мне верите?

— Я никому не верю...

— Ну а мне? — взглянул пристально на него Прохожев. — Мне... Можно вам верить?..

— Да идите вы...

Прохожев вновь засмеялся, глядя на него исподлобья, положив руку на грудь.

— Честное слово... Вы мне глубоко симпатичны... Черт возьми! Мы могли бы ведь и стать друзьями?.. Да-а-а. Не пришлось. Ну, ладно... Молчу-молчу...

Забрав папку у Косовского, Павел Сергеевич двинулся к дороге. Присоединились к нему и остальные. Они уходили. Уходили... А я не знал, как быть мне...

— Что ж ты-то стоишь? — повернулся Тарлыков. — Иди... Догоняй скорее... А то поздно будет... Не примут... Я остановился как вкопанный.

— Не пойдешь?

— Нет.

— Подумал?

— Что ты на меня давишь?.. Что я тебе? Что?

Но Тарлыков, потеряв интерес к разговору, звал уже Байкова.

— Костя! Быстро! Быстрее!

Костя стоял в недоумении.

— Я вв-вас нне-нее пп-п-пой-му-уу! То д-давай вп-перед! Тт-о-оо давай наз-з-а-ад! Оо-му, оо-му-уу он нужен?

— Никому не нужен... Быстрее! Костя!

— Нн-ее б-б-б-уду я...

— Ты что? — обозлел Тарлыков, продырявливая его глазами. — А ну быстрее! Не понимаешь? Прохожев не из тех, кто грудь добровольно подставляет...

Мы накинули трос. Бульдозер рванул. Трос напрягся... Все было безрезультатно...

— Ня-ну? — вылез недовольный Костя.

— Без ну! Не запряг еще... — хмуро взглянул на него Алексей. — Ждите меня здесь... Я людей позову...

— Я с тобой! — вызвался я. Я не мог оставаться. Мне надо было двигаться: иначе... иначе с ума сойти можно.

Мы пошли в Яшкино. Костя скинул сапоги, рубаху и лег покурить в кустах.

Из документов, составленных или найденных впоследствии:

«...В присутствии представителей общественности гр. Огольцов С. К., при молчаливом одобрении гр. Тарлыкова А. И., подверг неоднократным оскорблениям ряд руководителей хозяйства. Сразу после чего нанес телесное повреждение тов. Прохожеву П. С., оказавшемуся случайно на месте происшествия. При задержании гр. Огольцов С. К. оказал сопротивление работникам милиции».

(Из акта.)

«Тезка! Не тяни ты козла за хвост. Надо уделать этого дурачка с Яшкина — намекни, когда, и уделаем. Насчет шороха замечано. Шорох готовится мировой. Дай знак, в какой день. Да побыстрей, а то руки больно чешутся. П.».

(Из записки.)

«...За срочную добросовестную работу по увековечиванию памяти погибших односельчан объявить благодарность: механику Огарышеву Н. А.; слесарю Дарикову В. Д.; механизатору Яшкину Л. С. ...»

(Из приказа.)

Бойтесь первого движения души, потому что оно обыкновенно самое благоприятное...

*Князь Шарль-Морис
Талейран-Перигор, XIX в.*

Он заметил в сумерках, как у бортов, то там, то здесь, стали завиваться, расширяясь и чмокая, темные, потом уже и перистые, журчащие воронки. Не услышал Лукьян и как зашумело у поворота, у изгиба речки, где берега сходились довольно близко.

Минуты через две вода с ровным ревом неслась далеко впереди, вытягивая пока что глубинные потоки и отсюда, из-под лодки. Лодка заволновалась. Тяжелое ее тело вдруг заходило легко туда и сюда, напрягая, будто пробуя только, трогая ветхую веревку, но он не почувствовал этого.

Лукьян дремал. И снилась ему большая стоячая вода без берегов. Посреди воды утлая лодчонка. А в лодчонке он, Лукьян. Солнце низко, светит тихо, нежарко. Но так, что становится не по себе: не поднимается оно, не опускается. Не двигается. Солнце, стоит на месте. День стоит. И два стоит. Потому что ночи совсем нету. Изредка к лодке подходят крупные голубоглазые рыбы. Они с опаской тянутся мохнатыми мордами, тычутся в корявые борта, заглядывают внутрь и долго, не спуская бессмысленных глаз, следят за Лукьяном...

И вот рыбы наконец догадываются о чем-то и, словно улыбаясь, начинают бесшумно разевать рты и отламывать от лодки куски никому не нужной гнилой древесины...

Лодка дернулась. Он упал на спину, ударившись больно локтем о борт. Но леску не выпустил: там, на конце ее, трепетало, вертелось что-то сильное, дремучее. Его волокло вниз по течению, вместе с лодкой бросая из стороны в сторону, по пенистым, брызжащим струям, в которые превратилась река.

Очнулся он и, кажется, начал соображать у самой мели. Мель — только она могла спасти, приостановить лодку... Но про это Лукьян не подумал. Он подумал, что сейчас, через минуту, врежется в полуобнажившийся песок, а леска лопнет, а его улов уйдет прямо из рук... И лишь перед поворотом, когда открылась широкая бурлящая пойма реки и неровный, напрягшийся горб потока, проносящегося легко сквозь остатки плотины, лишь тогда он сообразил, что ждет впереди. И тут же его грубо рвануло из лодки. Бросило вперед... Он упал. Расплатался на деревянном дне хрипящей, расползающейся посудыны.

...Вода схлынула примерно через полчаса. Лукьян приходил медленно в себя, чувствуя, что под ним, под всем телом — твердь... Лодки как бы никогда и не было. Отдельно лежало дно. Узкое, хищное, похожее на рыбу дно. А вокруг, кусками, — то, что осталось от бортов. И веревка, одним концом привязанная к обломку доски, бывшей скамейки. Другим — уходящая с подсыхающего песка назад. Вниз. В глубину. Лукьян перевернулся молча на спину. Взглянул вверх... Опустил на глаза большие истончившиеся веки. И зашептал, задвигал трясущейся бородой, уставленной в самую середину вечернего неба.

Внизу, под ломкими льдинками, негромко журчал ручеек. Раздвинув траву и осоку, Алексей припал к ручью, попил, аккуратно касаясь воды губами, и несколько раз окунул в поток свои лохмы. Меня била дрожь. Меня тошнило... Но пить я не смог. Отфыркиваясь, он выбрался на тропу, и мы побежали дальше.

В первом доме нам не открыли. Да здесь и жили-то старые люди. Поэтому Алексей, стукнув пару раз в раму, тут же двинулся бегом к следующему дому.

Он не давал передохнуть, а я был как привязанный. Отказали нам и в третьем, и в четвертом доме, и в деся-

том... В одном доме Алексей намекнул, что-де, ежели памятник к утру не встанет, то и Огольцова Савелия-то, возможно, того...

Но нарек не был понят. Намек, больше того, напугал хозяев до смерти. Они потребовали объяснений. Объяснять же... Да что тут объяснишь? Разве возможно было объяснить, в какие игры умел играть и играл Прохожев?

Я до сих пор, кстати, не пойму, каким чутьем вышел Алексей на браконьерство и памятник? Но что Прохожев в тот еще вечер поставил окончательный крест на Тарлыкове, я понял сразу. Понял, что теперь уже ему беды не миновать. Но — как? И с какой скоростью это могло случиться?

Я отслеживаю сейчас события, двигаясь как бы назад, и все более убеждаюсь: то ли Павел Сергеевич действительно располагал какими-то рычагами и средствами, то ли он просто гениальный человек? Ведь все-все по его вышло! Буквально, как он сказал. Алешка барахтался в болоте своего бескорыстия, дергался туда и сюда, прямо как Прохожев напроорочил.

И никто Алешке не шевельнулся навстречу. Все как будто замерли, сговорились и дружно опрокидывали то, что пытался он воздвигнуть; все истолковывалось наоборот, его добро превращалось в зло, а его зло как бы удешевлялось полнейшим оцепенением и немотою тех, кого Алексей пытался расшевелить, растормошить, вывести из колеи на дорогу...

Так что объяснять все, что и как, было и сложно, и долго. А у Тарлыкова не имелось лишнего времени. Словом, и памятник поднимать, и Савелия спасать — никто из сельских не вызвался.

А это, памятник и участь Савелия, в самом деле, с какого-то мгновения было повязано одной крепкой веревочкой. Я даже думаю сейчас, что Алексея более всего это и обескураживало: что ему, как и Павлу Сергеевичу, уже и не памятник сам оказывался важным, а все, что вокруг него за эти часы накрутилось; и уже особо рещающими

должны были представляться и самые последние мелочи: напишут или не напишут, например, в Савелиевом больничном листе про алкогольное опьянение... Напишут — и все, хана памятнику-то. Не напишут — будет он стоять еще сто лет. Получалось, что и он, Алексей, зависит как бы сейчас от множества пустяков, получалось, что и он, прикрывая Савелия, как бы и себя прикрывает... Не думаю, однако, что он себя мог в эти минуты жалеть: слишком многое на нем висело, чтобы еще и себя жалеть. Но мысль, что так о нем думают, что так только могут подумать, будто он себя спасает, — одна эта мысль приводила его, кажется, в бешенство... И это про него-то, про человека, который намеревался всегда жить и поступать поверх обстоятельств, как он мне объяснял когда-то, объясняя свою картину.

Но как бы там ни мыслилось, а он был жестоко, крепко повязан игрою. Сколь ни курьезно, бессмысленно это казалось, но участь Савелия и Павла Сергеевича, окончательное понимание того, кто же из них, у памятника, был прав, определяло лишь малое: окажутся или не окажутся знакомые у Павла Сергеевича в соседнем районе. Либо Савелий — отъявленный дебошир и хулиган, а Павел Сергеевич — мужественный человек, до конца выполнивший свой долг. Либо уже Павел Сергеевич — дебошир, а Савелий — невинно пострадавший за справедливость инвалид войны.

Нет, не маловажным, а скорее даже важнейшим козырем (правда, при удачном сочетании) был, разумеется, и сам памятник: останется он лежать в овраге, или подыметя на виду у всего района.

Всех хитросплетений, подсчетов вариантов Алексей никак не мог избежать, ежели, конечно, он не желал Савелию дурного. А поскольку он, безусловно, ничего подобного не желал, — то и не сумел бы ни в коем случае из игры-то выскочить и надменно стать рядом: дескать, судите, вот он я, весь к вашим услугам... Как он неоднократно проделывал, когда касалось участи его самого.

И оставался Алексею единственный выход: оказаться еще более умелым, еще более расторопным, нежели Павел Сергеевич. — Что, понятно, никак в тарлыковские принципы-то не влезало...

Впрочем, как оказалось, имелся еще один путь: решить все единым махом, таким поступком, который и затмил бы предыдущие... Чтоб заткнуть глотки всем и навсегда.

Не знаю, думал ли он о такой возможности. Сейчас мне порою кажется, что и думал, хотя, конечно, то, что сделал он впоследствии, этим одним никак в любом случае не объяснишь. А если даже объяснишь, то только в случае, если кому-то захочется объяснить именно так.

Вот, скажем, не заори Антон Лукев на Алексея, не вытолкай он его взащей из избы, от сдвинутого гроба Анисочки, то еще и неизвестно, как бы все у нас повернулось и случилось.

А произошло у Борековых вдруг и необъяснимо. Я до сей поры не могу взять в толк, зачем Алексей, собственно, туда приперся? Вероятнее всего, чувствовал он за собой некую вину, перед ней, перед умершей, она-то, вина, и толкала его, и возвращала, проводя круг за кругом, опять и опять к этой маленькой женщине.

И ведь ни к чему, вовсе ни к чему было заводить разговор, зачем да как... Но вот зашли все же, вот сели безмолвно на топчане, вот Тарлыков спрашивает Антона, когда будут хоронить.

— С утра, — отвечает Антон как о решенном.

В этом месте Тарлыков, кажется, и оживился. Он заговорил возбужденно, не поинтересовавшись даже, как сами-то, Антон и Ананий, считают... Заговорил, стал бессвязно убеждать их, что только на Тришкинском хоронить и надо... Что только там, и ни в каком другом месте... И пояснил: и близко проведывать, и... кладбище удастся спасти и оставить надолго. Последнее захоронение, повторял горячечно он, по последнему захоронению. И тут Антон едва приметно усмехнулся. Алексей не

углядел, а я углядел: Антон усмехнулся и тут же, очень быстро согласился.

— На Тришкинском, так на Тришкинском, — спокойно сказал он. — Только вот... справку никто не выдаст... Ну, да без справки... Ну, да ладно... И нам оно будет с руки... Удобнее, значит, будет... Схороним... В-о-от... Да начнем сами собираться...

Последние его слова и опрокинули что-то там, в душе Тарлыкова. Он насторожился, подозрительно, как-то болезненно прищуривая воспаленные глаза.

— Как? Собираться?.. Куда?

— В поселок... В Астахово — куда ж еще? Мы там и дом уже приглядели, — оживился, в свою очередь, Антон. — И цена, значит, подходящая. А что не новый? Так вид есть... А на наш век...

— А... Анисочку? — нелепо раскрыв рот, спросил Тарлыков. — Анисочку? Куда денете?..

— Так куда же ее? — засмеялся над его глупостью Антон. — В землю закопаем... Что же ее? За собой ташшить?.. Ты вот и сам говоришь: тут кладите... Мол, и тебе удобнее будет... Вот и закопаем по-твоему... Закопаем, как ты хотишь...

Что-то в лице Тарлыкова переместилось. Он дышал уже часто, слышно... Встал молча. Никак на Антоновы слова не отвечая. И медленно пошел к гробу. И ухватился за край. И спросил глухо, оттуда:

— Закопаете?..

— Обязательно, — засмеялся вновь Антон. — Поверх земли не положим...

— Значит... Не нужна ты им там... — тихо сказал он, склонив голову к гробу. — Живая не нужна была... И мертвая... не понадобилась...

Антон поднялся, прошелся по избе, шурша подшитыми валенками, поглядывая на нас с веселым недоумением.

— Я тебе, Алексей Иванович, — сказал он, продолжая глядеть не на него, а на нас. — Я тебе что-то не пойму...

А ты-то чего хочешь? Ты сказал: здесь... И я говорю: здесь... А теперь — вопрос? Ты где теперь хочешь?..

Но Тарлыков Антону не ответил. Как стоял, так и остался стоять. А когда сказал, то стало вдруг так тихо, и мороз у нас по коже пошел. От того, что он сказал.

— Лежишь, Анисья Лукьяновна? — спросил он у нее, не поднимая головы, тихо, как у живой. — Лежишь ты здесь — как обосс... ..Так-то, Анисья Лукьяновна... Кинут тебя завтра под бульдозер... отряхнут руки... и поедут жить-поживать. И цена, значит, подходящая...

Антон стоял бледный, как бы не соображая еще.

— Подходящая, Алексей Иванович, домик-то небольшой, знаешь. На два хозяина... А нам-то? Нам-то? Много что ль...

— Вставай, Анисья Лукьяновна, — сказал окончательно и твердо, и вроде бы даже разумно Алексей. И пошел скоро к изголовью. — Нечего тебе тут лежать...

Я вздрогнул и почувствовал, как больно, в плечо, в мое плечо, вцепляется Антон. И бросился к Тарлыкову... А он поднимал уже ее. Черная лента сползла на лицо, на прикрытые глаза, на подбородок. Платок сбился...

Аграфена Дементьевна заголосила нечеловеческим голосом, мотая неопределенно в воздухе руками... Гроб двинулся по столу. Мы с Ананием едва поймали его на самом краю. Алексей остановился, ни туда ни сюда, обнимая Анисью со спины, но и не двигаясь дальше. Лицо его было бледно, но как бы даже спокойно.

— Не смейте... Не подходите..., — прошептал он, не отпуская. — Иначе... Возьму... Иначе... Вы меня знаете...

Мы остались каждый на своем месте. Это была какая-то дикая картина. Я и Ананий впились в края гроба. Аграфена сползла по топчану на пол, прикрыла глаза передником. Антон замер, нелепо воздев черные руки, против удерживаемой Тарлыковым Анисочки. Была ка-

кая-то секунда, когда я начал с точностью понимать, что поехал я, поехал потихоньку... С ума поехал.

— У тебя... Кто есть там? — невнятно, давясь, спросил он. Глаза его не открылись.

— Да... — быстро догадался Антон. И руки не опустил. — Мать... Деда с бабкой... Братья... Все там, царствие небесное.. Все...

— А... Бульдозером? По — матери? По... глазам?..

Антон молчал, держа руки на весу.

— Говори ему! Отвечай! — зашептал я оглушительно.

— Не надо... — попросил Антон дребезжащим голосом. — Нельзя...

— Почему нельзя? Жалко? Ну? Чуть-чуть?.. — говорил он, как от боли морщась. — Какой там жалко... О чем это я... А ты веришь? Верующий?

— Ага... Верующий...

— Врешь... — сказал он жестко, напрягшись жилистой темной шеей. — Врешь! Ты в сапоги веришь! Нет у тебя ничего... Нет у нас ничего... Верующий?! Да?! Ну так бульдозером — по вашему царствию небесному!.. Бульдозером! По вашим! Матерям! Прямо по глазам надо! Прямо им по глазам! Все равно они... За нас... За всех... Отплачутся...

И тут сорвался, голос его упал до сипа:

— Не-че-го уж в нас, Антон, бульдозером... Все в нас... давно сопрело...

— Не подходите... к нам... — прошептал Тарлыков. И заплакал... Заплакал, как дитя, безобразно кривя щетинистое синее лицо, заслоняя рукою ослепленные слезами глаза... Что-то невыносимо безысходное было в нем, во всем; будто вот приподнял он ее, к себе прижал, как маму, как маленький, крепко-крепко. А она молчит...

А куда идти? Что делать? Нет, не знает, куда идти и что делать... Некуда идти... Не-ку-да.

Он положил ее осторожно обратно. Поправил покрывало. Разогнул свою почерневшую шею... И не убрал го-

лову, когда Антон его молча ударил. Алексей отшатнулся. И засмеялся охрипше, негромко:

— Правильно ты все делаешь, Антон, правильно... Не прощай, Антон...

Антон нагнал и ударил открыто, не остерегаясь, что ответят... Алексей упал.

И тогда я подумал: хватит. И бросился на Антона.

Добрались мы до оврага, когда все, собственно, было кончено. Костя вытирал концами ладони. Памятник, черный, огромный, высился в сумерках ровнехонько, будто сроду стоял именно здесь. А Костя, теряя буквы и целые слова, возбужденно рассказывал. Оказывается, ему удалось-таки вытянуть его в одиночку из оврага. Только что и начал он его поднимать, а тут как раз и машина. Павел Сергеевич даже похвалил его, Костю, за добросовестный, самоотверженный труд, и тут же, втроем, с проф-женихом и шофером, навалились... И в полчаса поставили...

Оказалось, что и Савелий Лукич себя чувствует хорошо. Павел Сергеевич уже к нему в Покрячино, в больницу наведалься... Повреждены всего-то два пальца, сказал будто бы весело Павел Сергеевич. Разговора больше было, заживет, а как заживет, как накажут Савелия Лукича, так и откроем здесь, у оврага наш-то памятникчик...

— Так и сказал? — прервал Костю до сей поры молчавший Алексей: он, как вышли мы от Борековых, не проронил буквально ни слова, двигался всю дорогу, опустив голову, скорее машинально, чем сознательно.

— А-аак...

Тарлыков ударил с силой в постамент: темное железо отозвалось в своей просторной пустоте, все выше и выше, тяжелым, угрожающим гулом.

— Уходите, — закричал Тарлыков, поворачиваясь к нам. — Все! Разыграли последнюю партию. Кончились игры... Кончились... Ну? Что? Дергайте отсюда!..

У меня уже не было никаких сил понимать его и принимать, и, тем более, бороться. Я повернулся и, не

прощаясь и не оглядываясь, двинулся почти бегом к дороге. Через минуту меня догнал Байков.

Мы добрались с Костей до развилки. Мне дальше было в Астахово. Ему — в Покровское. Не говоря ни слова, мы пожали друг другу руки... Далеко-далеко, у оврага, заработал движок, метнулся из стороны в сторону свет, невидимая отсюда неуклюжая машина, выбрасывая вперед узкую неяркую полосу, двинулась в сторону леса и кладбища...

Я взглянул на Костю. Костя махнул только рукой слабо, повернулся и пошел: что ж, видно, парень утомился от всего этого не меньше, чем я.

Из документов, составленных или найденных впоследствии:

«...Много чудесного отпущено на долю русского человека. Удачная зимняя кампания смешала, как помнится, воедино все языки и народы... Не удивительным было встретить где-либо в заснеженной степи полузамерзшего африканца или пришедшего в плачевное состояние китайца. Встречались и такие... Но поразил нас более всего рассказ наших солдат близ местечка Молвятина, что под Божацком... Подняли мы их было на смех, да и поверили невольно: старые люди те служивые, да и немало их было, пятеро или шестеро. Твердили же они в один голос, будто накануне, под вечер, долго кружила с треском над рекою бронзовая большая птица (либо, я думаю, некий небесный летающий снаряд, приуготовленный для свободного маневра). Птица будто опустилась невдалеке, у опушки леса, из нее вышли люди, около десяти... Как выглядели люди эти, солдаты сказать с твердостью не взялись... Что делали они в заснеженном поле, тоже не стало

известно. Только по прошествии получаса птица поднялась, и пропала в неизвестности... Можете верить мне, можете — нет, но все, сказанное мною здесь, могут подтвердить и мои товарищи, бывшие в ту пору вместе со мною в жарком деле под Молвятином...»

(Из воспоминаний Бориса Ивановича Астахова, художника, офицера, участника войны 1812 года.)

«Тов. Кремневу Б. Т. Борис Трифонович! Что с делом П. С.? В чем проблема? Понятно, что пожилой человек. Но решать надо жестко: невзирая на заслуги... Понятно? А то ведь я возьму и устану на сигналы отвечать... В понедельник до 11 часов жду ответа. Хицко».

(Из записки.)

XI

А по будням там дождь,
и по праздникам дождь...
Неизвестный автор,
IX—XX вв.

Едва только рассвело, в отпотевших окнах, в розово-золотистом предутреннем свете очертились гигантские фигуры темных елей, когда в раму, в нижнее звено, что-то стукнуло негромко, и Альберт, озябший от мелкого, трясливого осеннего мороза, так и замер, где застал его этот стук, посреди сеней, в плавках, с голыми плоскими ногами на ледяном полу, с литровой молочной кружкой в руках и ломтем хлеба... Слаб человек, Альберт тоже слаб: от всех своих дурных привычек к тридцати трем годам он благополучно избавился, завязал с курением и алкоголем полностью, приучился, даже и помимо службы, не появляться в селе без галстука, но с одним справиться не смог — вставать по ночам и есть, поесть сослепу все, что под руку попало.

Этот тайный порок настолько угнетал его, что в душе, неясно, ему представлялось, будто бы каждый, кто застигнет когда-нибудь его за этим, сможет указывать на него брезгливо пальцем всю жизнь. А может быть, даже в результате и с работы снимут?.. Кто знает?

Поэтому он и вздрогнул при стуке, метнулся в теплую комнату с кружкой и хлебом, долго, лихорадочно пристраивал их на кухне, соображая еще, как бы не разбудить и жену, и выскочил уже в сени в форменных брюках и сапогах. Приоткрыл сторожко дверь.

На ступеньках стоял кто-то. Кажется, Тарлыков.

В общем-то, ясно было, что Тарлыков, однако трудно оказалось его сразу разобрать: морда вся разбитая, рубашка порвана, пиджачок и брюки вываляны во всем, что только ни попадаете на деревенских дорогах.

— Чего тебе? — сухо спросил Альберт, поправляя плечико своей голубенькой майки. Нет, никогда не питал он симпатии к этому смутному человеку.

Тарлыков как бы улыбнулся: по бесформенным губам было бы трудно догадаться насчет улыбки, но зубы, зубы оскалились, обозначая, видимо, именно ее.

— Чисто отделали, да? Не признаешь?

Альберт нахмурился еще более определенно.

— У тебя дело?.. Или как?

— Или как... — усмехнулся Тарлыков ровным, как сковорода, лицом. — Озябнешь, Косовский... Пойди... Я подожду...

Альберт оделся, с раздражением отфыркиваясь, поглядывая в темную плоскость зеркала: худенькое лицо с белым чубчиком и длинными ресницами, ему и самому оно не внушало особого трепета... А что ж с них-то взять?

Тарлыков ждал за углом, присев расслабленно на дождевую бочку. И головы не поднял, когда он приблизился... Частая и бешеная дрожь пронеслась по Альбертовой розовой коже: зачем, спрашивается, тогда поднимал?!

— Тебе чего нужно? Ты чего пришел? А?

Тарлыков поднял голову, раскрыл отяжелевшие глаза, протянул нечистые руки, сложив их ковшиком...

— Вяжи...

— За что?! За памятник, что ли? — усмехнулся Косовский, окидывая критически его помятую одежду, и пошутил:

— Не надо... Не торопись... Туда всегда успеется... У тебя такой вид... Ты словно кого... того... Ухандокал... Умывался-то сегодня... перед зеркалом? Или так, рукавом утерся?

— Рукавом... — опустил голову он. И вскинулся. — Ты чего стоишь? Вяжи!! Крути руки! Ухандокал я! Ухандокал!..

— Ну... Ты это брось! — жестко сказал Косовский. — Брось... Наелся — иди проспись. Спать по ночам надо! А не шляться черте с кем... — И внезапно замолк, остановившись глазами, приглядываясь сбоку к протянутым рукам, к почти земляным обшлагам рубашки, покрытым какими-то непонятными пятнами: а... вдруг? А вдруг это... Что это он такое городит?!

— Ты чего городишь? Я тебя спрашиваю! Ты чего...

Тарлыков поднялся и, ссутулясь, пошел на него, выворачивая ладони.

— Да ты — что? Не видишь?! — зашептал он, горячечно вытаращивая глаза. — Не видишь, что ли? Да! Своими... руками! Тридцать два! Нету больше... Все! Амба! Ровное место!.. Понял?

За ночи, проведенные с друзьями, всегда платишь единообразной монетой: раздражением начальства.

Я не выспался, конечно. И когда переступил порог, Виктор Петрович сверлил меня с минуту взглядом, определяя, очевидно, по моему помятому лицу... э-ээ... так сказать, степень...

— Да не пил я! Не пил!.. — взял я сразу высокий тон, надеясь ошарашить его наглостью.

— А я ведь и не сказал, что так... — с сомнением покачнул большой седой головой Виктор Петрович. — Оговорка-с, Андрей Степанович... На оговорках мы все, знаете ли, и сгораем... Синим огнем, знаете ли... И беззвучным, бездымным образом... А теперь... а-аарш-ш! Ма-аарш в Покровское! Чтобы духа от тебя тут не было!

Ну, это была его обычная манера. Нашумел — значит, чисто... Теперь не вспомнит... Впрочем, мне было, конечно, и не до его манер в ту минуту. Потому хотя бы, что посланным я оказался в Покровское на открытие памятника. Вот так. Не больше. И не меньше...

Вполне понятно, что я опоздал. Иван Петрович Сычов уже сказал свое, полотно упало к подножию, обнажая красивый высокий обелиск, крытый свежей белой эмалью. В толпе похлопали. Ударил туш. Сычов сделал снова шаг вперед:

— Слово имеет...

— И ты тут?!

Я оглянулся. На меня странно как-то, вроде как даже насмешливо посматривал местный милиционер Косовский.

— Да, — сказал я холодно. — А почему — на «ты»? Я не понял...

— Про это в другом месте бы тебя спросить... — спокойно сказал Косовский. — Один уже... Спрашивает... То-ва-рищ-щи... Весь район на ноги подняли... Люди из-за вас тут всю ночь волчком ходили...

— Это почему же?

— Почему? — нахмурил он брови. — Да потому, что с памятником всю ночь... С ног сбились... Потому что Павел Сергеевич с Геннадь Василичем все телефоны с вечера оборвали... И в область! И в район! И в Маяковский! И куда только не звонили... А все обещают... Во всех местах... Да все без толку... Самим-то быстрее оказалось... Эх, товарищи... — взглянул он на меня уже укоризненно. — Вас-то, Андрей Степанович, куда, спрашивается,

несло? С ним хлебать — так ведь не расхлебаешь... Во-он какую кашу заварил...

Я ничего не понял. А Косовский отвлекся: подошли Зарывалин и Сычов. Дальше я уже плохо слышал, несмотря на то, что старался ухватить, в чем там дело.

— Где он у тебя? — спросил вполголоса Зарывалин.

— В клубе... Замок, сами знаете... Ненадежный...

— Да не нужно! — махнул раздраженно рукой Зарывалин, не прибавляя тона. — Не нужно, тебе говорят... Отпусти ты его, бога ради...

— Да вы что? — удивился Косовский, приподнимая светлые брови. — Да ведь он чего понатворил?.. Вы что? Мне же голову снимут?!

— Зачем снимать? — засмеялся Сычов. — Хорошая голова... Ты там... не крути... Ты отпусти его, в самом-то деле... Пусть катится на все четыре... Если надо... мы его всегда возьмем...

Косовский пожал плечами. Передохнул.

— Вы как хотите... — сказал он твердо. — А Прохожев мне строго-настрого...

— Ты с Прохожевым-то... не очень, — остро взглянул на него Зарывалин.

— Как это?

— Да так... Не очень... Он тебе чего, начальник?

— Не-ет...

— А коли нет... — резко проговорил Иван Петрович, — так ты слушай, что говорят! И все свои акты... Там... У памятника... Передай мне! Ясно?..

— Ясно, — глухо сказал Косовский и улыбнулся, покрываясь краской. — Ясно... Да только я без приказа не выпущу...

— Дурачок, что ли? — тихо засмеялся Зарывалин, поглядывая на Ивана Петровича. — Да пойми ты!.. Голова!.. Он со всех... такой груз снял... Все равно это... через год-другой...

Подходил Прохожев. Он только что выступил и был

в некотором волнении, почему и вытирал крепкий темный лоб белым хрустящим платочком.

— Верно-верно Геннадий Васильевич говорит... — приятно улыбнулся он Альберту. — Верно... Год-другой — это наверняка... А то как бы не больше... Вполне возможно, что и до пяти...

Косовский замялся. Опустил ладони в карман форменных брюк.

— Держите, — вытащил он помятый листок бумаги. Павел Сергеевич быстро взял его в свои руки. Прочитал.

— Это он — что? Сам?

— Сам.

— Любопытно... — усмехнулся Прохожев. — Впервые... Впервые, однако, встречаю, чтобы человек... сам себя!.. Да к такому!..

Зарывалин потянул из его рук листок.

— Поймите меня... совести... уничтожение... — медленно читал он, чуть ли не по слогам. — Я повинен... Сознаю вполне... предсказуемую смерть... последние минуты Анисы Лукьяновны... Деревья пусть погибли... Забытые могилы... поднимется рядом... проклятые... беспамятные... Сам себе подписал... Поймите... Прошу только... поймите... Прошу... приговорите меня... Прошу... приговорить меня... к высшей мере... Он — что? Совсем рехнулся?!

— Писал спокойно, — пожал плечами Косовский. — Бумагу сам попросил...

— Сейчас же, — жестко сказал Зарывалин, разрывая листок на части. — Сейчас же пойд и выпусти. И пусть идет ко всем чертям проспится. А завтра... Завтра разберемся по всей форме. Завтра я к нему сам приеду. Так и передай... Ты понял?

Прохожев поморщился, будто от резкой головной боли, потирая висок двумя пальцами...

— Что же вы всегда торопитесь-то... — и выхватил у Геннадия Васильевича разорванное. — Вас — что? Не били никогда? Вам зачем он? Вы не допускаете, что все это... — он потряс помятой бумагой, — самая прими-

тивная симуляция? Накуролесил... Наворочал, молодец... А ответ держать? Слабо?! Вы кого... Кого покрываете?! Альберт! Иди звони! Сейчас же! И чтобы выезжали! И брали его! Не-мед-ленно... Здесь же!

Но Сычов уже отвел Косовского в сторону и что-то подробно ему объяснял. Косовский же согласно кивал головой. Зарывалин долго-долго смотрел на Павла Сергеевича. Павел Сергеевич — на Зарывалина.

— Я не понимал вас, — негромко и спокойно промолвил Геннадий Васильевич. — Я и сейчас плохо понимаю... Но не трогайте... Не трогайте меня... Я прошу вас... Я не понимаю ваши игры... И не хочу! Ни понимать! Ни играть!..

— А если... он играет?

— Может быть...

— А если... он симулирует?

— Может быть!

Павел Сергеевич усмехнулся. Сложил аккуратно обрывки. Сунул в карман.

— Попка вы... И не больше... — сказал он ровно. — Куда вы лезете? Куда вы суετε свой нос?! Вам — что! ВэИ звонил?.. А если завтра ВэИ переведут? Что тогда вы здесь делать будете? Лапки — в гору? Я — не я, и кляча не моя?..

Павел Сергеевич отошел. Но и тут же вернулся вновь.

— Ну вот что... — похлопал он Зарывалина, улыбнувшись, по плечу. — Все пока остается в силе... И то, что в Тришкином Кусту... И то, что у оврага... И то, что здесь... В целом... От оврага вы... никак не уйдете... Тут все документально... А его... не надо тащить... Он слишком тяжел для вас... Он и вас-то утопит... Бойтесь, Геннадий Васильевич, — захохотал легко Прохожев. — Бойтесь первого чувства, как двенадцатого часа... Вы меня поняли?

И, наклонившись, спросил:

— Ты ВэИ рассказал... все? Про памятник?.. Я это имею в виду... Другое ты и сам не расскажешь.

Зарывалин качнул неуверенно головой.

— И правильно!.. Береги себя... Возраст не помеха. Но надрываться не надо... Доброго вам здоровья!

Митинг заканчивался, когда вдруг глухо ударил в пыль, будто для пробы, и пошел все сильнее и сильнее крупный холодный дождь. Двое ребят в галстуках, сразу промокнув, понесли быстро к подножию цветы, а в редеющей толпе в самых задних рядах я разглядел Алексея. Он, облепленный мокрой одеждой, пытался пройти вперед. Но трое или четверо парней удерживали, не пропускали.

А со стороны Астахова въезжала в эту минуту грузовая машина. Ее-то уж точно никто не разглядел. Даже я. Заметил я все, когда машина остановилась прямо среди толпы... Звонко хлопнула дверца. Шофер, отирая руки о зад, двинулся по пузырящимся лужам к Геннадию Васильевичу.

Я привычно окинул машину глазами. Зилок. Бортовой. Ничего особенного... А в кузове стояло... Но я не буду спешить, я подожду говорить, что там стояло.

Я придвинулся опять вплотную к Зарывалину.

— Э-эй, хозяин... — бережно потрогал шофер председателя за мокрый рукав. — Где сгружать? Здесь?

— Езжай к скотному. — Не оглядываясь, занятый разговором с Сычовым, Зарывалин нетерпеливо махнул рукой к берегу Чертуны. — Давай! Там и подпишешься.

— Да ты чего?.. — возмутился водила. — Ты чего? Ты погляди на груз... К скотному... Я тебе что, комбикорм привез?

Геннадий Васильевич медленно разворачивается просторным корпусом. И вслед за ним разворачиваются все. Ребята у памятника замирают под прямыми сильными струями, не зная, класть им цветы или пока погодить: на них ведь никто уже и не смотрит...

Все смотрят на машину... А в машине... В кузове... Стойма. Другой. Сияющий под дождем бронзовый памятник.

Зарывалин смотрит непонимающе на шофера, на Прохожева, на профжениха...

— Это откуда? — быстро, негромко спрашивает Прохожев у шофера.

— Из сельхозтехники... Вы ж вчера договаривались?.. Ну, так вот... За ночь... Пожалуйста, — и показывает на высокий обелиск, вздымающийся над кабиной.

А со стороны райцентра, сбрасывая обороты на неровной, залитой водой дороге, въезжала тем временем еще одна машина. «Колхида»... Она прошла на разворот, и все увидели, что в длинном низком прицепе серебрится в мелких брызгах что-то такое долгое и плоское...

— Это — что... Это — что? Я вас спрашиваю? — спросил шепотом Зарывалин у всех, не зная, на ком остановить глаза.

— Это — памятники, — охотно пояснил Игорь Николаевич, раскрывая зонт.

— Я понимаю... Я понимаю, что памятники... — свирепо двинулся на него Зарывалин. — А зачем... памятники? Вы что тут мне, кладбище решили устроить?

Но Горюев уже не расслышал последних слов. Павел Сергеевич толкнул его в бок, и он споро побежал по лужам к подъезжающей «Колхиде».

— Да не волнуйтесь вы... — засмеялся Павел Сергеевич. — Мы их сейчас отправим... Только-то и делов...

Однако отправить их не удалось. Оба шофера отказались наотрез. И понять их было, в общем-то, несложно: в воскресенье куда они денутся со своим грузом?

И профжених стал перед Зарывалиным, возбужденно подрагивая телом, вероятно, от того, что вновь, по-старому, оказался в центре событий, вынося окончательные и бесповоротные решения.

— Геннадий Васильевич! Докладываю! — сказал он, пронзительно глядя в глаза Зарывалину. — Оба памятника... Оба в целости и сохранности... Разгрузка произведена оперативно... Мы их сейчас? Все сразу открывать будем? Или как?

Зарывалин обмер, не зная, что бы такое сотворить с профженихом.

— А давай все! Давай сразу! Чего совещаться — строй-ка их там в одну шеренгу! И по одному! — крикнул кто-то из толпы. Из ближайших. И в толпе засмеялись.

— Есть предложение! — сказал Игорь Николаевич, поняв по-своему заминку. — Надо, по-моему, все разом открыть! Хлопот потом меньше будет... Как вы? Поддерживаете?

Зарывалин махнул неопределенно рукою и, понурившись, пошел, пошел боком в сторону, поливаемый ровным затыжным дождем...

К вечеру в Покровское было срочно доставлено и сгружено еще несколько разнообразных памятников. Два (гранитная крошка) из Астахова. Один (цельнометаллический, с тумбочкой) из совхоза имени Маяковского. И еще один (шестигранная семиметровая стела) — даже из областного центра. Этот-то, по общему мнению, и был самый красивый.

Из документов, составленных или найденных впоследствии:

«Саша тчк немедленно выезжай тчк Алексей тяжелом состоянии тчк Силуянов».

(Из телеграммы.)

«Анна Егоровна тчк немедленно выезжайте тчк Алексей тяжелом состоянии тчк Силуянов».

(Из телеграммы.)

«Военнообязанному Борееву Лукьяну Яковлевичу. ...предлагаю Вам прибыть в Астаховский РВК для прохождения переучета и уточнения Ваших учетно-воинских документов. При себе иметь настоящую повестку и документы, указанные на обороте. Астаховский райвоенкомат. Майор Шипилов».

- Видел?
- Видел.
- Видела?
- Видела.

...Несомненно, было удивительно и даже загадочно, что столько крестьян, работавших в разных концах, на полях и горах, в одну и ту же секунду, словно сговорившись, взглянули в одном направлении... И ужаснулись.

Ясунари Кавабата, XX век

От жажды умираю над ручьем...

Франсуа Вийон, XV век

Кабина тряслась, и, чтобы как-то сосредоточиться, Алексей прикладывался виском к холодному боковому стеклу; но машина не принимала его, ударяла в кость, резко и часто, голова его отскакивала, не чуя боли; долго, падая и поднимаясь, бежала за ним, всплескивая руками, растрепанная женщина, а он не видел ее, не оглянувшись назад ни разу...

Фары высветили короткий, поломанный во многих местах серый штакетник. Он резко развернулся и пошел боком на него, сминая и счищая с земли лопатой какие-то крупные желтые цветы, черно-зеленый бурьян, круглые огромные лопухи: все это полезло и вбок, в тьму, и поверх лопаты, на трясущийся капот, на него... Хрястнули прогнившие столбы, и штакетник, переламываясь, отлетел в сторону.

Здесь еще можно было остановиться. Но он не остановился. И первые, едва заметные, неведомые холмики, заваленные синеватой листвой, бесшумно распустились под гусеницами, оставаясь позади ровным, придавленным местом... Затрещали старые кресты, в центре их было густо насажено, один к одному, и так, ряд за ря-

дом, легли они, распадаясь под острым металлом сразу в серый полезный прах.

Машина была великовата для этого тесного пятачка, охваченного низким, ветхим штакетником. Временами земля, не выдерживая тяжести, проваливалась впереди... Он резко двигал рычаги, давал задний ход, но и позади проваливалось, и тогда, — опять вперед, с круговым разворотом, вырывая по касательной проржавевшие старинные оградки.

Голые круглые головы камней вдавливались без усилия. Уходили навсегда в землю. Шли и шли на него кресты, бесполезно раскинув деревянные серые крылья и, резко хрустнув, падали, и вновь внезапно поднимались, и шли; поднимались, видимо, уже другие. Но сейчас в его горячечной голове, оглушенной грохотом, все смешалось и соединилось в одно серое, острое перекрестье, падающее и падающее под него, вздымающееся и вздымающееся, хрустящее под прожорливым металлом, бьющееся в капот, в стекла переломанными деревянными конечностями; он закричал, но не услышал своего крика; бульдозер заскользил под ним вниз, проламывая впереди себя пространство и уходя в разверстку землю...

Первый голос. Надо бы, не сожалея, раздеть все эти полуудушенные, сносившиеся под схимой чувства и попробовать постичь, что же они с самого-то начала означали? Сколько их было? По весу? По терпкости? Да и были ли они?

Кажется, они должны состоять из такого, что недоступно квадратно-гнездовому овладению, из самого простого, так, какая-нибудь щепоть серой соли, но и оттого-то пронизывающего. Если этого нет, если это не так, то тогда что же, собственно, есть?

Второй голос. А если все же есть?..

Первый голос. Тогда для чего есть? Есть — как жирная колесная мазь, чтоб колесо, когда ехало, не скрипело? А куда едет колесо? Кто едет на этом колесе? Колесо само для себя катится? Или для некой внешней, не нашей нужды: дабы, скажем, доставить в скорый срок некоего седока к некой, выбранной им, для него житейской, а для нас — высшей цели?

Но такая высшая цель — зачем она мне и нам, человекам, нужна?

Второй голос. Мы горим, потому что хотим так: гореть...

Первый голос. Да. Это верно. Как верно и другое: мы горим, потому что мы должны сгореть. И сгореть, неважно, — стремительно или потихоньку... Важно иное. Когда догорит одна куча хвороста, нетрудно успеть и прижечь от углей другую: хворост не вечен, вечен огонь, который поддерживается хворостом... Так на что же надеяться хворостине, да и целой-то куче: на то ли, что уже какая-либо из них окажется вдруг негасимой? На то ли, что они когда-нибудь все одолеют предел, поставленный прахом: пеплом и золой?

Но ведь ясно, ведь всего вероятной, что эти костры палят совсем не с такой целью. Ведь было бы смешно, если бы поддерживающие огонь заботились бы больше не о поддержании самого огня, а — о топливе...

Так чего же мы-то хотим? Бессмертия и счастья? Личного? Или желательно всеобщего? Некогого внутреннего, для нас только существующего смысла?

Ну если этот смысл существует, но вне нас — для внешнего, для поддержания того же чертова, нам непонятного огня, который, если кого и греет, если кому и светит, то нам-

то какое до того дело? И какая нам всем от того польза?

Пожалуй, менее всего получают от огня сами сгорающие дрова... И с точки зрения сгорающего полена или, скажем, хвороста, огонь, обогревающий нас с вами, — пустое, бессмысленное явление...

Вы не согласны? Вы беретесь доказать обратное? Вы можете доказать, чтобы можно было поверить? Вы способны доказать, двигаясь не только из единственной тусклой точки бытового сознания, которому непривычно и страшно думать, что будет, когда кончится это?

Второй голос. Да. Я попробую доказать обратное...

Первый голос. Только не надо еще и надрыва... Не надо горящих глаз: быстрее всего, как известно, сгорает топливо сухое, тщательно обработанное для безотходного уничтожения, чтобы взял — и в печь, чтобы сразу один чистый огонь получался.

Второй голос. Да. Я попробую доказать без надрыва. Я постараюсь не выходить из установленных в этом разговоре правил... Более того, я начну с только что доказанного, с пепла. С праха. Будем считать, что выше пепла нам после огня ничего не дано: мы растворяемся в небытии... Более того, я убираю сознательно и вторую, спасительную половину изобретенной человечеством оси; то, что мы растворяемся, это еще можно доказать. А то, что кто-либо оттуда, из небытия, в той или иной форме возвращался — для меня уже даже не вопрос... Поэтому убираем ее, эту вторую половину, сразу. И отправляемся в маленькое путешествие.

Первый голос. Это еще зачем?

Второй голос. Я же не возражал против ваших... поленьев?

Первый голос. Хорошо. Отправляемся...

Второй голос. Близ известной всем, знаменитой теперь деревни есть одно место, которое потрясает непредусмотренно...

Создатели мемориального комплекса, вероятно, решили не включать или не догадались включить это место в свой замысел. Сюда не доходят экскурсоводы. И здесь из ежегодных миллионов приезжих бывает от силы два-три человека.

Место это — обыкновенный погост. Надо просто свернуть с широких бетонных плит, отклониться от предусмотренного маршрута и под тонкий перезвон подняться по мягкой траве на невысокий холм, обросший разномастными неухоженными деревьями.

Здесь нет даже тропинки. Впрочем, тропинка есть — протоптанная давным-давно. До всего еще. До войны. А сейчас по ней почти не ходят. Потому что нет нужды.

Тропа заросла. Затянулась травяным подшерстком... И это хорошо. И хорошо, что не ходят. Иначе бы ее надо было быстро прикрыть бетонными плитами...

Я приехал сюда однажды и поднялся случайно наверх, не ожидая найти что-либо интересное. Так оно и было. Две могилки с грубыми оградками и старыми железными крестами. И ничего больше. Кресты и ограды окрашены недавно. Могилы подправлены. Я заволновался... Кто же он, близкий этим, лежащим внутри, человек? Кто?

Первый голос. Да, и я помню это место, кажется...

Второй голос. Я оглянулся. Над деревней и внутри деревни было светло. Светило сквозь дымку неясное июньское солнце. Под солнцем, под холмом, словно запавшая дешевой тюлем, стояла в тишине деревня. Будто бы ранний-ранний час, будто бы в деревне та предутренняя минута, когда не вьется дымок из не прогретой еще трубы, только тонко-тонко вызывают колокольцы не вернувшегося с вечера стада...

Я был один: странно оказавшийся на краю еще спящей деревни, на этом холме, на их кладбище, возле их могил с корявыми табличками на крестах. «Петровская Мария Ивановна. Рожд. 1888, пог. 1942». «Петровский Франц Казимирович. р. 1880 г., у. 1940»... Я, пришедший, зачем я сюда пришел, зачем я здесь? У этих похороненных Петровских есть, верно, кому скорбеть и без меня...

Подул ветер. Особенно как-то остро прозвенели поминальные колокола. И отступился туман. И обнажились голые бетонные серые кости — памятники умершей в одночасье, как человек, деревни... И будто перевернулось что-то в груди и в моем зрении. Я увидел все как есть, как должно было видеть в эту минуту июня 1980 года.

У этих могил нет и никогда больше не будет близкого им человека. Потому что все близкие этим могилам люди сгорели одновременно. И похоронены не тут, на погосте. А там, на бывшей деревенской улице. Где сроду никогда не хоронили. И не думали, конечно, они, что лягут когда-нибудь костями, да все вместе, в один малый курган близ своей, истоптанной их живыми ногами, дороги.

Я заочно уважаю незнакомых мне людей,

из грубейшего серого бетона смогших поднять над пепелищем мощь всеобщей памяти. Они и были воодушевлены этой всеобщей памятью, памятью большинства. Они не могли помнить отдельно: каждой памятью, каждым сердцем сгоревшего в костре человека. Нет, не вина это. Это, видимо, заслуга их, создателей мемориала, что они, слава богу, не смешали, не распустили мелкий погост во всеобщей памяти...

Надо находить его, не взятый в бетонное кольцо. Надо случайно наткнуться на него. Стоять... Наверное, с непокрытой головой...

И тогда учуешь, услышишь вдруг забытую бездонную глубину, которая одинакова и под этими жидкими крестами, и под этими бетонными и мраморными монолитами.

Я стоял. И смотрел. И слушал.

Я прошел по погосту... Странно было видеть, что состоит он всего-то из двух могил. Я пригляделся. И кладбищенское пространство осунулось и будто бы раздалось... Из-под сгнившей прошлогодней листвы, из-под темной прорастающей травы, из-под корней выпрастывались на моих глазах, обнаруживали себя большие и малые, и почти исчезнувшие могилы: из многих выпирали лобастые камни, в разной степени поглощенные землей, но... одинаково безымянные. Я попробовал очистить один из них. Удалось немного. Оставлена была от камня временем одна лишь верхушка... Еще год, ну, еще пару лет — и примет, и поглотит его земля, забирая с травяной поверхности и последний знак человеческого присутствия...

Кто лежал под ним? Женщина? Мужчины ли? Вор? Честный ли человек? Никто не зна-

ет. И уже никто никогда не узнает. Здесь бorenье прекратилось навеки и окончательно. Не сохранив ни одной буквы от прочитанной, а может быть, так и не раскрытой неповторимой книги.

А что тебе она, буква, думал я, склонившись над почти исчезнувшим камнем. Или этот камень, который был лишь знаком человека — без имени, без отчества? Что он? Да то же, что и буква... А надпись? А имя, составленное из таких же, как эти камни, знаков? Надолго ли? И не так ли безымянны и те, что лежат пока взятыми в бетонные пределы? Что осталось от их жизней? Что скажет про них больше, выше чужого, неведомого им бетона, который и тысячелетия, рассыпавшись, не вынесет, не то, что вечности...

Первый голос. А имеет ли смысл, надо ли в таком случае громоздить камни?

Второй голос. Надо ли... По-моему, надо вздывать и громоздить эти камни друг на друга: ведь из живого один лишь человек придумал миллионы лет назад этот странный способ закреплять себя в соскальзывающей бездне хаоса, и потому мы не можем прервать и остановить по своему произволу эту цепь... По той причине хотя бы, что иного способа увековечивать и давать бессмертие мы, и никто, пока не придумали.

Первый голос. Но надо еще и трезво вглядываться во все, придуманное нами: увековечить не значит — дать вечность, но значит — дать век...

Второй голос. Да. Эти облизанные страшным языком вечности лобастые камни, каждый из которых ничего нам не обещает и не дает, способны научить лишь одному: как можно

сильнее и яростнее изживать отпущенное тебе здесь. Изживать, как последнее. Потому что это и есть последнее.

И чем глубже и бездоннее мы будем сознать простершийся вокруг нас, вне нас хаос, тем беспощадней мы будем сжигать себя: потому что нам только и дано сжигать, гореть и сгорать, согреваясь, пытаясь согреть других, себе подобных. А больше ничего не дано. И еще трезвое простое знание. А это уже много.

Много, потому что, не обманывая, человек способен потратить себя уже не на то, на что тратил в обмане, полагая, что делает это тайно. Тайны нет, поскольку ничего, кроме того, что дано здесь — там и нигде уже не будет. Кровью платим мы за обманы: за то, чтобы было кому поклоняться. Кровью — за то, чтобы отсечь от себя обман...

Но вырабатывается повзрослевший, зрелый разум, способный созидать и искать без лжи. Нравственность его без обмана естественна, потому что она вся — из одной голой правды. Такой разум ведает, что не в камнях и не под камнями смысл, но умеет сохранять эти камни! Потому что иного у нас нет. Потому что даже камни эти — яркая вспышка неведомого нам, сгоревшего в вечности человека, изобретшего память; потому — каждому бы из нас такую вспышку и такой удел, и мы бы тогда, глядишь, и не растворились бы в хаосе...

А память — что ж? Память — это надежда, это наша главная вера. Это способ, попытка выжить вне. И одна на всех — на мириады умерших и живых — круговая порука...

Всегда, всегда должен находиться близкий, который придет и поправит последний камень.

Вот ведь и в той деревне нашелся, будто из сгоревших вышел, неведомый мне человек, который не за деньги, за одну вечную память — каждый год на погосте красит ограды и подправляет упдающие кресты...

Кто он, этот человек? Я пока не знаю. Зачем он? Это уже я знаю наверняка.

Первый голос. Вы считаете, что вы меня убедили?

Второй голос. Я вас и не убеждал... Просто я из вашего безверья взял и сделал веру. Не прибегая, как вы заметили, к обману...

Первый голос. Да... Возможно... Но, между нами говоря, Тайну жаль. Памятью вы всего лишь преобразуете бездну в идею для головы. Но это утешенье для всех, а не для каждого. Каждому, увы, вечность не дана. Утешьте меня, смертного, утешьте! Дайте мне лучик! Мне не надо больше! Я устал верить, чувствовать и думать за целый миллиард! Ведь наша беспощадность безвыходна! С ней спорить трудно! Она очевидна, как голый, пустой и сгнивший череп!.. Скажите, вам не скучно с правдой, у которой ампутировали душу и сердце? Нет? Нет?.. А по мне все же есть, должна быть Тайна! И коли будет она, то будет и Надежда. На что? Да хоть на Что-Нибудь...

* * *

Машина, дернувшись несколько раз, вырвалась из провала и пошла, пошла скачками, неуправляемая, поперек кладбища.

Он пытался подняться, выбраться из-под рычагов; разбитая голова его ослепла. Глаза застлало липким, он

тыкался пальцами в мягкое, в жесткое и резал пальцы, поднимался, вставал и падал, ударяясь плечом и затылком, зверея от острой боли; машину встряхнуло и накрепило, а его повалило на сиденье, и он, двинув рукавом по лицу, на мгновение увидел в светлом мутном окне лохматые кусты, кусок штaketника за ними, над крутым обрывом, а правее, в стороне, белый памятник с темным кружком фотографии, низкую скамейку и на ней серенькую фигурку; надо было остановить, осадить машину, иначе не успеть, и бульдозер уйдет вниз, в обрыв; он зашарил руками в рычагах, но руки не слушались, рычаги заклинило; кусты и штaketник стремительно надвигались, дергались в квадрате лобового стекла; он вырвал с усилием один из рычагов, но было поздно, оставалось одно — бросить машину на ограду, на белый памятник; он рванул на себя, и бульдозер, смяв кустарник, не доходя до края, успел развернуться и на скорости врезался в деревянную ограду... С круглой фотографии глянули знакомые смеющиеся глаза; серенькая фигурка, распрямившись, взметнулась, раскинула темные маленькие руки, прикрывая собой улыбающееся на фотографии лицо; темный большой рот, застигнутый в крике; он узнавал, он узнал ее...

— Сыночка!.. Не надо!.. Не бей меня!.. Не бей! Не виноватая я... Не вино...

Все. Хрустнуло. Белый раздавленный квадрат. Расстрескавшееся лицо в фотографии.

Тишина.

Из документов, составленных или найденных впоследствии:

Документы не обнаружены.

Человек может в принципе обходиться без рук и ног. Но возможно ли обходиться ему без имени и без лица, оставаясь человеком?

Альберт Косовский, XX век

Ибо я как та смоковница проклятая: не имею плода покаяния; ибо имею сердце — как лицо без глаз; и ум мой, как ночной ворон, на развалинах бодрствующий...

Даниил Заточник, конец XI—начало XII в.

Как рассказывают теперь, Павла Сергеевича его собственная супруга застала на рассвете в палисаднике в совершенно непотребном виде. Проснувшись якобы она от неясного гула и содрогания. Стены и матица подскакивали, словно рядом с домом шел груженный железнодорожный состав. Люстра раскачивалась. Дареный импортный хрусталь жалко зазвенел в серванте, новые финские обои прямо на глазах у супруга потрескались, а чешские (тоже подарочные) стулья нетерпеливо проскакали из углов через всю комнату, к роялю, и, столкнувшись с ним, перекувырнулись.

По всем признакам, сообщал я читателям в тот день, выходило, что Астахово оказалось в эпицентре землетрясения.

— Паша! Павлик! — закричала тогда в страхе и отчаянии супруга Прохожева, не находя его в своей постели. Но и тут же догадалась о действительной причине происходящего.

— Ах, гад! Ах, ты, скотиныка эдакая! — кинулась она к двери. Однако дверь сама распахнулась, а в сенцах так ахнуло, как будто прохожевское жилище накрыл артиллерийский снаряд. Стеклопакеты мигом вылетали из рамы, и в сенцы просунулись толстые ветви

переломанного пополам и рухнувшего на крышу тополя.

Стихия, как я писал тогда в репортаже, разыгралась не на шутку. Ураганный ветер валял деревья и заборы. Супруга Павла Сергеевича (этого я, естественно, читателям не сообщал), стоя на крылечке в раздувшейся пузырями ночной рубашке, обратила внимание, как медленно приподняло, рвануло и понесло оцинкованную новехонькую соседскую крышу. Мгновение спустя из обезглавленного строения полетели скомканные простыни и одеяла, затем телевизор, потом холодильник, после чего — вознесен над собственным домом ухватившийся за спинку деревянной кровати сосед. Правда, как утверждали потом, унесен был ветром не сосед (сосед находился на курсах повышения квалификации в Проворовске), а поступивший из Проворовска в порядке встречных перевозок командированный.

Рядом с Прохожевой что-то тяжело брякнуло. Она пригляделась: в сумерках посверкивал никелированными раструбами и легированными сочленениями изготовленный в заводских условиях самогонный аппарат; блестящий краник сам собой открылся, и на взрыхленный под зиму чернозем полилась пахучая полезная жидкость.

— Веревку мне! Лестницу мне! — кричал бабым голосом лжесосед, проносясь в кровати над садом. — Остановите меня немедленно. Вы что? Ослепли? Я же летаю!

— А перо тебе, летчик, в задницу! — злобно отвечала ему Прохожева, никогда не любившая соседа. — Перо! Для ускорения! Чтоб самогонку по ночам не гнал!

Лжесосед не смог достойно поддержать разговор, поскольку очередной порыв ветра подкинул два раза кровать и унес стремительно под облака вместе с седоком.

— ...ааю!!! — лишь донеслось оттуда.

— Чего-чего? — Прохожева приставила ладонь к уху. Но расслышать прощальный крик улетающего не удалось. Помешал звон благородного металла, раздавшийся непосредственно возле ее ног. По бетонной садовой дорожке, нагло позвякивая, катились николаевские червон-

цы. А в воздухе, меж деревьев, вертелись какие-то плотные бумажки. Прохожева поймала одну, другую. Это были банковские билеты, отпечатанные щедро, с избытком (в те давние годы на бумаге не экономили), и, судя по всему, не обмененные вовремя. Прохожева хотела кричать. Но тут как раз и обнаружила своего мужа под смородинным кустом. Он стоял на коленях, широко раздвинув руки и уперевшись ими в огород, — в той причудливой, торжественной позе, как если бы его только что внезапно и сильно стошнило. Прохожева приблизилась. И внутри у нее — рассказывают — все оборвалось.

События Прохожева не застали врасплох. Павел Сергеевич был одет уже по всей форме: в хромовых трофейных германских сапогах, в синих галифе с красным кантом, в кителе с накладными карманами и командирской фуражке. Увидеть на рассвете близкого тебе человека в подобном одеянии, да еще под кустом, да к тому же в такой позе — для этого требуется немалое мужество. Однако Прохожева была женщиной не робкого десятка, потому она перенесла и следующий удар с завидным хладнокровием. Следующий удар произошел, когда Прохожева наконец поняла, куда Павел Сергеевич устоялся и к чему, собственно, тем самым клонит. Устоялся он в одну точку, сконцентрировав всю недюжинную силу взгляда на циферблате электронных часов, стоящих перед ним на грядке. А клонил явно к тому, чтобы совершить то, что давно втайне вынашивал. И в чем ей бессонными ночами все последние годы признавался.

— Паша! — трагически сказала она. — Это дурная привычка. Я тебя предупреждала. За такое детей по пальцам бьют. И не велят жаловаться... Павлик!

Павлик помалкивал.

Тогда Прохожева стала собирать банковские билеты и червонцы и посыпать ими супруга, желая, видимо, разжечь в нем частнособственнический инстинкт. Против ожидания, инстинкт не пробуждался. Вероятно, он был подавлен безвозвратно куда более древними влечениями.

Павел Сергеевич невинтно рыкнул и с презрением отклонил предлагаемую компенсацию в виде денег, вышедших из употребления.

— Если ты сейчас же не прекратишь... — решила на крайнюю меру Прохожева, — то я немедленно позволю в больницу и в милицию. И там не посмотрят на твои знакомства. Там тебя моментально упекут куда надо и как миленького!

В ответ на эту безобразную выходку Павел Сергеевич только еще пуще, злее прижмурился, и сад тут же потряс шквал небывалой силы. Ураган согнул деревья, слышно стало, как по всему поселку захлопали двери, зазвенели стекла и затрещали крыши... Прохожева взвизгнула. Но было поздно. Воздушная волна подхватила ее, задрал до головы подол. И, используя рубашку в качестве паруса, мигом утащила несчастную в небо.

Спустя время нашими поселковыми исследователями будет установлено: через Астахово в то злополучное утро пронесся смерч. Тот самый печально известный смерч, который через несколько лет крушил Ивановскую область, и ведь никто, кроме нас, не знал истинную причину стихийного бедствия. Секрет же прост. Павел Сергеевич в ту пору проводовал свою двоюродную племянницу, проживающую в Иванове... А кто может поручиться, что не на его совести странные и разнообразные катастрофы, случавшиеся (и случающиеся!) в разных уголках нашей необъятной страны?! Не знаю, как кто — я бы не взялся. Тем более, ежели учесть необычайную плодовитость и разбросанность прохожевых по регионам...

Разумеется, все эти соображения более позднего периода. В то утро я ничего такого и не думал. Потрясенный рассказом Коли Авдеева о подлинных злодейских намерениях скрытого изверга Прохожева, я на время выпустил из виду его летящую супругу. А она летела отнюдь не так красиво, как это можно было бы представить себе, — бедная женщина, подгоняемая беспорядоч-

ными ударами ветра, совершала сплошные сальто-мор-
тале, пока наконец не попала в сильную воздушную
струю. Она попала в струю и только тогда заметила: над
ней проносилась как раз огромная серебристая птица, и
вокруг, куда хватало глаз, сыпались птичьи перья бе-
лого, а в основном черного цвета. Там, наверху, где про-
летала птица, предположительно кого-то драли. «Только
вот кого в этот раз?» — мелькнуло тревожно в послед-
ний момент в голове у женщины. И тут же был ей голос.

— В данном случае нас, — произнес голос печаль-
но. — Ах, не удивляйтесь, женщина, пожалуйста! Вы
присутствуете при факте обыкновенного массового избие-
ния. Вчера мы били. Сегодня мы биты. Завтра окажетесь
биты вы...

Прохожева кувыркнулась через голову и увидела
симпатичного мужчину в полном десантном обмундирова-
нии и с громадными неуклюжими черными крыльями на
месте парашюта за спиной.

— А вы кто будете? Не из падших? — заинтересо-
валась сразу Прохожева.

— Нет, — неохотно пояснил десантник. — Нас, прав-
да, уже успели падшими объявить. Вот... Понавешали.
И даже очернили, как видите. Но если разобраться, то
нас просто-напросто неоправданно опельмовали!

— Кого неоправданно, а меня ошибочно! Всех подряд
на одну доску с собой не ставь! — обиделся другой голос
в темноте.

— А меня в отличие от всех шельмуют абсолютно
обоснованно! Однако с некоторым поправлением существу-
ющей законности! И только потому я вынужден протес-
товать! — выкрикнул в отчаянии кто-то третий. А чет-
вертый голос внес ясность. Голос принадлежал огромной
бородатой голове в летном шлеме, напоминающей голову
то ли отца Серафима, то ли Карла Маркса.

— Вы па что там руку подымаете? — гневно спро-
сила голова снизу, из темноты. — Может, кое-кто из вас

додумался, будто мы тут поза-бы-ли, кого и как шельмовать?..

Чернокрылые промолчали. Впрочем, промолчали и белокрылые. Или сделали вид, что молчат.

— Ну, хватит, разговорились, — подвела черту голова сурово, не расслышав возражений. — Кончай шалтай-болтай... Стройся!

— Чего уже? Бить? — уточнил кто-то из ближнего окружения.

— А ради чего? — вполголоса, скорее всего для очистки совести, переспросил давешний десантник.

— Ты о чем, о чем там?.. — сдерживая себя с трудом, вымолвила разъяренная голова.

— А действительно? — прошептал не совсем внятно третий или второй. — Чем вдруг стал плох шалтай-болтай?..

— Шалтай-болтай признан крупнейшим ревизионизмом в форме грубейшей допущенной ошибки, — быстро и четко разъяснила голова отца Серафима.

— Бить? — повторили в темноте с надеждой.

— А это вопрос непростой. Как тебе твои убеждения подсказывают? — стала испытывать веру голова.

— Ах, черт... — выругался третий или второй. — Я ведь так и знал, что Шалтай-болтай провокация!

И с этими словами сложил крылья и полетел камнем вниз.

— Один дочрикался... — сказал кто-то злобно у Прохожевой за спиной. Она резко оглянулась. И, вновь за спиной кто-то жалостливо добавил:

— Пусть, браток, земля тебе станет пухом.

— Стройся! — закомандовала наконец голова. — Приготовься! Нанести удар по предполагаемому противнику!

— Но раз он предполагаемый, значит, его нет на самом деле? — подумала внезапно Прохожева, произвольно открыв рот. — А если его нет, то зачем же предполагать?..

— Убрать гражданских лиц с поля боя! — закричала

вая однажды по случаю на колхозном рынке в Проворовске.

Поселок Астахово горел. В двух-трех местах вздымались черные космы дыма, слышен был вой сирен. По дорогам на бешеной скорости мчались пожарные машины. Меж ними вилял УАЗ: вероятно, сам Валерий Иванович руководил тушением пожаров. С высоты птичьего полета Прохожева разобрала с трудом: Павел Сергеевич и Пашка Палач строили возле «Дубка» каких-то людей. Подчиняясь их командам, одни кололи предполагаемого противника в виде деревянного забора, другие укрепляли на фронтоне «Дубка» громадный портрет крепкого усмехающегося мужчины в надвинутой на самые очки военной фуражке... Прохожева скосила глаза и увидела, что в это же самое время по пустынному проселку из Яшкина в Астахово бежит человек. Вот он споткнулся, упал. И уже не поднялся, остался на коленях. Раскачивался из стороны в сторону, тянул руки к небу, туда, откуда летела камнем Прохожева.

Я думаю сейчас, что это был Алексей Тарлыков. Это он, наверное, в последнем припадке отчаянья каялся и бился на пустынной дороге. Впрочем, в нашей сомнительной истории ничего нельзя утверждать и ничему нельзя наверняка верить. Может, и он? А может, и тот, кого мы за Тарлыкова принимали? Как бы там ни было, спросить теперь не с кого: супруга Прохожева, долетев-таки до земли, рухнула на городскую свалку и теперь второй год по ходатайству мужа находится на излечении в психиатрической больнице.

А жаль. Ведь она наверняка в последний момент многое на этой земле разглядела. Видела она, безусловно, и как одна колонна, под предводительством Прохожева, пошла на главную площадь поселка. А другая, под руководством Пашки Палача, рванулась к окраине. Прохожева уже валялась на свалке, а банда Палача сметала заборы и палисадники, направляясь стремительно к Тришкиному Кусту.

А в это время по другой дороге, со стороны Яшкина, минуя крюком Тришкин Куст и с выходом на Астахово, катилась, набирая темп, другая лавина. Все последние малопонятные события, начиная с Анисочкиных парашютистов, порубленных деревьев, полуразобранной плотины, смерти самой Анисочки и кончая внезапным ее воскрешением накануне вечером и разрушением кладбища, — все это, все эти чрезвычайные происшествя как-то так перемешались в голове у яшкинцев, что они не могли бы с точностью уже сказать, а что, собственно, происходит, и что их напугало столь сильно. Во всяком случае, по мнению бегущих яшкинцев, произошло что-то такое бесповоротное, что-то такое среднее между новым потопом и явлением антихриста. А все еще усугублялось к тому же дополнительными разноречивыми сообщениями. На рассвете неожиданно разродилась девяностодвухлетняя Сычиха, принеся селу необъяснимо откуда и взявшегося яшкинца в последнем, окончательном поколении. Тем же ранним утром, хмельной по случаю пропажи бульдозера, Костя Байков овладел на время трактором отсутствующего Сеньки Оригинального и двинулся по дороге в поисках утерянного счастья. По пути ему попалась какая-то незнакомая деревня. Он свернул из любопытства, не задумываясь, к ней, но не рассчитал и с ходу въехал в чей-то двор, поломав предварительно палисадник.

Из дому с криком выбежала, оступаясь на высоком крыльце, полураздетая женщина.

— Тт-е-етк! Это а-ая дер-ревня? — поинтересовался у нее Костя.

Но женщина, ничего не объясняя, не говоря буквально ни слова, взяла только толстый прут и начала охаживать его молча, пока он не закричал и не закрылся в кабине. И только после этого, успокоив дыхание, заголосила она пронзительно, поворачиваясь во все стороны:

— И родимец-то ты проклятый... И што ж ты, роди-

меч, своею дома-то не признаешь?.. И што ж ты, антихрист, матерю теткой называешь?!..

А несколько раньше, еще и до рассвета, примерно в пятом часу утра, на подходе к станции Астахово-Товарная эшелон с лесом, следующий с востока на запад, был остановлен на железнодорожном мосту ударом трактора «Кировец» в буфер переднего электровоза. За рулем трехсотсильной машины находился механизатор колхоза «Светлый путь» Семен Дмитриевич Копаев. Другими словами говоря, Сенька Оригинальный, неукротимо летевший к дому с места далекой командировки.

В кармане у него, когда его нашли, лежал аккуратно оформленный командировочный лист и флакон духов «Быть может».

А всему виной явилась чистая случайность: не поспорь Сенька, что он раньше других ребят (гнавших также «Кировцы» в свои хозяйства), что он раньше их достигнет райцентра, то и рокового столкновения бы, возможно, и не произошло.

Но Сенька поспорил. И не мог проиграть. Четвертной, обещанный на спор, он давным-давно потратил, не доезжая еще и пятисот километров до Астахова. Ему нужна была только победа. И он рванулся короткой дорогой, когда другие, не догадавшись о его маневре, пошли в объезд, на паром.

Сенька штурманул насыпь и выскочил, придавив все триста, на рельсы. В темноте, с поворота, в ревущей машине, он, как и отмечено было позднее, не смог бы ничем разобрать надвигающийся поезд. Он прошел помоста, когда увидел его, но отворачивать было уже некуда.

Столкновение произошло без двадцати пять. А в половине шестого на место события прибыла спасательная команда.

Поезд практически не пострадал. Испуганный машинист вертел головой, не понимая, куда это мог подеваться механизатор. Механизатора искали долго, поскольку «Кй-

ровца» как такового не было... Был кусок искореженного металла. Без колес. И без кабины. Остатки трактора висели на электровозе...

И тогда все прислушались. И услышали, что кабина, поскрипывая, качалась над рекой.

Долго же, долго его оттуда выуживали. Резали металл автогенном — Сенька не пикнул. А вытащили, поставили на землю, — он сплясал «Яблочко». И засмеялся.

И тут все увидели, что это уже не тот Сенька. И тут все поняли, что это уже другой Сенька. И на голове у этого Сеньки белым-бело... А в голове у этого Сеньки тоже не все как будто в порядке... Лечили потом Сеньку. Долго лечили. Да так и не смогли вылечить.

Но о подробностях этих яшкинцы, мчавшиеся под проливным дождем по дороге на Астахово, конечно же, не ведали. И достаточно им было одного только простого факта, что Сенька там с кем-то на дороге столкнулся, и всех теперь арестовали, — одного этого простого факта было достаточно, в соединении, правда, с другими простыми фактами, — чтобы встречную лавину, надвигающуюся со стороны райцентра, принять за... Да бог знает, за кого яшкинцы этих людей приняли?.. Кем бы те ни были, а они, яшкинцы, оказались в результате побитыми и рассеянными по окрестным полям; воодушевляемые криками победителей, неслись они во весь опор во все стороны, унося в те же стороны весть об окончательном поражении и прочую противоречивую информацию.

Едва вернувшись из Покровского и переодевшись в сухое, я предстал пред светлы очи Валерия Ивановича.

Надо сказать, что я уже довольно плохо соображал к тому времени и на все вопросы о том, что же происходило вечером и ночью в Яшкине и что случилось сегодня утром в Покровском, я отвечал, как сейчас понимаю, совершенно идиотским образом и производил, конечно, самое невыгодное впечатление.

Я не мог внятно объяснить, например, зачем мы попали с Алексеем к Борековым, не способен был я также растолковать Хицко, как и при каких обстоятельствах я потерял Тарлыкова... А с покровскими памятниками я и вовсе запутался. То я говорил, что их было пять, то, подумав, утверждал, что их понавозили в конце концов тринадцать.

— Сядьте, — сказал Валерий Иванович. — Успокойтесь... Выпейте воды... Может, еще ничего и не случилось...

Я выпил воды. Но не успокоился. Напротив, я стремительно поднялся, руки у меня задрожали, и чуть ли не со слезами в голосе я закричал:

— Объясните мне, пожалуйста! Что же произошло? В чем, в чем я виноват?!

Хицко поднялся тоже и насупленно, молча, подошел к столу заседаний. На столе лежала сверстанная полоса нашей газеты. Он двинул ее ко мне.

— Разгильдяев поразвели... вот что произошло... И друг ваш разлюбезный... И автор этой самой статьи, — ткнул он крупным пальцем в газету. — И автор разгильдяй полнейший... А еще больше — инициатор ее... Да и вы, товарищ Силуянов, не меньше...

Я промолчал. Я принялся читать полосу. Кто инициатор статьи, нетрудно было догадаться, пробежав ее и по диагонали. Это была та самая корреспонденция «Нарушителя — к ответу» за подписью Авдеева, отрывок из которой я приводил в самом начале.

— Где Тарлыков? — тихо спросил Валерий Иванович. Я затруднялся ответить.

— Когда вы были с ним в последний раз?!

Я сказал, когда... Сначала я сказал, что накануне вечером, у покровского оврага. Потом вспомнил и уточнил: ведь появлялся же он и на открытии памятника!..

Валерий Иванович посмотрел на меня как-то очень странно. Полагая, видимо, что я сильно устал.

— На дороге, за поселком, час назад найден... труп... Вы поняли меня?

Я понял. Я вскочил со стула. Я закричал... Я не помню, что закричал... Кажется, что я здесь пи при чем и что моей вины тут нету... А сердце бухало, коло- тилось в грудную клетку, как удушаемое.

Хицко вышел вновь из-за стола. Взял за плечи.

— Садись, Андрей... И Расскажи мне одну только чистую правду.

Я сел. Я постарался успокоиться. И рассказал ему... Словом, не так, как вам рассказываю. А как было на самом деле. Одну только чистую правду.

— Да-а... — медленно сказал Валерий Иванович. — А я и из этого не все знал... А почему же вы так... поступали? Ведь это же... настоящая подлость?

Я развел руками. А что я еще мог сделать? И что я мог ему теперь сказать?

— Вставайте, — сказал жестко Хицко.

— Куда? — не понял я.

— Да поскорее, ей-богу! — закричал Валерий Иванович. — Может, хоть в морге от вас польза будет...

Лавина, не остановившись, опрокинула на подходе к лесу колесный трактор «Беларусь» с прицепом и углубилась в Тришкин Куст.

С полчаса из лесной непролазной кущи раздавались какие-то бессвязные крики... И с южной стороны леса, там, где Тришкин Куст вплотную примыкает к кладбищу, выехала неспешно белая карета, запряженная шестеркой хороших темных лошадей. Одновременно с западной стороны выкатилось длинное зенитное орудие, прицепленное к старенькому грузовику.

Они встретились у кладбища. Постояли с непокрытыми головами у разрушенных могил... Задержались ненадолго у ободранного памятника. И, развернувшись, двинулись в не известном никому направлении.

Минуту спустя, не потревожив сухую древесную листву, бесшумно поднялась из леса большая бронзовая птица; взмахнув широкими крылами, она всплыла в верхние струи, распласталась, отдавая себя воздушному потоку, и ушла, и скрылась, и исчезла, соединившись навсегда с небесной голубизной, растворившись в ослепительной короне солнца.

Едва мы вернулись из морга, как тут же дверь приоткрылась, и в проеме показалась светлая кудрявая голова заведующей отделом культуры — Эльвиры Ивановны Бореевой.

— Валерий Иванович?.. Вы заняты?

— Да, — сказал Хицко. — Вы же видите.

— Валерий Иванович... — улыбнулась Бореева. — Я все по тому же вопросу... Ну, чем вы интересовались...

— Входите.

— Пришел запрос... — начала издалека Эльвира Ивановна, поглядывая на меня с сомнением. — И я не знаю, что отвечать.

— Какой... запрос?

— С выставки... — засмеялась Бореева, покрываясь алыми пятнами. — С художественной... Просят уточнить по Тарлыкову... По его какой-то картине... Ему премию дают... Ну а я теперь и не знаю...

— Что вы не знаете, Эльвира Ивановна?

— Ну... теперь? Как? Ведь он... Ведь его...

— Вы картины видели? — склонился Хицко сумрачно над столом.

— Нет...

— И я не видел... Так и пишите: не знаем. Не видели. Не потрудились заметить...

— Но... так же не пишется... — засмеялась опять неловко Эльвира Ивановна.

— А как... пишется?

— Ну... Я не знаю... Он же у нас не участвовал...

А так... С моральной стороны надо... С общественной...

— Так садитесь и пишите.

— Да как же писать-то?! — не выдержала Борева. — Как писать, если он...

— А почему вы решили... — тяжело поднялся со стула Валерий Иванович. — Почему вы решили, что он мертв? Труп не опознан... Вы знаете это?

— Как — не опознан?!

— А вот так, — прихлопнул Хицко ладонью по столу. — Одни говорят: он... Другие говорят: нет...

— И как же теперь?.. — расширила глаза от ужаса Эльвира.

А часом раньше я и Хицко подошли к районной больнице. У самых дверей морга стояла и плакала какая-то девчонка. Я тронул ее за плечо. Она вздрогнула. И я вздрогнул. Это была жена Алексея, Саша.

— Ну, чего? — прищурилась она как-то по-шпански. — Затравили человека? Добились своего все-таки?

Я отошел от нее. Хицко остановился. Посмотрел на Сашу. И мы вместе со всеми спустились по широким холодным ступеням вниз. У обитой потемневшим железом двери остановились. Кто-то нажал на звонок. Далеко-далеко внизу, гулко и долго прозудело.

Дверь распахнулась. Мы прошли внутрь.

Санитар рывком приподнял простыню. Лица не было.

Это был явно не он. Основные приметы — рост, сложение, цвет волос — все сходилось. Но что — основные приметы...

Даже костюм, туфли, носки, все новое, только что, вероятно, купленное, — даже это было совсем другое. Хицко тронул меня за рукав. Я пожал плечами. Хицко махнул рукой. И полез вверх по ступеням, на свежий воздух...

Видимо, автомашина шла на такой скорости, что ни

шофер, ни этот человек не успели понять, что же сейчас произойдет... И лица не было. Совсем не было.

Приехавшая по моей телеграмме Саша долго беззвучно плакала, ощупывая тело, гладила похолодевшие ладони... Потом поднялась. Отошла, оглядывая нас ошалелыми глазами, боясь посмотреть еще раз туда и вытирая быстро-быстро платочком свои пальцы.

— Это не он! Не он же!.. Я вам говорю! — и засмеялась. И заплакала вновь. — У него кольцо... А от кольца стерлось... А у этого... Нет! У этого нет... Это не он... А кто? Кто это?

Ясность могла бы внести мать Алексея, но она не приехала. Потому что не смогла приехать: как раз в ночь с субботы на воскресенье у нее произошел инфаркт. Тяжелая форма. Кризисное состояние...

Словом, все было непонятным до тех пор, пока не внес ясность Косовский. Он приехал специально из Покровского... Поднял простынь. Окинул взглядом критически. Мгновение думал, покусывая губу. Потом изучил внимательнейшим образом его руки, чистые белые ладони с подогнутыми слегка пальцами...

— Он.

И накинул простыню. И отошел как ненужный. Все как бы внутренне расслабились при словах Косовского. И Саши рядом не было. Она поднялась вверх.

Павел Сергеевич посмотрел испытующе на Альберта. В первый раз я его видел таким серьезным.

— Он? Ты точно узнал? Точно — он?..

Косовский пожал плечами.

— Я что, Павел Сергеевич? Малахольный? Я же помню его руки...

Это и решило.

...Ужас застыл на лице Эльвиры.

— Что же делать? Как... — повторила она.

— Откуда я-то знаю... — раздраженно вертел в ру-

ках календарь Хицко. — Хоронить надо, Эльвира Ивановна... А хоронить некого...

— А... труп? — совсем обалдела Бореева, отступая на шаг к двери. — Разве... не трупы хоронят?

Хицко бросил с грохотом календарь на стол.

— Трупы, Эльвира Ивановна, предают земле. А хоронят — как у нас заведено... Хоронят людей!

Он отошел к окну, потирая лоб и морщась.

— Напишите... Напишите, что вы незнакомы с картиной... И что он... Хороший человек... Все.

Хоронили во вторник. Гроб несли по поселку закрытым.

Маленький проворный человечек в форменной железнодорожной тужурке взмахнул рукой... Заиграла музыка... Павел Сергеевич сказал короткую речь. И гроб со стуком достиг сырого темного дна.

Задвигались лопаты. Легли венки. Мы постояли с минуту, опустив головы. И разошлись в скором времени по домам.

Какое-то время мы, да и весь поселок, жили в некотором, я бы сказал, напряжении. У Альберта с памятью, конечно, неплохо... Ну... А если? А вдруг?.. Все, знаете ли, может случиться в нашем районе...

Однако все успокоилось. Все вернулось в прежнее русло. Жизнь пошла своим чередом.

Валерия Ивановича очень сильно повысили. Работает он теперь в Проворовске. Приезжая, при встрече обязательно здоровается. Рассказывает о свежих событиях дня. Сожалеет, что не знал прежде Алексея хорошо. Говорит, что он теперь большой художник.

В поселке, по настоянию Хицко, мы готовим открытие музея. Довольно много из будущих экспонатов, а среди них есть и ценные, предоставлены мной, Павлом Сергеевичем и Николаем Авдеевым. Коля теперь живет тоже в Проворовске. Он краевед. Написал небольшую

книжку по истории нашего района. И собирается, между прочим, написать книгу и об Алексее. Но вряд ли, я думаю, успеет. Моя-то уже готова. Да и что он знает о нем? А если что и знает, так и то в передаче Павла Сергеевича.

Да! Павла Сергеевича проводили вторично на заслуженный отдых. Он сказал, как всегда, речь, расчувствовался, заплакал даже. Обнял меня и прошептал на ухо:

— Эх, вы... ребятки... А я вас так, в душе, любил...

И сказал, что на пенсии отдыхать, видимо, не будет. Сказал, что с открытием музея возглавит, вероятно, его коллектив.

Но это вряд ли. Всего вернее, будет музей существовать на общественных началах. Хотя, конечно, как сказать... Если судить по обилию интересующихся творчеством нашего земляка... Они, приезжая, довольно-таки высоко ставят его картины. По их словам получается, что он чуть ли не в первых рядах наших живописцев!

Вспоминаю я его. Вспоминаю часто. Вот ведь как повернулось? Был бы жив — и ВЭИ бы не загородил — как пить дать... А теперь совсем другой оборот. Теперь музей. Теперь слава. Вот так. Так-то, значит. Когда с умом...

Что бы еще вам сказать? Да! Посадили Пашку. Я имею в виду Пашку Палача. Он заработал свое. И доказательства, представленные на суде Колей и мной, уличили его полностью. Оказывается (мне потом Авдеев рассказывал, как оно было дело), оказывается, в Тришкином Кусту он прятал наворованное...

И еще одна, совсем маленькая деталь. Кое-кто совершенно конфиденциально утверждает, что в тот день, когда ушел от нас Алексей или... тот человек, которого мы проводили под его именем, — Пашку Палача видели дважды. Первый раз в компании Прохожева. А через час еще будто бы успели заметить рядом с шофером в кабине автомашины, которая ровно сорок пять минут спустя

сбила Тарлыкова. Ну... или того, кого теперь принято называть Тарлыковым.

Если это хоть в какой-то степени правда, то я могу сказать с удовлетворением, что лично позаботился, чтобы порок был примерно наказан. Павел Сергеевич намекнул Коле Авдееву про воровские дела Пашки Палача и указал точное место. Коля поделился со мной. Потом Павел Сергеевич меня как-то чисто случайно натолкнул на одну любопытную мысль... Да я, собственно, и сам так решил: коли уж нельзя доказать, что совершенно убийство друга, тогда, по крайней мере, преступника следует наказать за воровство! И выступил на суде. Так что теперь Палач надолго упрятан — и ни одна собака его теперь не достанет оттуда.

Нет!

Вас, разумеется, беспокоит, что же случилось с теми семью памятниками, привезенными в один день в Покровское? Отвечу. Вопрос несложный. Вопрос был решен очень просто: открытый уже сохранили на прежнем месте, а другие раздали остальным шести колхозам — как раз весь район, как оказалось, за одну ночь и обеспечили.

В праздничной торжественной обстановке произвели открытие обелиска у покровского оврага. Присутствовало много народу. Выступили: Геннадий Васильевич Зарывалин, Виктор Семенович Дариков, Павел Сергеевич Прохожев. От имени яшкинцев-ветеранов с коротким словом благодарности и напутствия обратился к односельчанам Лукьян Яковлевич Бореев.

Кстати, список имен, украсивший этот памятник, был в последнюю минуту дополнен. Туда внесли фамилии бойцов из зенитного расчета, оказывается, героически погибшего в короткой ночной схватке с вражеским десантом. Это все Коля установил. И описал потом в своей книжке. Не смог он только выяснить, как звали героически погибшего старшину-интенданта. О старшине этом больше ничего не известно. Старшина — и все. А так, по-

нятно, на памятниках не пишется. Поэтому и не стали никак писать.

А сам памятник... О! Это целая история. Оказывается, делали его сразу после войны. Собирали по копейке, кто сколько подаст: кто деньги медные принес, кто тряпку какую-нибудь, кто хлеба... Это все Лукьян Яковлевич неожиданно вспомнил: он-то и ходил по деревне с шапкой.

А когда начали заново открывать — тут сначала никто ничего не понял. Крики, вопли... Такой тут вой поднялся: старухи крестятся, целуют нас, плачут, благодарят... Еле-еле мы их успокоили и ввели, так сказать, в рамки.

Словом, все получилось прямо-таки замечательно. Жаль только, не смог побывать на открытии Савелий Лукич. Савелий Лукич как раз находился в это время под следствием. Но отделался он, надо сказать, легким испугом. Учитывая большой личный вклад, а также физическую травму, полученную им при восстановлении памятника, решено было передать его на поруки. Так что Савелий Лукич по-прежнему, можно сказать, живет и здравствует. Да еще и на свободе.

Яшкинскую школу закрыли, поскольку в ней отпала необходимость: дети ученического возраста (а их всего-то пятеро) посещают теперь Покровскую среднюю школу. Ну а в старом, обветшавшем здании, ныне уже отремонтированном, размещено овощехранилище, маленький коллектив которого возглавил Игорь Николаевич Горюев.

Вот, пожалуй, и все новости... Скажу лишь несколько о себе. Недавно мне дали квартиру. И наконец-то повысили в должности. Вот заканчиваю писать. И сразу же, не откладывая в долгий ящик, сажусь составлять планы. Виктор Петрович уже и так какой день косится, — что это я, дескать, там строчу по вечерам. Не хватало, чтобы он заглянул и прочитал...

...Прошло время. Я просмотрел свои записи и понял, что у меня нет больше никаких причин скрывать от вас некоторые обстоятельства из жизни моего героя.

Как вы и догадались уже, наверное, Алексей Тарлыков оказался жив. Правда, и эту последнюю новость я сообщаю вам с некоторой долей осторожности. (Вдруг потом выяснится обратное?) Однако на сегодня я не могу не верить профессионалу-краеведу, кандидату исторических наук. А именно таковым является теперь Николай Авдеев-Зворынский. Он-то как раз и рассказал мне все недавно.

Как выяснилось, Алексей обязан Павлу Сергеевичу если не жизнью, то здоровьем. Это душака Павел Сергеевич подобрал его на яшкинской дороге незадолго до гибели человека, которого мы все, ошибочно и абсолютно необоснованно, приняли за Алексея Тарлыкова. Это он, милосердный Прохожев, из одного только чувства сострадания похлопотал и определил Алексея в областную специализированную лечебницу. Конечно, легкомысленно было бы надеяться на возвращение разума! Хорошо уже, радовался Николай, что больной, переживший столько потрясений, стал теперь тихим, покладистым, ровным в отношениях с окружающими его людьми. Хотя приходится только сожалеть, что дар речи им навсегда потерян. Наверное, он многое чего мог бы порассказать, но вместо этого издает какие-то невнятные звуки, машет руками, после чего плачет, как правило.

Живет он в Барденевске, в своем родном городке. Здесь его, как говорят, держат за обычного городского дурачка, и потому отношение к нему, как издревле повелось, подчеркнуто деликатное и доброе. Его кормят, одевают и обувают, а когда он появляется на базаре в стареньком военном кителе с чужого плеча, в шляпе без тульи и разбитых офицерских сапогах, то неизменно становится объектом безобидных и неназойливых шуток. Его не бьют даже тогда, когда он пытается выкидывать фокусы. Его не трогают и пальцем, несмотря на то, что

каждый раз он стремится всучить прохожим крупно исписанные листы, вырванные из школьной тетради. Что в этих листах, естественно, никого не интересует. В противном случае Тарлыкова вполне могли бы привлечь за распространение... Но что с него взять?.. Прохожие снисходительно улыбаются. И подают ему, как принято у нас, на пропитанье: пятак, конфетку, остаток пирожка либо огрызок яблока.

— А-а-ву-у! — кричит будто бы им вслед этот странный человек в дырявом кителе.

— Что? Мало? — журят его прохожие мягко. — А ты разжуй, будет много. Ишь какой лоб разъелся. И, конечно, не работает? Иди лучше камни поворочай. Чем, понимаешь, мычать на базаре!

Однажды, по слухам, Алексей побывал в Астахове. На рассвете ворвался в музей своего имени, и как сторожа его метлами ни колотили, не ушел, пока не припилил к трехметровому портрету «художника А. Тарлыкова» вздорную записку: «Здесь был Тарлыков. Не скучайте, козлы. Борьба продолжается!» Убегая, полощул крест-накрест опасной бритвой бессмертное произведение, картину «Без названия», и этим, разумеется, неоправимо изуродовал достояние всемирной культуры.

Иногда, рассказывают, Алексея в Барденевске видят на городском кладбище. Здесь он, праздный, не обремененный никакими обязанностями перед обществом, бросившись с маху и растопырив руки, лежит подолгу на двух могилах, как бы обнимая их, — словно пытаюсь соединить то, что соединить уже вовеки невозможно...

Мы же, в свою очередь, посещаем его могилку в Астахове. Мы — это Савелий Огольцов, Костя Байков, Ананий Бореев и я. Костя Байков не пьет в этот день. Бреется. И переодевается в чистую рубаху. Ананий и Савелий уже давно не бреются. И в остальном они столь же невыгодно отличаются от Байкова. Сближает их только общность цели. Во все советские, а также крупные религиозные праздники они приходят сюда, к фиктив-

ной могилке лже-Тарлыкова. (Я, по вполне понятным причинам, тайну его не открываю, хотя очень и очень многое за это время передумал). Приходят и молча сидят, пока угрюмый Ананий не заведет какой-то, один и тот же, заунывный мотив, и тогда они подтянут, не помня слов, однако на редкость созвучными, хриплыми, пропитыми голосами. Потом Ананий подымет, пере-крестит размашисто могилку и себя самого, ударяя за-скорузлыми пальцами в живот и в лоб. После этого по-валится в телегу, стегнет своего бессловесного Федулку, и они поплетутся; растворяясь в поднятой стертыми ко-лытами дорожной пыли, в дождевых брызгах, либо в снежном мельчайшем прахе...

Мы разойдемся молча. Я запрусь в доме, останусь на ночь и буду пить в одиночку, зная, что уже никогда не постучит в мое окно ни один возмутитель спокой-ствия.

И так все время: зимой ли, осенью или летом.

Господи, какая же тоска в этом доме, в этой сыро-сти за стеной, в этой жаре, в этом лютном холоде, думаю я, накидывая стальной крючок на стальную дверную петлю. Господи, как я устал, я ведь падаю, я умираю от лжи! Господи, да неужели вечно будет падать этот вертикальный и бессмысленный снег, будет стоять этот невыносимый зной, будут длиться эти нескончаемые не-бесные хляби?

Неужели ничего-ничего не переменится, не колыхнег-ся в этом мире?

Я сажусь к пустому столу. Я вспоминаю песни Ана-ния. Я пою его песню, и звуки отдаются в пустом доме дико и мертво.

Мужики там все злые,
Топорами секутся.
А по будням там дождь...
И по праздникам дождь...

Нет. Не петь мне хочется. Я знаю теперь, что стряс-

слось с Алексеем. Я знаю, почему они забыли все слова. Господи, да неужели ж? Неужели?..

Из документов, составленных или найденных впоследствии:

«...Речь... о том, какие непредсказуемые результаты может вызвать одно только присутствие в районе такого... человека. Кто, кто в силах дать ручательство, что завтра или через неделю он не окажется способным уже и на преступление?.. Безнравственность, полнейшая развращенность этого человека, — неужели эти качества могут вызывать у кого-либо симпатию?!»

(Из докладной записки П. С. Прохожева.)

«...Узнав о случившемся, я был потрясен. Этот человек был талантлив, но оставался всегда простым и отзывчивым. Он был наделен великой душой. Но был щепетилен и в мелочах. Лично я многим обязан этому замечательному, светлой души человеку... Великолепные образчики высокого служения своему долгу преподал он всем нам. Весь свой талант, ум, чистоту своей души, святость по отношению к своим гражданским и человеческим обязанностям — все это он передал, оставил нам в наследство. Будем же его достойны!..»

(Из надгробной речи П. С. Прохожева.)

«...Здесь он жил и работал. Как будто не обсохла еще кисть и не остыли краски на мольберте. словно бы оставил он лишь на мгновение свою мастерскую, но сейчас вернется в компанию своих верных друзей, к своим любимым картинам... Нет, никак нельзя предположить, что его уже нет с нами...»

(Из репортажа «Завещание большого та-

ланта», опубликованного в районной газете «Вперед».)

«Землякам художника пора бы подумать и о большем. Немало мест, освященных его присутствием, найдется и в областном центре, и в маленьком поселке Астахово, где жил и работал он в последние годы. Эти места дороги всем нам: почему бы и не увековечить нашу память соответствующими мемориальными табличками? Не излишним оказалось бы поразмыслить и над возможностью установления памятника...»

(Из лекции, прочитанной П. С. Прохожевым в Проворовском университете.)

«Из скупых, не блещущих красноречием рассказов его земляков складывается портрет человека незаурядного, наделенного не только большим талантом, но и щедрой, открытой душой...»

(Из экспозиции областного краеведческого музея.)

«...Мы привыкаем постепенно к мысли, что его уже нет рядом. Но по-прежнему, я считаю, невозможно привыкнуть к его миру, к миру, подаренному нам художником. Невозможно, потому что картины его нельзя постигнуть до конца... Вглядываюсь, приходя часто сюда, в музей, в самую, пожалуй, знаменитую: «Жизнь продолжается». И каждый раз — открытие! Казалось бы, сюжет — изначально однозначный и трагичный. Но сколько света удалось извлечь художнику и из самых темных красок! Жизнь продолжается! Это утверждение и открытая воинствующая борьба с силами, угрожающими человечеству. Это и предостережение: нет на земле места, укрытого от беды. Из самых глубин художник невероят-

ным усилием своего могучего таланта прорывается в свет и лучезарность истинно гармоничного бытия; доверительность тона, тональность надежды и добра, открытые миру, чистые, несмешанные краски: они идут напрямую из сердца, из глубины созидającego ума; бесспорно, несомненно, перед нами целое новое явление, новый пласт, который еще только предстоит постигнуть...»

(Из монографии.)

«...Лошадь пошла шагом. Ананий Лукьянович подремывал, улыбаясь чему-то в усы. Вдруг он живо оглянулся, взял меня по-своему за рукав. И от этого рядового труженика я впервые услышал:

— Хороший был человек... Простой... А не наш!..

— Как это — не наш? — не понял я.

— А так это... Вот не наш — и все, — стоял на своем мой возница. — Не чуял он нас... А мы, значит, его тоже не чуяли... Вот и не наш...»

(Из «Записок районного журналиста» Н. Авдеева-Зворынского.)

«...И вот новый сезон. И — новый всплеск! Какие имена! И сколько! Петр Евсеев, Людмила Синявская, Эдуард Полуэктов, Борис Петрушев... Давненько одна-то выставка не представляла нам столько ярких, самобытных талантов, не радовала нас таким разнообразием манер, идей, да и просто, знаете ли, красок...»

(Из отчета с республиканской художественной выставки.)

«...Подобные случаи фиксировались и в местах, совершенно удаленных от Благовещенска. В Проворовской области, например, по

свидетельству местных наблюдателей, ходят упорные легенды о существовании, появляющемся внезапно перед людьми в самых глухих лесных массивах. Встречавшиеся с ними утверждают, что оно покрыто шерстью, или, напротив, фигурирует во многих рассказах некое подобие лохмотьев (в других случаях — «что-то темное»). Существо не пытается вступать в контакты. Оно, как правило, уходит, якобы покачивая головой и выставив вперед конечности. И при этом тихо смеется... И медленно, бесшумно исчезает в лесной чаще... Что это? Как истолковать очередную загадку природы? Что же, не станем гадать, будем ждать ответа наших специалистов и ученых...»

(Из подборки информации «Для вас, любознательные!»)

«...Коллектив ПМК-234 с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине бывшей работницы ПМК Тарлыковой Анны Егоровны.

Коллектив ПМК-234 выражает соболезнование родным и близким покойной...»

(Из некролога, опубликованного в районной газете «Авангард».)

«...— Дедушка! Ну, вспомните! Художник такой! Высокий ростом он был! Он же бывал у вас!

— Это которого художника? Астахова? Борис Ивановича?

— Да нет... Тарлыкова... Алексеем его звали...

— Алексеем? Не-ет... Такого не помню... Астахов ко мне одна раз приходил... Офицером он... в восемьсот двенадцатом году... А теперь художником... Это вот какой... картинки карандашом рисует — это художник? Да?

— Художник...

— Ну... Вот... Вот Астахов... Вот... Художник... Он самый... Он и заходил...

— Дедушка! Да вы напрягитесь! Ну вспомните! Алексей! А-лек-сей!!!

— Писатель?

— Алек-сей!

— Писателя?.. Помню... Как же... Я же ему ишло гроб-то заколачивал.

— Дедушка! Ну какой вы! Что ж у вас память-то отшибло... Нам же двойку поставят! Дедушка!

— Двойку... За практику... Что вы прикидываетесь? Не понимаете, что ли?

— Нет...

— Дедушка! Ну постарайтесь! Дедушка!..

— Да не помню я...

— А-лек-сей!

— А-лек-сей!

— А-лек-сей!

— Нет... Не помню... Не было... Никогда...

(Из магнитофонной записи беседы Л. Я. Борева со студентками первого курса филологического ф-та Проворовского университета.)

«...Еще взмах. Еще. Мелкий камешек из под ног. Два раза о камни.

И с кручи. Жди... Когда долетит.

Еще взмах. Еще. А тропа все выше поднимается. Вот уже не видно земли. Вот уже ничего не видно. Ни двора. Ни того, что во дворе осталось... Стук. Долетел? Не о землю. Не о камни. О пустое дерево, под которым темнота. Стук-стук. Гулко-то как... Один раз... Второй. Долетел. Все.

Выше. Выше. Туда, куда, непоятно зачем, лезет тропинка.

Туда, где в землю всажены камни по самый череп. Где трава захлестнула камни. Где де-

ревья, свиваясь с травой, вырастают одинаково свирепо — и в камни, и в землю, и в небо. Еще взмах. Еще... Легка твоя походка. Свежо дыхание. Много-много шагов впереди. Больше, куда больше, чем улетело с кручи. А сколько неба над головой, а сколько земли под ногами. Небо. Белое. Большое. Идешь, поднимаешься в него. И, если смотреть с земли на тебя, вверх, кажется — ты в небе. Нет. Тебе виднее. Небо всегда вверху. А ты все идешь к небу. Вверх. Вверх. Еще взмах. Еще. Мелкий камешек из-под чьей-то ноги. Он не долетит. Не успеет долететь. Или так: просто ты уже не услышишь...

Стояло белое большое небо. Стояла далекая бледная земля. Пляши, девочка. Пляши... Чего бы это тебе ни стоило!.. Тишина. Какая тишь! Великая над миром тишь. А облака плыли...»

(Из рукописи А. Тарлыкова, переданной другу, А. Силуянову, и у последнего, при невыясненных обстоятельствах, сгоревшей.)

1981—1989 гг.

*Посвящаю отцу, Василию
Ивановичу, паровозному
машинисту.*

В двадцать ноль-ноль вагон опустел. Можно было уже не держать место, и он отправился на вольный воздух, покурить. За обмерзшим окном лишних огней не было. Изредка, радостно вспыхивая, выскакивал какой-нибудь полустанок — одно-два дерева в сверкающих шапках, домишко, замеченный по глаза, укутанная фигурка с небольшим (будто детскими) флажком и фонариком. Казалось так — другая жизнь, более радостная, счастливая... Но он не верил, он по опыту знал, что обман в большой скорости: веселья нет там, оно только отсюда так, с поезда. И оттого это веселье, что поезд летит мимо, мимо, и ты знаешь, что он никогда не остановится на таком полустанке, и ты на нем не выйдешь.

Вагон качался, скрипел всеми боками и крышей. Это был старый вагон, такой же, как он сам, а может, еще старше; ходил, наверное, долго по главным дорогам, а потом было решено загнать его на эту тупиковую ветку... Он, как обычно, представил себе: кто-то там, в верхах, иривык уже и даже устал распоряжаться круглые сутки вагонами и людьми. Но этот кто-то, конечно, поумнее нас. Уж он-то точно знает: кого и куда загнать. Одни загоняются на тупиковую ветку, другие в капиталку. Третьи — на переплавку, в металлолом... Этому все-таки, считай, повезло. Этого загнали в тупик, а могло бы быть и хуже... Вне всякой связи он стал вспоминать сына: белые волосики на неокрепшем младенческом родничке, руки в мокрой экземе и уже недетская мука в глазах.

Пальчиком на пузырек с мазью покажет: «Папа! Зя-зя!» Не говорил еще толком, а от муки все-все понимал, знал, какое лекарство ему помогает... Вырос здоровяк, а слова клещами не вытянешь из него. Заскакивает проездом, спешит, ни выпить, ни закусить. Разговор не разговор, так. «Не болеешь?» — «Нет». — «А она?» — «Нет». — «А внучка? Внучку привези...»

«Привези» он говорит уже не надеясь — на пороге и вполголоса: сын все равно выйдет с таким видом, вроде не расслышал. На столе зря пожаренная картошка. Бутылка. Он усиживает бутылку в одиночку, сознательно не вслушиваясь в бормотанье жены.

Да и чего там слушать! Она со снохой как кошка с собакой, ну а он между ними попал. Послушал бабу, старый дурак: ломал сына, склонял к разводу. А они в деревню, к черту на рога умчались. Оставили без внучки — вот и давай там, сама с собой теперь бормочи...

Все свои шестьдесят лет он любил застолье. Шестидесят лет он сидел за столом, покидая его лишь для работы. Он ценил работу. Но даже выше работы ставил человека. Он встречал, поил, судил, кормил, ссорил, провожал и поджидал у окошка или на крылечке, когда там придут или приедут снова. Теперь никто не едет и не идет. А если идет, то мимо, по своим делам, где и обходится без его заинтересованного участия.

Такая жизнь ему в конце концов надоедает, терпение его лопается.

Поломать все! — решает он. Поломать одним ударом! — и жизнь пойдет по-старому, со смыслом.

И вот он поднимается из-за стола и допивает последнее.

Сначала он решает отбить телеграмму. Так, мол, и так. Умер папа. Выезжайте немедленно! Не то опоздаете! Тут же прилетят, это уж точно... И поперхнулся, будто уже умер.

— Молчать! — кратко приказывает и без того молча-

щей жене. — Сейчас же молчать! Собирай меня... И никакой телеграммы — врасплох застану!..

В семнадцать часов он выходит из дому — в крепкой кожаной шапке, в легкой куртке из кожзаменителя, с большой хозяйственной сумкой. Он берет решительно билет, не спросив специально сдачу. Он лезет в нужный вагон. Растолкав молодых плечистых пассажиров, находит свое место. И шесть часов ему все нипочем: ломать — так ломать. Поездом ему не в новинку, и пять километров пешком — тоже ерунда. По морозцу, по снежку, где полем, где леском, скрип-скрип, не заметит, как и доберется. Стук в дверь. Открывайте там. Кто-кто... Открывайтесь — отец приехал!

К двадцати четырем часам вагонное стекло покрылось инеем. Черное сплошное пространство за окном заметно светлело: приближалась станция. Вагоны, перестав свистеть колесами, начали стучать, будто катились-катились и теперь вдруг пошли ногами. Светила все почти исчезли, в побледневшем небе сияла далеко-далеко хорошая золотая звездочка, которую он приметил для себя в самом начале дороги. Он не помнил сейчас ее имени, хотя была она какой-то известной звездой, даже знаменитой. Не помнили ее и соседи. И на все вопросы о звездах они подолгу смотрели на него, а потом отвечали на всякий случай уклончиво.

Вагон рванулся назад, вперед. И тихо въехал в станцию. Проводница, не выходя из купе, прокричала весело: «Пассажиры, готовьтесь, конечная остановка. Дальше ехать некуда!...»

Некуда так некуда. Он приготовился.

Из поезда вышли еще трое. Он каждого рассмотрел, принаравливаясь как к возможному попутчику. Но они вышли и разбрелись в неизвестных ему направлениях. Он постоял с минуту на морозном перроне. Станция, несмотря на поздний час, работала шумно. С гулом катились

с горки неуправляемые вагоны: они неслись под уклон, разбрасывая гигантские тени, и когда уже казалось, что вот сейчас вонзятся в состав со стоном, и расплющенное железо, раздавленное дерево ползет в разные стороны, тогда только точно брошенный «башмак» летел под колеса, и вагоны начинали кричать пронзительными голосами...

Главного, дневного начальства не было, и станционные селекторы, переговариваясь, дерзко отступали от инструкций: спорили, рассказывали анекдоты, проклинали хором какого-то Трахтенберга, потом Трахтенберг орал без передышки минут пять; потом вместе хохотали, гремя железом на весь огромный парк; потом, позабыв выключиться, кто-то тихо плакал в пустой тьме.

Он улыбнулся себе под нос, с удовольствием бормоча и вспоминая что-то, раздавил ногой окурок и двинулся в тепло.

В вокзале он все-таки понадеялся найти кого-нибудь на дорогу для веселья. Всем своим видом давая понять, что ищет и не может пока найти встречающих его, он осмотрел пустой зал ожидания, попил водички и почитал немного вокзальные объявления. Со всем он в принципе был заранее согласен, лишь здоровенный розовый парень без лица с такого же здоровенного, наверно, медицинского плаката, ему не глянулся. «Все во имя человека, все во благо человека!» — прочитал он написанное про этого безглазого парня и не поверил. «Разве ж это человек? — засомневался он. Но тотчас догадался. — Да с таким хрен чикаться! Такому хоть с... в глаза, ему все благо! И больно высоко они его задрали, недостижимо даже, небось дырку им какую-нибудь закрывают», — решил он, потому что и сам так сделал осенью: где штукатурка осыпалась, поместил красивую картину в золотой раме. Называется «Охотники на привале». Эти самые охотники вместо того, чтобы охотиться, лежат в поле, прохлаждаются и не подозревают, что повешены тут совсем для другого дела.

На вокзале было пусто. В маленьком окошке широко зевала кассирша. Прямо над ней висели большие круглые часы, показывая неправильное время. Они показывали рассвет, и на самом деле была глухая ночь. «Кого они только тут обманывают?» — проснулся в нем заснувший было железнодорожник. Но железнодорожник решил смолчать. И он вышел в темноту.

Под штанины сразу намело. Он долго кружил по маленькому поселку, прихлопнутому большим помертвевшим небом, искал — у кого бы спросить дорогу, пока наконец из желтого дома с колоннами и большой красной звездой не выкатился мужчина лет тридцати в хорошем пальто, но расстегнутом, выпачканном во что-то белое. Мужчина долго грозил кому-то невидимому с проезжей части.

— Куда, дед? Погибать идем? — прохожий покачнулся весело, пытаясь поднять упавшую шапку, и засмеялся. — Ну, пойдем вместе... Не хочешь? Ну, пачему, па-че-му-у-у не хочешь? Ну, топай тогда в свое село сам... В-о-о-н оно, огонек светится... Заметь, дед, тебе светится, а кому-то, может, уж и нет?..

Прохожий достал из кармана завязанный узлом галстук, аккуратно расправив, повесил его на место и исчез в поднимающейся метели.

«Носит тебя... По ночам не спишь...» — пошептал он во тьму и зашагал на указанный огонек. От крайних дворов, очертания которых едва уже угадывались, дорога круто уходила вниз, в невидимую, непонятную муть, в середине которой светились белые пятна; казалось, что село совсем рядом, рукой подать, что пройди немного и отворишь скрипящую дверь, и мороз в последний раз ахнет по рукам и ногам, а там уже хорошо, а там уже свет, печка, теплые носки, снятые для тебя прямо с ног, близкая улыбка, мягкие руки, разговор... Разговор обязательно до утра, он расскажет про все, про все, вспомнит войну, как жили, про товарищей, как нашел жену, как дети родились, как болели и выздоравливали, как те-

перь одному, вдвоем с матерью, в большом доме... Нет, про это он не будет, про это не надо... Лучше подложит дрова в печь, а сначала сам найдет топор, выйдет на холод, станет колоть помельче, поглядывая в окошко: где они там его приезду радуются — молодая хозяйка хлопчет, внучка проснулась, рассматривает подарки, смеется, а ему и так хорошо, за окном. И не страшно, и хоть бы весь век так стоял, — не замерзнешь, не заledenеешь, только бы рядом с ними, с родными...

Так он думал с час, а может, и больше. Наконец время потеряло измерение. Снег то пел, то скрипел, то хрипел, утомляя своей податливостью бесчувственные уже ноги. Дорога длилась без конца. Сосновые посадки в мутной тьме. Слева. Потом справа. А потом опять слева. Одинаковые, неотличимые — будто те же самые, что и час назад.

Так он шел, а потом понял, что отмерзают руки. Водкой? Но водка для другого дела, надо довести. Он представил, что скажет потом: не вытерпел, хрен старый, вытрескал... Нельзя.

Он посмотрел вокруг себя: ни души. Он посмотрел вверх: километров десять пустого неба.

Бога он вспоминал очень изредка. Еще не подошла, наверное, та минута, когда обращаются к Богу с верой. Пока он вспомнил Бога как факт. Его от другого затрясло. Он увидел себя вдруг глазами сына. Когда сын найдет его завтра. Рот, замеченный снегом. Распахнутый кителишко, а на груди синий лев, колотый тонкой иглой сорок лет назад. Вигоневые мерзлые носки (не согнуть) выставились в небо... Завтра...

И он онемелыми уже руками отбросил сумку. Упал на колени и стал рвать наст негнушимися пальцами. И все внутри плакало — Васенька, В-а-асенька — жалело себя, уговаривало себя забытым детским именем. Хрустнули пальцы, резкая боль вспорола суставы, он обрадовался, руки оттаяли. Побежал, закинув на сгиб руки тяжелую

сумку, слыша, как мертво стучат боты «прощай молодость» по наледи.

Ровно к двум часам он согрелся. Прошло еще много времени. Метель схлынула. Огонек, указанный прохожим, то пропадал, то появлялся. Он шагал и шагал упорно к нему и наконец выяснил, что это простая звезда и ничего больше. Он плюнул и пошел в противоположную сторону.

Он опять смотрел на часы. И опять было два часа ночи. Часы, видимо, тоже от мороза заело. И тогда он только согласился, что дорогу потерял.

Теперь все было можно.

Он закурил, не бросая спичку. И пораздовался на этот огонек, обжигающий пальцы... Но водку себе пить пока не велел, не садясь, не останавливаясь, шел, экономя спички, прикуривая папиросы одну от другой, кричал в пустоту, с усилием разлепляя согревающиеся и сразу же замерзающие от влаги веки, стук в дверь, открывают, высовывается осторожно узкое женское лицо, шепот, вы ошиблись, да не может быть, уходите сейчас же, да некуда мне, думайте, когда отправляться в дорогу, мне бы обогреться, вы нас выгнали из дома, я не хотел, ах, не хотели, уходите, ваш сын давно спит, стук в дверь, никого дома нет, дома нет, нет, нет...

Где я?

Треск. Он очнулся и понял, что лежит. Лежит на спине, голым затылком на снегу. Может, от того и очнулся и сразу увидел над собой небо, красиво облепленное звездами. Звезд было очень много. Он не знал даже, на какую ему сейчас, в его положении, лучше смотреть. А потом подумал, а зачем смотреть-то?

Воздух над ним, толстый, прозрачный и мерзлый, просвечивал насквозь. Наверное, до самого дна. Воздух жег горло, а на лице его уже не чувствовалось. Вокруг ни вдоха, и будто нет и не было в здешней жизни никогда

ничего живого. Только грубый наст, стремительно оступающий спину. Только белые, острые точки наверху. Каждая из них была высоко... Так высоко, что было можно понять: он умрет здесь, поближе к утру, вне зависимости от красоты, размера, плотности и температуры звезд... Всего того, о чем когда-то, давно-давно, любил читать в ежемесячном популярном журнале, на который каждый год самолично и подписывался.

Ладно. Ну а зачем-то он все-таки переживал из-за братьев, из-за тех, кого находили и в научно-популярных журналах на соседних планетах время от времени, следил за каждым их шагом, вздохом, волновался, как о собственном сыне, пока там, в редакциях, не ставили на открытых братьях очередной крест? Зачем же он тогда ждал, поглядывая иногда вперед, откуда и взаправду исходило живое свечение?

Черные народы братались с народами желтыми и белыми — и никак не могли набрататься. Пролетарии всех стран соединялись и соединялись, но все у них не получалось соединиться наконец.

А он все ждал и ждал какого-то последнего, главного праздника. Всю жизнь ждал. А когда от того, что вокруг, ждать совсем стало нечего, он уж хотел было запить. Но опомнился, оглянулся...

На что же он рассчитывал?

Как на что? Что и он, своими, пусть малыми силами, в доступной форме приближает тот день, когда все разумные существа, точно пролетарии, бросятся друг к другу в крепкие объятия, и сразу станет полегче дышать и посытнее жить — и у нас, и у них там, на этих планетах.

Ознакомившись с какой-нибудь научной статьей, он взвивался под потолок — над серым, жалким бытом, и, твердо отложив очки, оттуда, с высоты, кричал:

— Вон оно что! А ты по этим вопросам, мать, еще противоречила! А оно — вон оно как! Нет, мать: не зря! Совсем не зря!

Хотя мать ему, конечно, ни по каким вопросам не противоречила. Она давно поняла, что мужикам голова вовсе не для дела дана. А как поняла, так и замолчала.

Нет, безусловно, думал сейчас он, космонавты вот-вот разыщут населенные, благополучно живущие планеты. (В этом результате он несколько не сомневался.) А наука, не оглянешься, разгадает устройство хорошего бытия и научится выручать из любого положения, даже и из такого, в которое сам он попал... Но когда, когда? Вот в чем вся загвоздка! Если один только свет от этих звезд идет 1000 лет, поразила его вдруг страшная догадка, то может, как раз через 1000 лет он только Земли и достигнет?!

— Эх, да провались вы там все в тартарары! — крикнул он в сердцах звездам, радуясь единственно, что саморазоблачений его теперь не услышат. — Какое тут, к чертям, выйдет братанье, когда вместо братанья одно недоеданье?..

Прошла всего-то минута. А может, и много больше, нога у него затекла так, что он подумал: отмерзла. Он дернулся всем телом, и под ним все заскрипело и запищало. И он, удивленный, сел. Все внутри вздрогнуло: под ним сломанный плетень.

Он встал. Встал и не обманулся. Впереди была деревня. Дома слева и справа, улица, ровные ряды. Господи, сколько ж близкого, горячего, незаменимого было в этих завалившихся, приземистых домишках, сколько же надо человеку, чтоб быть человеком...

А надо все время больше, надо, чтоб отдернулась на стук занавесочка, заперхал в теплой глубине недовольный хозяин и принялся, один за другим, отпирать и отбрасывать свои крепостные запоры.

Маленькое кривобокое окно в древней раме. Крепкие, целые стекла, а за ними как будто душная непроглядная тьма. Вот сейчас, в такую ночь, когда на дворе так трещит мороз, а там, за толстой теплой стеной поет, навер-

ное, разомлевший сверчок, — в такую ночь сладко ежится.

Постучал в стекло деликатно, суставом пальца. Молчание. Он постучал сильнее: «Эй, есть там кто живой? Да откройте же, откройте!..»

Ни звука. Тогда он пошел вокруг сенец. Снег закрипел под ногою по-чужому зло.

Вот, пожалуйста, колодец. Вот сарабушки какие-то! держит, знать, какую живность...

Только как это?! Почему снег не топтан?

— Черти, — сказал он преднамеренно весело, осаживая в себе что-то нехорошее, поднимающееся из самой глубины. — Черти и есть. Какое хозяйство бросили! А?.. А тут хрыч старый приперся, двери им расколачивает. А они-то... Они-то и не знают!

Снег оказался нетронутым и со двора, а в доме, это сразу стало ясно — не жили. Собственно, и дома не было: всего лишь крыша да три стены. Четвертая, задняя рухнула почти вся, и, по-видимому, давно. Крупные камни лежали вокруг, покрытые толстой коркой старого заскорузлого снега. Неровная, с острыми краями дыра будто выворачивала наизнанку внутренность двух крошечных комнат. Большая, серая, с закопченным зевом печь, полураздавленный диван, замеченный поземкой, на стене пара картонок под стеклом, — наверное, семейные портреты прижавшихся теперь друг к дружке людей, почернелых от мороза так, что нельзя уже угадать, кто там был: женщины, мужчины, дети?

Да и люди ли? Может, на этих портретах совсем и не люди?! — в конце концов испугался он.

Рядом, ближе к дыре, разодранная пополам школьная карта мира.

От лунного света было видно, как проходил гигантский разрыв — через мировые столицы, через неприкосновенные границы, знаменитые реки, высокогорные озера, через весь темно-синий океан. А там, где тонкие нити, опутавшие землю, сходились к нижней пуповине, —

там разрыв кончался, и правая половина, того и гляди, грозила отвалиться и загреметь по шершавой стене. Только ветру пахнуть, только спичке загореться — и все, конец карте мира...

На отставших от стены обоях он различил темные следы, размашисто выведенные кистью крупные буквы. Наверное, матерное слово какое-нибудь, подумал он. Хулиганистые теперь в деревне ребятишки пошли... Но разобрал, прочитал по слогам: «Слава...». Кому слава? Богу, что ли, тут слава? Зажег спичку и выяснилось: не Богу слава, КПСС слава.

Прежде чем отвести глаза, он себя остепенил. Он достал папиросу, размял, не позволяя в тот же миг побежать дальше и все увидеть. «Ну, на тебе, — шептал и шарил по карманам спички. — Умчались, глядите-ка... Да оно и правильно! Чем на краю, на отшибе-то жить... А я стучу, а я барабаню: и-е-есть там кто живой?! И-и-есть, как же...»

Соседний дом и рассмотреть не успел: дверь навывлет. Дальше. На другой стороне свернуты набок трубы. Дальше.

Дальше он едва успевал отдергивать руку: нет окон, пустые, без стекол рамы, рухнувшие ступеньки, выбитые двери...

Дальше...

Так прошел он домов двадцать или двадцать пять: задавленные льдом и снегом бугорки, позванивая, покрывали всю равнину, весь бывший божий мир, видимый и невидимый отсюда... Какими силами он еще двигался, Бог его знает. Неживое он уже чуял заранее. Он видел это неживое как себя давеча, глазами сына: вымороченным, твердым, омертвелым.

Хотя нет. Эти дома не выглядели покойниками. И эта мерзлая земля, скорчившаяся под черным куполом, вовсе не казалась мертвой. Видимо, случилось худшее. Ведь сказано в Писании: все обратится в противоположность. Вот оно и обратилось. Только планировали в одну про-

тивоположность. А вышло совсем в другую. То, что было когда-то землей, медленно двигалось теперь, шевелилось рогатым панцирем. То, что было домами, напоминало сейчас какие-то синие тела: в их жилах медленно пузырилась кровь, но кровь холодная, черная...

Он присел в развороченном здании на целый стул и принялся молиться, трясаясь и плача. Молился-молился, да тут же и понял, что все настоящие молитвы за долгую жизнь перезабыл, остались одни обрывки; искал бессловесными глазами в небе, между мертвых звезд... В небе было пусто, как в поле.

Высоко-высоко болталась какая-то серая будылка. И та пополам переломанная — ветром или колесом...

Слава советскому народу. Слава! Слава! Слава!

Слава тебе, Господи. Ура! Ура! Ура!..

И еще орден Славы третьей степени. Но Славу не дали, документы, сказали, не дошли. Тогда Славу заменили пайкой хлеба сверх нормы. Слава была — об дорогу не расшибешь. Кишкодер, а не Слава. Но наелся. Забылся. И ничего...

Его опять потянуло курить. И он опять шарил по карманам. Раз, другой, третий.

Спичек не было.

Спичек не было. Пыльный, острый от мелкого сора ветер в последний раз ударил под дерево, задрал, завернул зашумевшие листья, загасил огонь едва разгоревшегося костерка. И тут смолкло. И в тот же миг вся его рубашка промокла от тяжелого, неожиданно густого дождя. Дождь будто бы разрывал крону на мелкие части, так заполошно трещала листва старого дерева, пропуская на голову без задержки всю скопившуюся небесную влагу.

Коробок был пустой, а теперь и мокрый. Он отбросил его в траву и стал разглядывать отмытые, слегка нывшие ступни. Они распухли, покраснели, двадцать пять верст не дались им даром... А двадцать пять еще впереди...

Зачем он тогда отправился в дорогу? Может, узнал, что вернулся с заработков отец? А может, кто послал с письмом или просьбой?.. В размытом дождем воздухе он различил что-то темное. Это была подвода, его забрали на полпути, довели до села, он помнил еще, как вдруг резко кончили пузыриться канавы, дождь упал весь, тучи будто сдернуло за горизонт, и загорелось солнце, выпаривая медленно воду из его одежки... Потом был какой-то незапомнившийся бред, и он проснулся уже на руках у отца. Болело все тело, особенно ноги, ступни. Но было смешно, не открывая глаз, чувствовать, как отец его будит, поводя ласково кончиками усов по его носу. И тут уж не выдержал он, поднял тяжелые веки и все сразу близко увидел: и эти пышные каштановые усы, и большой облупившийся от солнца нос, и беззвучно сияющие голубые глаза... Отец что-то шепчет. И ласкает, ласкает шершавой ладонью его ноющие ноги... Потом как в тумане: крепкий, здоровенный, в расстегнутой косоворотке отец, кричит чего-то весело и носит мачеху на руках... Тут провал какой-то. Дальше он не помнит. Дальше его, кажется, лечили.

Лечила мачеха. Она была, в общем-то, хороший человек, когда не кричала.

А потом, через двадцать лет, принесли телеграмму. Он приехал, а отец был живой, все такой же смеющийся, голубоглазый. Он радовался, что так ловко всех надул и все вышло как надо! И застолье, и сыново начальство не взыщет — предлог есть. Телеграмма? А шут с ней... Иначе ведь, как на поминки, не дозовешься...

И еще раз, через пять лет, принесли телеграмму. И опять отец был живой, только сильно усохший, но глаза сияли последним светом...

А потом не было больше телеграмм. Пришло письмо от соседей, с опозданием на месяц. Там сообщались подробности. Перед самым концом он не мог уже подниматься, и мачеха его... Она стегала его мокрыми штанами и исподним по голове, по лицу, по глазам... Ему мерещи-

лось потом много лет подряд, что глаза и тогда, и тогда сияли.

Он вскрикнул. И от того очнулся, чувствуя, как что-то горячее, нестерпимое льется по щекам и заливает губы.

Он встал и пошел. И упал. Рук будто не было, упал лицом в обмерзший порог, кровеня носом заledenевшее дерево. Встал. Пошел. Кровь — красная на белом — привела в себя. Надо было идти и опять стучать во все окна и во все двери.

Прошел год. Прошло сто лет. Прошла 1000 лет, когда он добрался до крайних дворов. Стук в дверь, отворите, скрип половицы в сенцах, узкое белое лицо, никого дома нет, не могу больше, идите своей дорогой, я ваш отец, пустите, вы не отец нам, а кто же я, вы никто, я умираю, умирайте, дай хоть на сына посмотреть, вашего сына здесь нет, сын не помнит вас, пустите, зачем вы ему нужны, мы сына съели и тебя съедим, пустите, загорается свет, пустите, я буду жить в сенцах...

Он не поверил, что за стеклом загорается свет.

Что-то заскрежетало и затихло, потом ругнулось шепотом, и дверь с грохотом распахнулась. Теплый пар ударил в лицо. В низком проеме двери, на фоне чудовищного черного неба, покачивался пьяненький старичок в белом. Покачивался так, словно вышел по нужде. А ведь мог и не выйти!.. Но он беззубо улыбался уже и говорил что-то...

— Чего?

— Говорю, давай закурим! Закурим, говорю, давай... Есть у тебя свое курево?

...Наутро в деревянной комнате стоял наполненный бутылками и закусками стол. Сосед, что спас его, уже ушел, хорошо принявши и от того раскосев мокрыми глазами. Но уходил веселый. Гордый тем, что вот так вне-

запно и счастливо всем пригодился. (Он им, конечно, не проговорился, что дверь бы не открыл, если б не экономия курева; да и сын, конечно, промолчал, хотя знал: сосед свои никогда не курит.)

А отец лежал счастливый под тулупом, с перевязанными руками и тихо слушал радио: как оно гремит маршами посреди солнечного утра, наверное, празднуя какой-то светлый праздник. А какой, он сейчас не помнил, а до календаря, украшенного красивыми красными звездами, отсюда, с большой громоздкой кровати, не дотянуться. Потом пел хор протяжно, мелодично, и с хором было спокойнее: плакалось как-то само собой, и не было стыдно, потому что в деревянном доме он был один... Плакалось же потому, что понял он, что разобрал наконец все-все. На большой скорости, под грохот и заливыстые гудки проскочил он свой перегон и полустанок, а опомнился, да поздно: кончился перегон, кончился. И он даже разглядеть и то не успел: где его? какое его?

Хлопнула дверь. Он быстро вытер щеки одеялом. Вошел сын — высокий, сутулый, крепкий. В руках его отцова шапка — окаменевшая, забитая снегом. «Ну, ты даешь... — сбрасывая валенки, сын неторопливо ругал его. — Всю деревню исколесил — я прямо по следам и прошел, а в нашей деревне на сорок дворов мы да два соседа остались... А нет бы телеграмму: так, мол, и так...» — «Ты что?!» — «А ты что? Трудно было — «выезжаю, встречайте?»»

Сын выключил радио, разлил по стаканам, сел. Посмотрел на отца грустными глазами, его беспокоили руки, хотя доктор сказал, что ничего, обойдется...

Отец смотрит на сына. Он понимает его мысли. Он чувствует, как хорошо, уютно лежать под тулупом и одеялом, и вспоминает почему-то про соседа и плачет не таясь, открыто, захлебываясь.

— Знаешь, что он... мне сказал, когда дверь открыл?

— А-а... Про нас что-нибудь?! Да не верь ты ему, болтуну старому...

— Ничего, ничего... Ладно... — Отец понял, уже понял, что про это нельзя говорить, этого до времени никто понять не может; он уже закончил, справился с собой полностью и как бы даже улыбается: — Слушай! Давай закурим?.. Закурим — и все. И больше человеку, выходит, и не надо...

Мерно работает печь, накаляя комнату. От жара новая деревянная обшивка становится сухой, белой, легкой, вот и сейчас, время от времени, что-то там, в досках, негромко всхрипывает, потрескивает, лопается. Он долго смотрит в светлый тонкий потолок, отделяющий его от черного старого неба. И засыпает. И снится ему ночь. И будто хрипит все страшней и страшней потолок, будто трещат перекрученные доски, будто хрустят бálки, стены, крыша, и вот уже вниз лезут с визгом к нему бессмысленные, страшные звезды...

Он просыпается. Вокруг день. Рядом сын. Слава.

Две пронзительно злые холодные капли сорвались с мокрого дерева и, одна за другой, попадали Николаю Ивановичу за шиворот. Николай Иванович чуть не вскрикнул. Однако, как всегда, сдержался. Лишь поднял жесткий воротник драгенького пальто, поежился, но и напрасно. Капли устремились по спине, вниз, к брюкам; тело его как будто что-то вспомнило, инстинктивно дернулось. И сделалось так муторно, так погано на свете, что ни до чего: ни до погожего ноябрьского денька, ни до вон той растрепанной воробьиной, бестолково притопывающей посреди окаменелой грязи, как его дура жена, Прасковья Демьяновна, ни до соседа старпера, твердолобного догматика Шамрикова, который жужжит, словно безмозглая муха с утра, тем и составляет ему в этом скверике компанию.

Конечно, по паспорту, они оба были старперы. Николаю Ивановичу за восемьдесят. Шамрику (как он его про себя звал) еще даже на два года меньше. Но чем внимательнее к нему приглядывался Николай Иванович, тем понятнее становилась его внутренняя сущность. Нет, нет и нет! Хоть они и в одной ячейке состоят, хоть и прикреплены к одному магазину, а убеждения у них разные, принципиально разные!

Может, дело было в том, что Николай Иванович два раза посидел, а Василий Васильевич Шамриков всего только раз? Однако ведь на жизненном пути ему встречалось немало товарищей, которые не сидели вообще ни разу, но взглядов всегда и во всем придерживались пра-

вильных. А с этим чуть что, уж он вроде попугая: «Это шаг вправо!», «А это шаг влево!», «Это забеганье!», «А это отставанье!» Да пойми ты, баран твердокаменный (последнее снисходительный Николай Иванович произносит не вслух, опять же для себя): это все вопрос большой политики, а не твоего маленького ума дело. Партия кому сказала: даешь кооперацию? Партия кому говорит: ждем поддержки? Партия кого раз за разом зовет культ личности разоблачать? — Николай Иванович торжествующе оглядит всего соседа Шамрика, включая явно чуждые его возрасту мальчуковые ботинки, и закончит громовым голосом, то есть на высокой ноте. — Да нас с тобой она зовет, голова! А ты засел и сидишь в хвосте у авангарда!

Если случится при их споре третий старичок по кличке Нуль (трижды сидел, первый раз как не подтвердившийся впоследствии функционер промпартии), то он только ахает от ужаса, ловит воздух беззубым ртом. Ему очень хочется участвовать в таком принципиальном разговоре, он только не знает: к какой бы ему идейной платформе примкнуть, и страшно боится, что поспешит и примкнет опять не к той?

А Шамрик ничего не боится. Он кричит как резаный на весь город Барденевск, вроде его никогда в этом городе и не сажали:

— Вот помяни мое слово: им только дай коготком ступнуть, так они на культе не остановятся! Только распусти поводья, они возьмутся и за самого!

— Да кто они? Да за кого самого?

А Шамрик с улыбкой вредительской:

— Са-а-ам знаешь, за кого!

Плюнет Николай Иванович в сердцах и ногой размахнет. А над их головами в этот момент, например:

— Здравия желаем, товарищи сталинисты! Что, опять тайные заговоры плетете? Опять захотелось на Колыму?

Пока-то поднимет Николай Иванович глаза в негодование, а волосатики пырх, от них уже и след простыл...

В последние месяцы Николай Иванович начал заме-

чать, что к нему все чаще стали открыто обращаться как к непосредственному сталинисту (и не только эти проклятые волосатики!). Это было неправильно. Даже в корне неверно. И дело не в том, что он десять лет отбухал (там, у параш, так и так: все, как один, равны). Дело в том, что Николай Иванович полной правды еще в лагере, своим умом достиг. Он лишь молчал и ничего не говорил, даже если его о чем-нибудь спрашивали. А вот когда съезд состоялся, тогда Николай Иванович был уже готов. Он как услышал сообщение, только головой утвердительно мотнул: мол, понял, я понял, давно все понял!

Он понял, что этот отщепенец их всех-всех подло предал. Предал безжалостно и коварно. Причем сразу все подряд — и теорию, и практику предавал. Он народ уничтожал, а народ, как дурак, ему во всем буквально верил. Он проводил в жизнь свои ненавистные тайные планы, а партия, не зная ничего, считала его за это (неоправданно!) стойким и верным учеником.

Но что прошло, того, как говорится, не воротишь. Теперь перво-наперво требовалось отчистить себя полностью от всего наносного, восстановить, как полагается, честное имя и, не рассусоливая, с новыми силами приналечь в новый кон.

Он так и сделал, едва его выпустили во второй раз.

Жил и работал Николай Иванович так, что и не заметил, как пролетели годы. Вырастил и поставил на ноги сына, Сережу, и он занял в Москве хоть и небольшой, но видный пост. Верная спутница пролетарка Клавдия Андреевна, с которой они пятьдесят лет (за вычетом отсидки) плечом к плечу и душа в душу, скоростижно покинула его на семьдесят шестом году своей кристально чистой жизни. Когда схоронил Клавдию Андреевну, приехал с кладбища, тогда только и опомнился. Жизнь прошла, как будто положили ее с Клавдией Андреевной в один красный гроб... Сел Николай Иванович, наклонил седую голову (да так, что потекли горючие слезы в колючие усы и в рот), и тут к нему, пользуясь моментом его минутной

слабости, и прокралась эта самая Прасковья Демьяновна.

Прасковья Демьяновна по происхождению была из деревенских, и случилось то, чего он больше всего боялся и подозревал. Сначала как было? Ну, прибилась к нему бессловесная побирушка, сказавшись, будто ее совсем бросила дочь. (Что с нее взять, жалкое существо, забитая, опять же косенькая.) Но, как выяснилось впоследствии, промахнулся: Прасковья Демьяновна была не какая-нибудь, она оказалась из раскулаченных. Правда, раскусил он ее не сразу, а как расписались, и то через год.

Первый месяц Параша вела себя смирнее мыши, потом начала наглеть, пока ему на шею не влезла. А как влезла, так сразу уж и рот разевать! У нас в семье, тихо так сначала говорит, никакого насмного труда не имелось. Одна прялка, две коровы да лошадь, а вы, говорит, нас за это в Караганду. Наш папаша не кулак! Наш папаша даже наоборот делал. К нему босяки: возьми, Михалыч, мою землю, обработай, а мне исполу, чистым отдай! Так, врет Прасковья дальше, ее папаша и поступал. Возьмет землю, вспашет, посеет, уберет, обмолотит (пока босяк кверху пузом на лужку валяется), а осенью придет босяк, папаша чистым зерном ему исполу: на!

В другой раз Прасковья врет, как понравился ей один рабочий Василий (и якобы даже он в любви объяснился ей), а потом, как ребенка сделали, да как стали Парашино семейство выяснять, первым от нее отказался и со страха в город удрал.

В ответ на эти вражеские вылазки у Николая Ивановича вставало все нутро дыбором. Ни в одном грамме не смогли провести его эти кроткие Михалычи, которые готовы были все свое зерно сожрать, лишь бы не доставалось оно оголодавшему в тот момент пролетарьяту. А Прасковья (он тогда обедал), бессовестная, как ляпнет:

— А вот бы какой голодный в дом сейчас ворвался? Да за вашу тарелку без разговоров — цап? А стали бы кричать, он бы всю вашу еду перепоганил, а за крик за ваш еще и подбил бы Николаю Иванычу глаз?

Николая Ивановича, помнится, чуть не тошнило, до того он живо представил, как какой-нибудь бродяга лезет в его тарелку с борщом грязной рукой.

— Вот оно! Вот оно как? — классово торжествуя, косила обоими глазами раскулаченная Прасковья, пока он, свернувшись на кровати калачиком, приходил в себя от ее слов.

С тех пор Николай Ивановича всегда тошнило, как только Прасковья Демьяновна заводила на эту тему разговор.

Нет! Он бы чикаться не стал! Он бы давно эту косую в шею, одна только его собственная политическая дряблость так поступить не позволяла. Он всегда делал невпопад: бывало, последыша кулацкого, от семьи отставшего, прикормит (его бы за Полярный круг, за всем осиным гнездом вслед, а у него от одной мысли все внутри переворачивается). Его товарищи за это с издевкой Николаем-угодником прозвали. Они ему: может, еще этого ягнока усыновишь?.. Усыновить не усыновил, а голодной смертью сдохнуть не дал, пристроил в городе, тот пошел-пошел и, говорят, даже не хуже Сережиного получил образование... А другой случай был: за бывшего товарища, дурак, заступился. Того за вражескую деятельность закатали аж на Соловки, а перед этим Николай Иванович возьми да вякни на собрании: мол, не верю! Ну, не веришь, Свиридов, тогда ступай вслед за ним! Там тебе все как следует, Свиридов, объяснят! Так он и загремел в первый раз. А во второй, это уже после войны, его обратно на слабости поймали: пожалел, понимаешь, прописал на своей площади еще одного бывшего товарища вдову (то есть опять проявил недопониманье). Придрались к другому, правда, вlepили десять лет, отсидел пять, — спасибо к этому моменту успели самого вождя народов разоблачить...

А то было Николай Иванович последний разум потерял. Шумнет кто из охраны ему в шутку на ухо: что, этот и этот тебя к убийству Сталина подбивали, да? Нико-

кодай Иванович весь затрясется и, не глядя, уже кричит: да! да! да! А охрана рассмеется только, бросит его: что, дескать, с такого взять, если не человек, а один шкелет угодника остался!..

Сидит Николай Иванович в центре города Барденевска в скверике, жмурит на солнце изношенные глаза, потом задремлет и вдруг начинает прошедшую жизнь как чужую представлять. Все время кого-нибудь разоблачали. Какие помельче, тех обычно еще при жизни к ногтю. А какой в вожди пролез, того ждут, когда помрет. Терпят, как правило, тянут время. Один Никита прошляпил, ему бы прижать покрепче хвост, и вон, как Сталин, по югам не разъезжать. Так бы, глядишь, и пересидел. И разоблачили бы, как человека, посмертно. Не вышло у него, сорвалось. Да еще и неизвестно, как нынешние вывернутся...

И вдруг Николай Иванович опускается во сне еще на полступеньки, и ему начинает явственно видаться, что все это не просто, не само собой каждый раз случалось — за всем этим находится, наверно, какое-нибудь монолитное единообразное устройство. Николай Иванович много устройств перебрал и перещупал своими руками (начинал ведь с заводских механиков, это потом только его на деревню кинули, прежде чем на руководящую работу двинуть). Одни устройства склепывали, сваривали, слепливали, — словом, соединяли. Другие, наоборот, как топор: дробили, рассекали, расчленили — и другой работы не могли производить... То устройство, которое привиделось Николаю Ивановичу, было поставлено на особый почет и высоту. И потому все время требовалась ему хоть какая щелочка, хоть какая трещина. И не чтоб склепать эту трещинку или щелочку заклеить, а чтобы всунуть в нее лезвие на всю длину — и разворотить, а лучше — надвое развалить. Ясно, такое изобретательное устройство не могло простаивать без пользы ни минуты, и тотчас ему искалась новая щелочка, а когда не находи-

лась, брался первый попавшийся паз, зазор, на крайний случай шероховатость, а коли даже шероховатости не попадалось, тогда ее чертили, предварительно, на бумаге карандашиком — чтоб только провозглашенное правильное устройство оправдывало и оправдывало себя без передышки. И вообще, коль уже сговорились и при всех поклялись, что это устройство неизмеримо выше прочих, то прочие ни в какое сравнение пойти не могли. А если шли, то себе во вред, поскольку превосходство невооруженным глазом надлежало видеть. И уж видели, да как видели!

Причем, как сейчас в страхе ощущал Николай Иванович, данное устройство, получив людей в бессрочное пользование, вышло из-под контроля и ворочало давно ими помимо их воли; едва у них, у людей, замечались в очередной раз признаки оцепенения, движения их замедлялись, глаза стекленели и потухали, из машинного отделения тотчас сам собой начинал нарастать стук, немедленно переходящий в грохот, переборки трещали, и опять (с целью взбодрить то и дело впадающих в летаргию) принимались выискивать щелочки, дырочки, отверстия и шероховатости (таковые, конечно, на крайний случай!)

...Картины меняются, и он как бы проваливается еще глубже.

Теперь Николай Иванович представился себе в виде рыбы, и вроде та рыба издыхает, находясь в зеленой тьме, под толстым льдом. Лед, между тем, вполне прозрачный, и он видит, как равнодушно двигаются чьи-то здоровенные подметки туда-сюда. Николай Иванович разевает рот, но голоса рабьего не расслышать, да и кислорода уже в воде ни капли нет; Николай Иванович разевает рот еще шире и тут понимает обрадованно: его заметили, заметили и начинают принимать меры к спасению! Пешни вонзаются в твердь, вот-вот твердь проломится, и он вдохнет наконец полной грудью; все внутри у Николая Ивановича радостно дрожит, грудь свистит, хрипит; Николай Иванович, ликуя, тыкается в твердое. (И уже теперь порядком раскровянил всю морду). И вот

тут-то его прежигает как электричеством: боже ж мой, думает Николай Иванович, просыпаясь, ведь если мы чем и спасемся, то тем же самым и погибнем?..

Николай Иванович пришел в себя и ужаснулся своим мыслям. Так далеко он еще никогда-никогда не забредал. Ладони его сделались липкими, будто он, позабывшись, примерился уже к чьей-то шее топором, но... опомнился вовремя, поймал себя за секунду до преступления.

Николай Иванович заозирался. Вот же они, его надежные боевые товарищи, Нуль и Шамрик. Вот сквер со шныряющей туда-сюда озорной, но отличной молодежью. А вот их чудесный магазин, который откроют через пятнадцать минут, и они отоварятся, выкупив паек ветерана.

А пока Николай Иванович находился в анабиозе, Шамрик воспользовался случаем и откровенно (правда, торопливо) разглагольствовал. Дело в том, что Шамрику посчастливилось служить в кремлевской охране: Николаю Ивановичу он про это всю голову продолбил. И если рядом оказывался новый человек и если Николай Иванович терял бдительность, Шамрик со своими рассказами тут же набрасывался на этого человека. В данный момент ему попался Нуль, длинный, трусливый, полубезумный старик с гегелевским профилем, пораженный шестьдесят лет назад в правах, и пораженный намертво (с тех пор его неоднократно в правах восстанавливали, но он, может быть, об этом и не догадывался — во всяком случае, это не сыграло никакой роли).

Нуля не звал никто ни по фамилии, ни по имени. Было такое впечатление, будто его не совсем, не окончательно освободили, и Нуль, хоть и пользовался льготным спецпайком, но вел себя так, как бы находился в побеге. Не проходило и месяца, а уже Нуль ночевал то в городском, то в линейном отделении; появится в городе свежий милиционер (старые-то уже не знали), взглянет толь-

ко на Нуля, и ему ясно с первого взгляда: если жметя, чешется без конца человек, испуганно озирается, следовательно, можно брать — наверняка крупный вор (они ведь часто именно с этими профилями).

И вот этому замечательному собеседнику Шамрик и пересказывал сейчас бегло мемуар.

В его мемуаре имелось три события. Первое, как он однажды на политзанятии перепутал двух Николаев Ивановичей, и с ним за это ничего не сделали, Шамрик уже успел пересказать. Вторым номером шел случай, когда Шамрик в кремлевском дворе чистит снег деревянной, окованной по краям лопаткой, поднимает вот так глаза — и ба-а-аюшки! Видит Шамрик в двух шагах от себя: сам вождь морозным вечерком по Кремлю прогуливается. Где-то, видать, охрана поотстала, и в результате: вот так Шамрик с лопаткой, как согнулся, так никогда и не разогнется, а вот так он, сам, сапогами скрип-скрип. И в этот момент рассказа (Николай Иванович все наизусть заучил) малоумный Шамриков внук делает обычно предположение, что Шамрик в молодости очень удобный момент упустил: ра-аз лопаткой, и по голове! На что у Шамрика округляются и стекленеют глаза, и он всем телом Нулю показывает, как вжался тогда с лопаткой в Кремлевскую стену, и оттуда, из стены, делится теперь возмущением.

— И я тогда внуку сказал так: ма-аладой чел-ло-век! — со сдавленным благородством шепчет Шамрик, едва вождь народов его миновал, в какой уж раз обдаив бесценным дыханием. — У нас, да будет вам известно, была хоть какая-то совесть и хоть какие-нибудь принципы. И мы все были идейными в отличие от нынешних. А если б мы хоть в мыслях про лопатку допустили, сегодня б па свете, молодые люди, недосчитались многих из вас!

Нуль в ответ, не говоря ни слова, теряет сознание. Но у Шамрика все с собой, и он пользует Нуля из своей походной аптечки. И как только этот больной чело-

век (с белым лицом, изгвозданным теперь по брови нашатырным спиртом) приходит в себя, нетерпеливый Шамрик тотчас обрушивает ему на голову третий случай. В третьем случае Шамрик, назначенный в наряд, заворачивает так вот за угол Кремлевской стены (вместе с товарищами по службе) и здесь, нос к носу, сталкивается с Лаврентием Павловичем. Охрана Берия так растерялась, что получилось действительно нос к носу. Шамрик, например, всей кожей помнит, какой был мягкий Бериев живот.

По-хорошему бы их за это должны были пристрелить на месте (хоть они, естественно, всем нарядом тут же викались в Кремлевскую стену). Тем более, догадайся Лаврентий Павлович (либо кто из его охраны), что у Шамрика и его товарищей пистолеты заряженные в кобурах лежат, их бы, конечно, кокнули не задумываясь. Они и потом не сомневались ни минуты, что им этот случай не спустят... Однако народному комиссару было не до того.

Произошел абсурд. Их не расстреляли.

— Да как же так: не расстреляли! А? — вроде бы даже сокрушается болван Нуль (а голос у Нуля такой, будто он его на нарах отлежал).

— А то как же. Ага! — встревает вѣдливый Николай Иванович. — Не то ты не видишь: шлепнули и по камням размазали. И вот теперь Шамрик за пайком от самой стены приполз.

Шамрик смотрит на Николая Ивановича. Николай Иванович на Шамрика. И оба они (не сговариваясь, конечно) думают: а что, если прав этот дурацкий Нуль, и то, что они случайно живы и что их, восстановив из лагерной пыли, прикрепили к магазину — что, если это все плод организованного спецсознания?.. Не точно этими словами, но приблизительно так оба и подумали...

Но только Шамрик наладится продолжать, Нуль говорит опять голосом мечтательного полудурка:

— А вот если б вас в том самом месте шлепнули, то наверняка бы схоронили в Кремлевской стене!

И тем самым окончательно сбивает Шамрика с толку. А ведь Шамрик должен был всем трем случаям резолюцию дать. Резолюция обычно дается такая: если из трех раз Шамрика не шлепнули ни разу, значит, он живой пример исторической правильности выбранного культа. В то же время, что также прямо вытекает из резолюции, Шамрик есть ходячая отповедь всем клеветникам на массовые репрессии народной интеллигенции, взятой вместе и одновременно с трудовым крестьянством.

Когда Шамрика заносит вот так, Николай Иванович его самым грубым образом осаживает.

— Что ты буровишь? — очень просто спрашивает он Шамрика. А смотрит еще проще: как на классового врага.

— А что я? А что?! — начинает сразу шариться Шамрик в громадном пальто, доставшемся ему недавно от племянника.

— А то, что есть уже сигналы: ты поперек линии все время прешь! — обижает его (для остротки) взглядом Николай Иванович.

— Я!..

— А не то я! — вгоняет он по шляпку гвоздь. — Смотри, парень, допрыгаешься, такую тебе глубокую демократию покажут, забудешь, как маму с папой звать!

Шамрик кряхтит, обдумывая, при каких же это обстоятельствах подобное сможет с ним случиться? Нуль, как обычно, испуганно молчит. И Николай Иванович помалкивает.

Напротив, через дорогу, открывают наконец с лязгом двери. Проверяя наличие документов и постукивая налками, они входят в магазин гуськом.

— О! Старая гвардия! И до сих пор строим, как учили! — из-за прилавка им кричит цыганистого вида

молодой продавец Николай, который их обслуживает уже лет десять. Казалось бы, они старые-престарые знакомые. Николай Иванович (под хорошее настроение) совет его даже не иначе как тезкой. Однако опять Николай Иванович в последнее время замечает: Николай в их адрес все более дерзкие вещи говорит. То кольнет, что Сталина проворонили, то прицепится, якобы они, как Иваны Сусанины, завели страну в болото.

Николай Иванович старается теперь не замечать колкостей, списывая их на большую разницу в политической культуре. Но сегодня продавец Николай повел себя как малахольный, при этом абсолютно неуправляемый. Разрубая мясо своим страшным топором, он скалит зубы, первно как-то смеется, а взвесив кусок, бросает его так на прилавок, что крошки в стену летят.

— Ну, что, отцы-командиры? — кричит им, как глухонемым, Николай и обидно ухмыляется. — Скоро ли кончится ваша власть? Скоро ли наконец доедите вы свое мясо?

— Эй, полегче, мясник... — ошетинился Шамрик.

— Чего мясник? Кто мясник? Это я вам мясник? — навалился Николай всем телом на топор с широким лезвием. — Это вы мясники, курва, бля...

И полез, с белыми глазами, на прилавок.

На крик из подсобки выскользнула маленькая опрятная женщина в белом, за ней какой-то небритый в грязном халате; они ухватили Николая за грудь и за локти, а тот рвался и кричал:

— Это я им мясник? Я? А когда они войска в Афган вводили, я им еще тогда говорил, про что теперь даже в газетах пишется! А меня с пятого курса вышвырнули за эти слова... Пусти! Я им объясню, чего они построили! Я им покажу мясника!

Николая увели. Но он и из подсобки кричал: «Собаки бешеные! Палачи! Какой народ загубили!..»

У маленькой женщины тряслись губы, но она собирала быстро-быстро какие-то пакеты, брикеты, консерв-

ные банки и умоляющим голосом Николаю Ивановичу лепетала: «Спокойнее, дедушки, спокойнее! У него, может, несчастье, я прямо не знаю. У него, может, чего случилось, а вы так...»

— Ах, это мы так! — лопнуло терпенье и у Николая Ивановича. — Это мы опять во всем виноваты!.. Да не суйте вы мне, пожалуйста, эти банки! Забирайте свои поблажки себе! Я не за тем, в конце концов, жил, чтоб и на старости лет из-за пайка дрожать!

И он христнул в сердцах о мраморный прилавок палкой. И палка тотчас развалилась на две неравные части. (А хорошая была, искусной работы, сын из Германии на семидесятилетие Октября прислал.)

Брел домой, заметно припадая на больную ногу. И чаял только не протянуться на тротуаре. Где-то высоко-высоко звенели детские голоса: «Ой, смотри-смотри, дедушка пьяненький бежит!» — «Сейчас ка-ак брыкнется и будет вверх тормашками лежать...» — «Как мой папа!» — «Нет, как бабушкина свинья!..»

Придя домой, Николай Иванович не сказал ни слова и первым делом указал Прасковье Демьяновне на дверь. Она как будто этого только и дожидалась, ткнулась птичьей головой в вылинявший передник и там, в переднике, беззвучно затряслась. Николаю бы Ивановичу позвать ее, хоть в последний момент проститься, но как змеиное яйцо раздавил он в себе мелкое предательское чувство. Прасковья Демьяновна плакала и глядела на него, когда закрывала за собой дверь; а он того взгляда и не почувствовал, сунул таблетку под язык и застыл под солдатским одеялом на кровати.

Завалившимися глазами он бессмысленно следил, как старинные ходики неумоимо кидают туда-сюда медный почерневший маятник — между двумя овальными профилями Ленина и Сталина.

То есть, собственно, Сталина не было (этот барельеф дисциплинированный Николай Иванович снял сразу после съезда). Но темный круг выелся и остался; он зиял

в стене неглубокой ямкой (как бы на месте вытекшего глаза). Серая, грубо оштукатуренная стена без глаза смотрела на него так, что у Николая Ивановича заломило в низу живота.

Маятник отмерял точные порции страданий, обрушиваясь исключительно либо налево, либо направо. Теперь уже, слышалось, старенький часовой механизм пиликал: Николай Иваныч, Николай Иваныч, Николай Иваныч!..

Николай Иванович оглядел скорбным взглядом свою комнату. И впервые, кажется, обнаружил, как она убога. Пад кроватию, в ногах, висел устарелого образца плакат, закрывавший как раз то место, где штукатурка отвалилась. У окна стояла растопырка — этажерка (со всеми речами и собраниями). Пара неудобных довоенных стульев (с прямыми спинками) у двери. Маленький столик под изрезанной клеенкой. Фанерный шифоньер с мутным зеркалом (на зеркале выцарапано: «Папа! С новым счастьем!») В углу Парашин сундук с самодельным покрытием. А над сундуком, вверх, располагались Парашины «боги». Их Николай Иванович регулярной железной рукой свергал, а настырная Параша возводила, спустя день, обратно на возвышение. Когда Николай Иванович особенно сильно наваливался, Параша просто плакала и просила ей хоть уголок в жизни оставить; слабый, податливый Николай Иванович останавливался в растерянности и на время отступался.

Словом, комната имела специфический вид; ее словно бы изрядно били и в конце концов повытрясли душу. На каждой вещи имелся след таких физических мучений, что становилось кое-что понятнее и в самом хозяине.

Узкая и жесткая кровать с железными колесиками как бы все еще устремляла его по инерции вдаль, по направлению к заманчивому горизонту. На плакате, на фоне мощной кукурузной массы, было некогда написано про цель, к которой Николай Иванович взволнованно следовал все годы — сначала открыто и смело, а затем тайне от домашних, вроде чего-то стесняясь или сты-

дьясь. Теперь цель было сложно разобрать, настолько выгорели буквы. Надпись почти растворилась в окружающей действительности, как растворяется облако эфира: под воздействием циркуляции свежего воздуха либо от влияния густых земных паров...

Николай Иванович нечаянно заснул и во сне часто-часто задышал, не в силах одолеть давящей тяжести. Лед проломился наконец. И, бултыхнувшись, пешня процарапала Николаю Ивановичу всю голову.

И тут ему, вне всякой связи, стало сниться, как их, троих или четверых зэков, поставили вскрывать могилу одного лагерного начальника.

Называлось это по-научному эксгумацией. А по-людски: приспичило кому-то в Москве проверить, естественной ли смертью начальник сдох или его свои и шлепнули?

Эх, да чего же было проверять! Вскрыли гроб, а там вроде никогда человека и не было: колыхнулось и потекло из гроба как из параша...

Сняли шапки, постояли с минуту, как принято. А один из них, пожилой зэк (бывший спец из Киева), их всех поразил.

— Я человек неверующий, но это... — он даже рукой махнул для наглядности. — Это всего сильнее убеждает. Человеку вновь придется в Бога поверить — в том одном спасенье!

Николай Иванович после долго не мог на парашу смотреть. Как псих, зажмуривался сначала, а потом садился...

Дверь скрипнула. И от двери тихим, но настойчивым голосом спросили:

— Свиридов?

— Я! — вскинулся на кровати Николай Иванович.

— Ваша фамилия Свиридов?

— А вы за мной? — И у Николая Ивановича сами собой опустились ноги на пол.

Но это был сосед с нижнего этажа (и, кажется, учитель). Он открыл свой, похожий на черный корсбок портфель. И молча подал поздравительную открытку — от Сережи, ее случайно опустили не в тот ящик. Сосед как-то формально, торопливо поздравил его с наступающим праздником. Буркнул что-то невнятное на прощанье, а Николай Иванович заметался, каким бы его вопросом задержать.

— Эй, товарищ, товарищ! Стой!.. Вы, по-моему, в партии? — не найдя ничего иного, строго в рамках устава поинтересовался Николай Иванович.

— Да, — несколько насторожился сосед. — Я член партии... А что?

— Тогда, можно, я вас спрошу... как члена партии?

Сосед замялся. И Николай Иванович презрительно подумал: если он еще спросит: «А зачем?», то действительно незачем. Но сосед протер очки и сказал: «Можно».

— Тогда так. Первый мой вопрос, — наставил на него Николай Иванович дрожащий палец. — В чем вы сейчас видите революционный пафос эпохи?

Сосед улыбнулся краешком губастого рта.

— А что?

— То есть как что?

— Я говорю: что, без пафоса уже пожить нельзя?

— Так-так... — сказал как бы рассеянно Николай Иванович и тут же дал залп с другого борта. — А вы лично верите в учение Маркса-Энгельса-Ленина?

Сосед задумался. И надолго. А Николай Иванович знал, что задумается. У этих не то, что у прежних. У прежних (таких, как Николай Иванович) и на все трудные вопросы только от зубов отскакивало. Правда, сейчас Николаю Ивановичу иной, развернутый ответ получить хотелось... Но сосед был сух и краток.

— Если это ученье, то его следует изучать и

с жизнью добросовестно сравнивать, — отвечал он грамотно. — А верить... Что же прикажете, в науку, как в истукана, верить?

Ответ, как ни странно, понравился Николаю Ивановичу.

И тогда он решился, спросил шепотом:

— А какой ваш научный прогноз: сбудется все ж таки коммунизм или уже не ждать его прихода?

Сосед присел на краешек стула, долго протирал очки, близорукими глазами изучая Николая Ивановича. Наконец дотер, наверное, до дыр. И осторожно, шепотом, ответил:

— А вы ждете?

— Ага! — доверчиво открылся Николай Иванович, наклоняясь в его сторону.

— Ну, так ждите, если ждете! — улыбнулся сосед, так же к нему склоняясь.

— А вы? — оторопел Николай Иванович, будто его внезапно ударили в лоб.

— Видите ли... Как это ни болезненно для вас слышать, но виды на урожай, по-моему, не оправдались.

Они посмотрели друг на друга, одновременно распрямились и отодвинулись, каждый в свою сторону.

— А вот это как раз контрреволюция! — чуть-чуть замешкавшись, тихо определил Николай Иванович.

— Нет, ну почему это? — прищурился сосед, и молодые свежие щеки его слегка порозовели. — Давайте рассуждать логически. Если какой-нибудь ваш план оказался ошибочным, а я это понял и вслух...

— Ошибочными оказались репрессии! — гневно выкрикнул Николай Иванович ему в лицо.

— Ну, у вас абсолютно никакой логики? — уже покраснел сосед. — Ошибочно замучили! Неоправданно уничтожили! Необоснованно истребили! То есть вся промашка, что обосновали плохо? А так в принципе стоило и мучить, и истреблять? Вы понимаете хоть, какую вы нам чепуху тридцать лет мололи?

Жилы на шее у Николая Ивановича вздулись, но он только сжался, не подал виду.

— Да вы и сами не верите! Вот же, сейчас, сейчас только сомневались? — вспомнил сосед и нервно засмеялся.

— О! Это я-то сомневался? Да я тебя так специально проверяю! — нашелся Николай Иванович и тотчас этому поверил.

— Ага! — машинально принял к сведению сосед и склонил голову набок. — В таком случае... и я на вас получил задание.

В комнате установилась минута нехорошего молчания. Стало слышно, как на кухне шлепают капли в белый череп раковины: «Бамс! Бомс! Бемс!»

— Какое задание? — дико посмотрел Николай Иванович. — От кого?

Сосед с шумом встал.

— Так мне не велят говорить, от кого, — сказал он мстительно. — Вот вы, от кого?

— Я...

— Вот...

— Я?! — заорал Николай Иванович.

— Вот-вот. Сказано проверить. Мы друг друга и проверяем, проверяем.

— Ну, и что выясняется? — глядел на него тусклыми маленькими глазами Николай Иванович.

— Вы сами знаете, — опустил голову сосед (плечи его тряслись).

— И нельзя, что ль, поправить?

— Боюсь, нет. Поздно.

— Но вам же не обязательно все докладывать! — вырвалось у Николая Ивановича.

— Да? А вам? — посмотрел сосед с интересом. — А вам?

— Вы меня подозреваете, да? Я что, похож? Похож, да?

Сосед не сообразил даже, что именно он имеет в виду.

А Николай Иванович заплакал. Нырнул мелким сморщенным личиком в корявые ладошки. Промокал слезы замусоленным штопаным рукавом... Он плакал, как многие старики плачут, от неумения подвывая тоненьким, сдавленным голоском: «И-си! И-си-си-си!»

Сложное чувство (и брезгливости, и жалости) выразило лицо соседа. Но Николай Иванович не видел этого, не видел он, как сосед отыскивал в грязном белье единственное сносное, какое-то серое полотенце, налил воды в подозрительно темную кружку.

Николай Иванович враждебным голосом сказал спасибо, простучал по металлу съемной челюстью. И сосед, под этот аккомпанемент, неслышно вышел...

Едва закрылась дверь, Николай Иванович повалился на больной бок и от бессилия заплакал, уже не стесняясь ничего. Он плакал, что не отыскивал пужных слов, чтоб поразить на месте этого наглого гада. Он плакал, что все оставили его одного, и как раз в тот момент, когда начало потухать все-все вокруг. Он плакал, что душа почти до основания выболела, не найдя ответа, что вот-вот еще, и отмучается последний остаток — так и не разобравшись ни в чем, без прощения и надежды.

Так за что, в конце концов, болело? За что мучилось?

— Господи? — жалобно, неуверенно спросил он под одеялом. — Гос-споди!

И сразу набросился на себя с последними словами. Как он мог, как мог такое выговорить!

Тут Николай Иванович вспомнил про открытку и ухватился за нее, прямо как за последнее спасение. Открытка же не содержала ничего. Сын, как правило, поздравлял его с очередным праздником, желая здоровья и счастья и долгих лет. Последнее почему-то уязвило Николая Ивановича сильнее всего: он так долго мучился, а этот еще и продлить желает!

Николай Иванович набрал сейчас же Москву и зака-

зал. Дали Москву моментально. Николай Иванович держал сердито трубку около уха, а чей-то мертвый голос без конца бубнил: «Внимание! Связь по радиоканалу! Внимание...»

Слова позванивали в пустоте, проносясь над тысячами холодных темных километров. Николай Иванович подумал и расценил эти слова как объявление, что телефон прослушивается. Только не ясно, какая хитрость теперь про это открыто объявлять?

Когда их наконец соединили и сын радостно проорал те же свои глупые поздравления (они там всегда думают, что здесь все глухие!), Николай Иванович вновь оробел, но все-таки пересилил себя:

— Сереж, скажи: он ошибся?

Причем Николай Иванович сам расслышал, как его слова над примолкнувшей страной пролетели камнем.

В ответ в трубке забулькало. Удивительное дело, но Сергея даже не заинтересовало, кто он? Едва бульканье прекратилось, Сергей зачем-то второй раз спросил про здоровье. Однако Николай Иванович упрямо гнул свою линию.

— Нет, ты скажи: неужель он ошибся?

— Ну а кто в жизни не ошибается? — мямлил по какой-то причине сын. А ведь обязан отвечать хотя бы по должности: коротко и ясно!

— Ты хочешь сказать, что...

— Я хочу сказать: не сходи с ума, папа! — занервничал Сергей.

— Значит, мы сошли с ума, по-вашему?

Нет, со своим твердолобым упрямством старик, как всегда, был просто невыносим. Совсем не думает, что говорит. И всю жизнь так: вынь ему и положишь шас жа!

— Я повторяю: не сходи с ума, это не телефонный разговор.

Николай Иванович растерялся.

— Так в какую дырку нам деться, если по телефону нельзя?

После такого поворота сын смягчился. Голос его потеплел. Сын отца горячо заверил, но не в том, в чем он теперь вот как нуждался. А в том, что вот-вот, и ему, кажется, предоставят очередной отпуск. Надо только потерпеть опять немножко.

— Сколько же еще терпеть! — бухнул он ни к селу ни к городу.

Оказалось, терпеть осталось совсем чуть. Либо к Новому году все разрешится. Либо к весне.

Николаю Ивановичу стало все-все понятно.

Вон оно как...

Они даже и не пытаются его разубеждать!..

Что ж, до весны он не дотянет. Да он и до Нового года не дотянет. Конечно, Николай Иванович Сереже не скажет ни слова про это. Они распрощаются, и сын не узнает, что прощались они в последний раз.

Николай Иванович посидел-посидел. Вспомнил про соседа. По инерции прикинул, что и у него, у Николая Ивановича, имеется на соседа компромат... А когда опомнился, ясными глазами окинул комнату. Плюнул со злобой в стену. И пошел в санузел, выпрастывая ремешок из брюк.

Получилось то, чего он как раз и боялся. Его трогали руками, тискали, тыкали пальцами и палками в рыбы глаза. (Гляди-ка, какой красавец помещик! Вместе с головой потянет пуда на три!) А ведь он все знал заранее. Он знал, что спасали его не для того, чтоб он жил. А для того, чтобы им, Николаем Ивановичем, продлить свою жизнь и питаться.

Если он там задыхался без воздуха, то здесь свежий чистый воздух ему просто грудь разорвал.

Его окровавленную морду поддевали носком сапога.

На берегу окровавленная Полина целовала ему сапоги (он морщился и отворачивался) и христом-богом просила никому-никому ее не отдавать.

Она говорила немыслимые вещи! Все, что она утверждала, не укладывалось ни в какие рамки! Он рабочий-партиец. А она кто? Дочь кровопийцы-богача!

Правда, он тоже тогда немного поплакал вместе с ней (сказалась политическая дряблость). И он даже ей поддался, от классового долга отступил. Сошлись, что ее младший братик должен отбиться от семейства. А уж там Николай Иванович его как-нибудь прикроет. Как говорится, соломой затрусит.

Словом, и тем, и этим он тогда угодил.

Они были с Полиной ровесники (обоим лет по двадцать, самая пора!). Он сильно-сильно ее любил и крепко-крепко целовал. Она звала его ласковым Колюшкой. А когда сама потом целовала сапоги, то смотрела ему снизу прямо в глаза (он отворачивался) и хрипела:

— Николай Иваныч! Николай Иваныч!

Полина! Жизнь его единственная! Он все понял, ох, как он все понял! Он бы сейчас за тобой прополз тысячу верст на брюхе. Он бы, доведись...

Нет Полины. Одни белые косточки. Серое, вовеки неродное небо над ними. И некого, некого, некого грызть...

Его потрянуло так, будто сквозь позвоночник пропустили электричество. Ремешок оборвался, Николай Иванович неловко упал и ударился больным боком об унитаз (этим же боком он ударился, когда его сбросили с нар). Он стонал и всхлипывал, пока не забылся...

...Через час приблизительно он притворял аккуратно за собою дверь в санузел. А когда зашел в комнату, вода вслед ему злобно заурчала.

Трясущимися руками Николай Иванович вернул богов на место. Николай-угодник посмотрел на него живыми глазами (с укором). Но смолчал. Сталин же на него и не поглядел; он начал добродушно следить выпуклым бронзовым глазом, в какую сторону качнется стрелка. С противоположной стороны на стрелку смотрел другой

человек; по идее их взгляды должны были встретиться, но этого никак не получалось: каждый, отрешившись, бросал и бросал взгляды в свою даль, — мимо друг друга и мимо Николая Ивановича.

Окна заливались дождем, как горячими слезами. Николай Иванович в первый раз вспомнил о Прасковье. Господи, как это он смог забыть про нее?

Николай Иванович шел по пустой улице по направлению к пищекомбинату (где он работать начинал). Он шел под дождем и кричал страшным голосом:

— Параша! Параша!

Кто-то, невидимый, гоготнул из темных ворот подготовительного цеха:

— Дед! Обос... что ли?

Она находилась возле подготовительного цеха, на краю склизкой ямы. В яме глубоко-глубоко бурлила и пенилась коричневая жижа. Там, в жиже, всем и предстояло лежать. Сваебой, невзирая на дождь, с оттяжкой всаживали в жижу бетонные сваи. Адским огнем вспархивала сварка, освещая мертвое, с косенькими глазами, милое лицо. Что Параша умерла, Николай Иванович догадался сразу. Но он закрыл заботливо пиджаком то, что осталось от нее, и сел рядом.

Он сел рядом. Они были вместе, и им теперь было не нужно никого. Он сел рядом. И стал терпеливо ждать, поглядывая то и дело в серые небеса. Ведь придет когда-нибудь время, откинется вверху здоровенная дощатая крышка, и его призовут громовым голосом:

— Свиридов? Восстань!

— Я! — шепнет он, но ослушается, не встанет (единственно, чтоб не потревожить ее).

— Свиридов, ты готов?

— Готов!

— Так чего же ты там телишься?

И вот тогда он ответит с ликованием:

— Господи! Я не один! Мы с Парашей!

Щепоть земли с родины дело, конечно, обыкновенное. Но, когда грузчики, нанятые свезти вещи на вокзал, обнаружили на балконе у клиента целых три чувала родной земли, они очень и очень удивились.

— Гляди-ка, там-там! Чего это они, землей торгуют? — насмеялся старший грузчик (тот, что весь в наколках, как в стальном панцире, — по кличке Железный Феликс).

— Родной землей? Да еще как! — хмуро отбредивался молодой, засовывая нехотя руку в чумал, как бы прицениваясь. А он был неглупый, этот грузчик, — может, потому и носил псевдоним Там-Там (по имени передового вождя прогрессивного племени, которое вот-вот встанет на наш путь). Феликс вздыхал:

— Взять меня, я б так продал. Да только кто ее купит?

— Родину-то? — был ему тихий голос из глубины квартиры.

— Ну, да, родину, родину... — подтвердил Феликс злой, похмельной скороговоркой и заключил чумал в сердечные объятия.

— А я бы так купил.

Тут Феликс уронил чумал от неожиданности, и они с Там-Тамом, не сговариваясь, закричали:

— Почему платишь, хозяин?

Закричали-то в шутку, естественно. Однако ответ им был серьезный дан.

— Как отдать, пятачок с десятины, — молвил твердо хозяин, являясь из глубины и сылетая веревочку. — А всего бы лучше, господа грузчики, по договоренности.

Было в хозяине весу не менее девяти пудов, увенчанных громадным, цвета старой меди, головным куполом. Из купола умно глядели спокойные прозрачные глаза.

— Иван Иванович, — представились девять пудов за просто и сжали Там-Таму руку так, что пальцы у того захрустели на всю квартиру.

Поторговались господа грузчики из приличия, но уже вскоре не вытерпели, толкнули родину по дешевке. Положил им Иван Иванович не слишком. Но, принимая во внимание состояние товара, они даже поразились неразборчивости хозяина. И тут Там-Таму, бывшему интеллигентному человеку, как частенько бывало, пришла в полубезумную с похмелья голову неординарная идея. Хозяин, умело закладывая на веревочке петельку, тотчас принял предложение. Притом обещал не скупиться.

— Ведь как, друзья, в Священном писании, в книге Моисеевой, сказано? — простер хозяин величаво руку над их головами и, как бы благословляя громким голосом: — И сказал Бог: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая!

— Это, — говорит, — так, к вашему неученому сведению. А вообще, — добавляет, — господа грузчики, торгуйтесь, как со мной, для приличия. Но за ценой не стойте, платите, сколько у продавца душа запросит. Товар, говорит, деликатный, родина как-никак!

Сказали так. И уже потом только затянул петлю на веревке.

Сvezли они чувалы на вокзал. Рассчитались с хозяином наскоро. Даже выпивку господа грузчики почти проигнорировали, сразу почесали скорой рысью, а к концу недели скупили пол-Москвы. В редком доме им отказывали. Правда, порой оживлению торговли застарелые предрассудки препятствовали.

В одной квартире нарвались на пожилого генерала (он

вышел к ним в пижаме и в штанах с лампасами). В ответ на их предложение генерал хотел просто удушить Там-Тама.

— Вы от кого, гады, орудуете? — хрипел генерал, стремясь сцепить пальцы в замке.

— Да подождите вы, товарищ... командующий! — растерялся Там-Там, хоть и слабо, но помнивший, что является офицером запаса. — Мы от фонда мира орудуем! А родину скупаем... для нужд интернационала! Или вы против него?

Но генерал от ответа уклонился. Не отвлекаясь от своего занятия, он скомандовал:

— Настя! Здесь пришли бандиты! Спусти сейчас же Амина с поводка!

Амин ответил лаем и рыком откуда-то из чрева квартиры. Господа грузчики растерзания ждать не стали. Когда Амин прибыл в прихожую, они уже катились из подъезда, сбивая друг друга с ног.

В другой квартире, в доме напротив, на горе чемоданов сидели два немолодых еврея — видимо, братья, — собирались ехать и теперь ждали чего-то: может, такси.

Феликс им мигнул и обратился с вежливым вопросом к старшему брату:

— Родины, извините, не имеется на продажу?

— Это вам ка-кую? — насторожился старший, наклонился и чуть только не упал с горы.

— А гони сразу все, — загорячился Феликс, посчитав сделку состоявшейся. — Хороший, однако, башиш! Гуляй будем! Выпивай будем! За товар не беспокойся! В хороший руки отдаешь!

Феликс, вероятно, их принял за горцев. Он языком зацокал, пальцами защелкал и, поддавая по кадыку, завращал белками в возбуждении. Тогда один из горцев слез, крихтя, со своей горы. Подошел и плюнул прямо перед сапогом у Феликса.

Там-Там задумался над такой загадкой и только хотел поинтересоваться, а сколько бы сам горец дал, но не-

сдержанный Феликс оскорбился невольным, завизжал: «Бей нацию!» — и тем самым все испортил.

Огорченный Там-Там принужден был вывести Феликса в коридор. Выводя, Там-Там сделал хозяевам заявление, как иностранцам:

— Не берите, товарищи, Феликса в голову. Это в нем один жизненный инстинкт. Это только при царе бушевали враждебные вихри.

А выйдя за дверь, постучал головою Феликса о стену.

— Уймись, старый черносотенец, — увещевал он, стуча головой (да так, что у Феликса разлетались в стороны жидкие седые волосы). — Еще раз завизжишь про политику, вышвырну из дела!

На третий день им надоело бегать, и они решили учредиться. В исполкоме их направлению деятельности особенно и не сопротивлялись. Один, правда, сперва заюлил:

— А что, — прижмурился, — уже и такое разрешили?

— У нас теперь все разрешено! И ни-че-го не запрещено! — дал ему между глаз цитатой Феликс.

А Там-Там представил с упрёком разъяснение:

— Да вы чего здесь, товарищи. На периферии, и то вовсю торгуют. А вы, в столице, и тянете до сих пор?

Короче, к вечеру уже им выделили помещение: бывший ларек по приему посуды. И когда они (получив во всех учреждениях инструкции) приблизились к нему; у ларька хулиганила толпа с большими рюкзаками и чемоданами.

Проинструктированный Там-Там врезался в толпу с криками:

— Граждан, отъезжающих за рубеж, попрошу в сторону! От остальных соотечественников прием родины в порядке живой очереди!

Отделенные граждане со своим положением, конечно, не смирились.

— Это с какого времени в стране произвол? — при-

перлись к прилавку два принципиальных старичка в предреволюционных толстовках.

— А вот вы у нас по групповой пойдете, — шепнул им через прилавок догадливый Феликс. — Мы вас сейчас оформим как за попытку организации!

А Феликс сказал:

— А ну, чешите отсюда, курвецы. А не-то шары поколю немедля! — приставив поочередно к старичковым шарам два пальца.

И они, расстроенные, как подошли, так и отошли к своим баулам.

— Сказано вам: запрещено! — суровым голосом прокричал Там-Там, указывая тут же направление к черному ходу. Отделенные граждане, снимая убогих и больных, ломанулись куда им было указано.

— Деточки! Деточки! — кричала с земли, из-под сапог, какая-то сшибленная старушка. — Вы мне хоть живот не топчите! Дайте, деточки, я отползу...

Однако деточки отползти не дали. И если б не Феликс, сделали б старушку с землей заподлицо. Феликс очень вовремя выхватил бритву из кармана и лишь только полоснул ею перед носом передних граждан, остальные ждать не стали, их как бы смыло в унитаз.

— Звери, ну какие все оказались звери! — сетовал Феликс, предоставив первую помощь пострадавшей и выстроив отделенных граждан друг другу в затылок дышать. — Вы чего, мать родную не пожалеете? Вам чего, только б наперед всех родину продать?

С этими удивленными словами Феликс брезгливо чистил о штанину обгаженный кровью боевой клинок, не замечая, однако, что обе очереди встретили его информацию с молчаливым одобрением.

А дальше начался шмон по всем правилам текущей эпохи. «Ваши документы! — неприступным голосом требовали господа грузчики. И говорили с угрозой: «Та-ак! А какие у вас свидетельства иль доказательства, что означенная в паспорте Вешаловка еще имеет место на белом

свете?» Тогда очередник поспешно представлял двух-трех свидетелей. Господа грузчики обводили мысленным взором несчастную Вешаловку, щупали ее пальцами, колу-пали ногтем, затем морщились от предполагаемого дурного запаха и отшвыривали в угол небрежным жестом. Там, в углу, из этих Вешаловок уже образовались целые корявые вороха. Феликс и Там-Там оттирали наскоро руки о грязные халаги и проставляли озябшими пальцами в ведомости цену.

— Да побойтесь вы Бога! — вскрикивал очередник, обнаружив много нулей в ведомости и слишком мало монет в собственных руках.

— Ка-ко-го тебе Бога? — безумными глазами оглядывал Там-Там очередника. — Вы родиной торгуете, мы ради вас идем на разные нарушения, а вам, за все хорошее, еще и Бога подавай на сдачу?

А Феликс, как обычно, обходился вообще без разъяснений. Феликс только приставлял «козу» к шарам, и строптивый клиент, временно ослепнув, подписывал в ведомости любую цену. Разницу Там-Там объявлял либо подоходным налогом, либо вкладом в Фонд мира.

— Вы чего? — хрипел на очередь Феликс. — Аль вам родина мила стала? Аль вы голодной Африке помогать отвыкли?

Дело потихоньку пошло. Все эти Вешаловки и Волчьи Овражки господа грузчики как семечки щелкали. Хуже было с городами. Со столицами особенно тяжело. Очень ценились Теплый Стан, Видное, Новогиреево, Бирюлево. Но таких было буквально по пальцам посчитать. Нет, конечно, с предложениями косяком шли. Но стоило копнуть поглубже, и выяснялось: все — приезжий люд, без корней.

Зато не было отбоя от центральных районов. В конце концов, они были даже вынуждены объявление вывесить:

— Р-ны Арбата, пр-та Калинина, Лиговки, Невского, Крещатика — в связи с окончанием тары — не предлагать!!!»

Один прорвался из Останкина и все нажимал на соседство Шереметевского дворца.

— Ты, может, еще в том дворце родился? — крутил пальцем у виска Там-Там. — Да ты погляди сначала, какие на дворцы расценки!

И совал ему под нос прейскурант на винно-водочную тару. Но не успевал останкинский житель ознакомиться с предложенными расценками, его уже оттирал следующий.

— Зачем вы мне здесь нечестно делаете?! — спрашивал следующий обычно у Там-Тама.

— А СССР — тюрьма народов? — уточнял Там-Там.

— Тюрьма, — признавался чистосердечно вошедший.

— Так понци такую тюрьму, где тебе сделают честно!..

Как-то обнаружили они конкурента. Феликс шел как раз. Видит, сидит у магазина полный мужчина средних лет, в летной куртке, фетровых бурках, с точильным станком, на станке плакат: «Точу ножи, электробритвы починая, родину продаю-покупаю!» Феликс как дал ему сразу с носка, все причиндалы перекувырнул, пригнул сапогами на толстую грудь. Топчет его, рвет ногтями щеки и кричит:

— Еще раз, свинина, здесь увижу, так в землю закопаю живьем!

Ничего, больше этого, в бурках, не видали. Не пришлось закапывать.

За товаром, по условию Ивана Ивановича, самосвалы колоннами к концу недели приходили. По большей части с ненашими, нездешними номерами. И грузчики, похоже, были на них не из наших. Так как лопотали не по-нашему. Держались ненаши грузчики тоже особняком. Бывало, станут особняком и меж собой по-своему «дыр-дыр-дыр!». Случалось, угощали наших охотно сигаретами или шоколадом. Говорили: у вас здесь трудности, мы их

вполне понимаем, потому и помогаем изо всех сил. Ну, и наши грузчики сперва подачки с радостью брали. А потом видят: они сигареты эти ихние и шоколад с такой же охотой нашим собакам расшвыривают. И брать перестали, наотрез отказывались. Ну а наши собаки, те ничем не брезговали, брали, что попало, и шоколадом, и сигаретами, и ихней водкой. Смотришь, какая-нибудь наша собака к вечеру уже до посинения нажралась, с ихней сигареткой в клыках под кустом валяется, ноги раскорячила, вся растелешилась — один стыд, а также срам. Наши грузчики, увидев это, сразу и пальцами на лежащую показывают.

— У, лярва! — пнет такую пьяную собаку с досадой Феликс. А та рыгнет в ответ с гордостью, вполне понятной.

— Я те не лярва! У меня имя собственное есть! Жучка я!

Одна такая Жучка, недоглядели, прибилась в конце концов к ним. И сколько ни гнали, ни били ее по спине (то палкой, то просто совковой лопатой) — от наших к ненашим не пошла. Хотя, сучка, с руки у них питалась.

— Ты предатель народных интересов! — бежал за ней с совковой лопатой Феликс, если обнаруживал подобную картину с похмелья. А Иван Иванович — коли наезжал к тому моменту — стоял себе на дворе, расставив слоновьи ноги. И, подозвав, гладил по голове вздрагивающего Феликса:

— Да не нервничай ты так, Феликс Наумович. Как сказано в Писании? Там сказано: праведников постигает участь нечестивых, а нечестивые получают то, что заслужили праведники. И это суета! Потому нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться!.. Так сказал Экклезиаст. А я по-другому говорю: не все ли равно, из каких рук сытно питаться? Главное в жизни, ребята, диктует поджелудочная железа!

И так часто им это Иван Иванович повторял, что они, в конечном счете потеряли в его слова всякую веру.

— Вы передергиваете Писание! — пробовал уже возражать ему Там-Там. — И про нашу с вами жизнь там совсем другое сказано. Все мы как псы, Иван Иванович, так как постоянно возвращаемся на свою блевотину.

— Вот это про нас! — удостоверил сказанное Феликс.

Нет, Там-Там не потерял способности шевелить мозгами. И теперь он, хоть и с усилием, нередко что-нибудь даже про народ подумывал. «А может, так далеко с ним зашло, что не только у нас с Иван Ивановичем, но и у всего народа эта железа подлежит удалению?» — закрадывалась пугающая мысль в его тяжелую с утра голову.

Однако такого удаления не понадобилось: в начале зимы исчезли все девять пудов Ивана Ивановича. Пал первый, еще чистый снег, и они брели, потерянные, по сугробам, к бывшей Красной, а теперь Белой площади. (Феликс шагал с Там-Тамом, а в отдалении, но не отставая от них, трусила Жучка.) Вокруг здания бывшего Моссовета сосредоточивалась толпа с топорами, с газовыми ключами, в фуфайках. Напротив башенным краном ставили с коня Юрия Долгорукого. «Что они творят?» — удивился Феликс. «Демонтируем остатки ошибочного государства!» — отвечал ему интеллигентного вида человек, в очках, в светлом кашне хорошей шотландской шерсти и в грубых рукавицах (он тут, верно, исполнял роль прораба). Они побежали от прораба, но он успел им гневно выкрикнуть вслед: «Да здравствует демократия!» И наподдал пинком в зад улепетывающую Жучку. А через улицу вторая толпа с топорами и криком «ура!» демонтировала штурмом здание. К моменту, когда они приблизились, здание было полностью демонтировано и той же толпой взято под охрану. На флагштоке, из руин, торчал новый флаг. Под флагом гигант в фуфайке, с растрепавшейся бородой прибывал к стене какую-то табличку. Это, видно, был командир здешней сотни, и восторженный Феликс тотчас пожелал вступить в ряды его повстанческого отряда.

— Да уж не еврей ли ты? — заподозрил гигант нечистое, поймал мощной рукой Феликса за голову, привлёк к груди, а другой проворно замерил ему нос плотницким метром. Судя по гулу в толпе, нос у Феликса оказался нестандартный.

— Сам! Сам еврей! — помня смутно уроки Там-Тама, по-своему обиделся за нацию Феликс, гигант же набрал воздуха в легкие и приготовился было прокричать в толпу с насмешкой: «А может, я крещёный!» Но Феликсу не дал, ударил головою в пах. И пока гигант с воем обрушивался на свой отряд, юркий Феликс выскользнул из-под топоров и ускакал верхом на Жучке.

Жучка единым духом вынесла его к Кремлю. Пролетая мимо бывшего Госплана (ныне Биржа Соцтруда), Жучка и Феликс чудом не пали смертью храбрых. В этом месте одна стенка билась с другою стенкой. Одна стенка, в приличных пальто, протестуя, пыталась поджечь спичками чучело — в ветхом френче, в выцветшем картузе и с мочалкой, изображающей не то бороденку, не то усики. Другая стенка, также в приличных пальто (с криком: его не вынесли, это воскресение из мертвых!), стремилась этим чучелом в своих интересах овладеть. Совместными усилиями они быстро разодрали чучело на две части; чучело предсмертно, благим матом заорало, однако не успело вывернуться и распалось в мелкий серый прах: лишь туча едкой пыли взвилась победно над толпой. Тотчас начался всенародный чох, причем чихали наперегонки обе стенки, тысячами заходились так, что многие от одного чоху и падали, тогда только увидев падающие тела, здоровенный молодец в форменной шинели вдруг с радости заплакал и с протяжным и сладостным стоном: «А вот вам и наступила эра отрезвления!» — принялся молотить дубинкой по головам как направо, так и налево.

Как потом говорили, первый взмах дубинкой все и восприняли в качестве главного, окончательного сигнала.

Вдоль кремлевской стены, не посневая, бегали еще какие-то люди с гробами. Одни гробы они раскапывали, другие в освободившиеся ямки закапывали. Затем поступала внезапно новая партия, тогда пристраивали поспешно ее, опять и опять разрывая свежие могилки. Поодаль группа иностранных бизнесменов в спортивных трико, преодолев восемь тысяч километров бездорожья, неторопливо праздновала благополучное прибытие в Москву. Здоровые, розовощекие, они были так взбудоражены этим фактом, что не замечали ни гробов, ни танков, броню которых они заливали советским шампанским — щедро и неосмотрительно.

А со стороны бывшего Исторического музея (ныне, временно, Государственная дума) со скрипом, воплем и плачем ввозили орудийный лафет. На лафете, в деревянной старинной, приспособленной для этой цели клетке (видно, взяли из музея напрокат) заключалась в цепях группа видных советских граждан, в числе которых Ивана Ивановича все узнали первым. В народе еще долго потом говорили, что он на какой-то обидной мелочи погорел, хотя занимался солидными земельными операциями.

Он был бос. Внушительный вид его оставил. Похудел Иван Иванович не менее, чем на сто килограмм. Лишь кунол лба по-прежнему светился красной медью, да глубоко запавшие внимательные глаза, как и раньше, работали спокойно и неумоимо. Казалось, глядя на него: такой не потеряет головы и на плахе.

Меж тем лафет туда и подвозили. Только здесь Иван Иванович несколько забеспокоился, лицо его заметно побледнело. И когда на глаза ему попались Феликс с Жучкой, он было дернулся, но сдержался. Не выдал ни их, ни себя. И, даже обнаружив в толпе Там-Тама, лишь пошевелил беззвучно губами: «Там-Там... Анатолий Анатольевич, милый мой!»

И вдруг во всю мощь громадных легких запустил над площадью:

— А-аа, вашу мать, комуня-ки!..

И рухнул на колени:

— Дорогие мои. — Крупный подбородок у него набок своротило, Иван Иванович плакал, не сдерживаясь, навзрыд. — Дорогие, не выдайте. Я вам все-все оставлю!

Кому требовалось, те в толпе учуяли: неспроста Иван Иванович так заговорил. Они и произвели в народе шевеление, какие-то проворные дяди забежали по рядам. Там-Там зорко высмотрел вдалеке давешнего гиганта. Тот двигался от человечка к человечку, заглядывая в лица, небрежно отшвыривая стоящих на пути. «Ментом!» — зло зашептал Там-Там, и они, прячась за танками, побежали к краю площади.

Над Лобным местом, над сгрудившейся массой, как бы трагически возвышался второй их знакомец. Тот самый прораб, в светлом кашне и очках в роговой оправе — всем видом показывая, что возведен на это место силой обстоятельств: либо насильно, либо случайно. «Неужели и его?» — пронеслась догадка в голове у Жучки. Когда же он, нервно поправив очки, еще неуклюже, в первый раз махнул топором, — танковые моторы взревели, и толпа оглохла сразу, так и не познав, не расслышав человеческого вопля, долго ею ожидаемого.

Следовало срочно бежать. Это Там-там понял, едва они сунулись ночью к своему ларьку (с целью уничтожения документации). Спасло их то, что впереди пустили Жучку. В засаде ее спалили, немного бока намяли. Правда, не надругались, даже не изнасиловали. Однако это Жучку не остановило.

— Твари вы, а не мужчины, — кричала на них Жучка, зализывая раны и оправляя юбку на бегу.

— А ты женщина, можно подумать, — сказал, переводя дыхание, Там-Там.

— Пусть я не женщина. Но и вы псы одной со мной породы! — заклемила Жучка и в темноте врезалась лбом в невидимое препятствие. Они приостановили свой

бег, взгляделись. Над ними возвышалось, уходило в темное небо гигантское ланно. По низу было выведено крупными буквами: «Да здравствует революция в уме человека!» Чуть выше располагался сам человек. Он сидел, как бы горестно охватив ладонями лоб, — вероятно, от сильной головной боли.

На Павелецком висели их портреты. На фото они выглядели как два новых члена Политбюро. Поскольку Жучкиного портрета вывесить не успели, ее и отправили за билетами. Феликс был москвич, а Жучка безродная. Потому решено было всем вместе ехать на родину к Там-Таму, скрываться в деревне у его матери.

На станции их не встретил никто. Хотя где, спрашивается, их следовало встречать, коли и станции не было? Вместо вокзала имелись только горы щебня.

— Боже ж ты мой! — обращался к кому-то вверх бредший мимо пожилой железнодорожник с закрытыми, будто слепыми глазами. — За такое короткое время целая великая держава — и превратилась в кучу говна!

— Хе-хе! — заметила торговка, сидевшая на одной из таких куч (торговала она здесь, в голой степи, как ни странно, импортными презервативами). — Иль тебе, Нилыч, не надоело буробить? Ты купи лучше мой товар!..

Но Нилыч в ответ не проронил ни звука. Не открывая глаз, он рухнул в разверстый пожарный колодец. Жучка заглянула туда с беспокойством. Из темноты поглядывали сношенные казенные подметки.

— Эй, вы, не нервнируйте там его, — заворчала торговка. — Нилыч уж какой день места себе не найдет.

— Кажется, нашел, — вздохнула Жучка. И они двинулись в город. Точнее, туда, где город прежде был, а теперь находилось одно чистое поле. Вдали какие-то люди в ярких желтых спецовках мастеровито разбирали оставшееся: церковь. Вокруг ничего больше не было, кроме, правда, парковой гипсовой фигуры. Прямо у нее подтип-

совыми ботинками сидел нищий детина, заросший до глаз грубым седым волосом. Детина читал желтую от прошедших лет газету. Перед ним лежала солдатская шапка. На дне шапки блестели монеты, и, похоже, не отечественные. Там-Там развязал рюкзак и высыпал на снег ворох толстых денежных пачек.

— Сенькюверимач! — поблагодарил нищий вежливым кивком. И попросил подать валютой.

— А по-русски нельзя? — обиделся Феликс.

— А по-русски можно пить и плакать, — пожаловался нищий и развез по щетине грязную слезу.

— Кто ты? — гавкнула в задумчивости Жучка.

— Я здешний секретарь райкома.

— А где твой райком? — не сдержался и вник опять Феликс, — так, будто он срочно в постановке на учет пуждался.

— Райкома нет, — скупомолвил нищий. — Все ушло. На уплату долгов отправлено. На той неделе разобрали здание. Одна вот эта фигура и осталась.

Нищий потрогал без интереса пачки с деньгами, зевнул и добавил для порядка:

— Мы, конечно, наводили справки. Так нам сверху разъяснили: в Москве какие-то сволочи наш район продали.

Там-Там отвернулся, выругался и побежал в направлении своей деревни. Феликс и Жучка побежали следом, нищий тоже пристал к ним. «А как же фигура?» — любопытствовал Феликс, решив, что нищему поручено сторожить ее, последнюю.

— Да я думал, хоть иностранцы приберут ее на сувениры, — оправдывался нищий на бегу. — А она, оказывается, на хрен никому не потребовалась!

Деревни, естественно, не было. Куда ни кинь глаз, всюду была белая, абсолютно ровная плоскость.

Подчистую.

Только один предмет и обнаруживал прежнюю жизнь: дорожный указатель с надписью: «К-з «Светлый путь», торчавший кверху острием из сугроба. То есть, если верить его последнему указанию, светлый путь пролегал теперь напрямик в серенькие, словно тесовые, небеса.

А тут они слышали, как скрипит снег. По белой равнине тащились три или четыре старухи, волоча на веревках из последних сил большой фанерный ящик. Временами они останавливались, садились на ящик, доставали какие-то пузырьки, прикладывались, отдыхали. И волочили свою ношу дальше.

— Переезжают, что ли, бабки? — прищурился болезненно Феликс, ощутив, как в первый раз заняло то место, где располагалась в детстве душа.

— Ага! — пошутила некстати Жучка. — Куда тут переедешь-то, на тот свет?

— Эх, беда, надо бы помочь бабушкам! — проснулся в нищем секретарь райкома и, засунув руку под свой солдатский бушлат, тайно перекрестился.

И они приблизились к процессии. Ящик был самый обыкновенный, из-под спичек (видно, бабушки увели со свалки за магазином). На одном боку его еще даже трепыхалась от ветра фабричная наклейка. А на наклейке черными печатными буквами было написано: ГИГАНТ.

— Куда, товарищи бабушки, вашего Гиганта доставить? — спросил шутливо секретарь, свободно забрасывая ящик на плечо (а он оказался совсем легоньким).

— На покой, куда ж еще? Всем нам давно туда пора, — пояснила коротко главная старушка.

И не успели они вдуматься в сказанное, старушки достали псалтырь и дружно грянули в три голоса. Их пронзительные голоса трепетали и плакали под тесными небесами, прощаясь как бы и с подружкой, и с самими собой навсегда. Там-Там зашатался, пораженный: до чего все-таки под ним ослабли ноги?

Так шли они час, или два, или еще сколько — Там-Там не помнил. Несли ношу по очереди. И хотя не была

она тяжела, Там-Там к концу стал кашлять и падать и завалился было с ящиком в снег. Впрочем, тут же, не подалеку, была вырыта в снегу ямка. И Там-Там успел, поставил ящик на самый край.

— Чего, соколик? — посочувствовала старушка.

— Не держит, — сознался Там-Там и, весь сжавшись, спросил у нее шепотом: — А вы не знаете случайно, где найти Грачеву Марь Васильевну? Она, кажется, ровесница вам...

— А чего ее искать? Тут она, твоя Марь Васильевна, и есть! — хлопнула старуха варежкой по фанерному ящику. — Вот, Толя, какого мы Гиганта хороним...

А старушки все расслышали и загалдели:

— Возрадуйся, Мария: сын твой приехал! Сын!

— Счастлива мать, когда сын ее проводит в последний путь, — вздохнула главная старуха и задумалась.

СОДЕРЖАНИЕ

Через лес — к небесам. Предисловие В. Максимова . . .	3
СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС. <i>Повесть</i>	5
СЛАВА. <i>Рассказ</i>	232
НИКОЛАЙ-УГОДНИК И ПАРАША. <i>Рассказ</i>	248
В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ РОДИНА. <i>Рассказ</i>	271

Афанасьев А. В.

А 94 Семь верст до небес: Повесть, рассказы / Предисл. В. Максимова. — М. : Мол. гвардия, 1991. — 287[1] с.

ISBN 5-235-01401-4

В заглавной повести книги все необычно. Совершено убийство... Кто-то неизвестный похоронен под именем нашего героя. Сам же герой, оболганный и придавленный грузом ошибок, режет картины в музее собственного творчества... Василь Быков, первым прочитавший рукопись, сказал: «Это — гротеск яркий и правдивый». Через семь лет оказалось, что все описанное в повести и о нашем фантазмагоричном времени.

Книгу органично дополняют три рассказа.

А 4702010201—119
078(02)—91 068—91

ББК 84Р7

ИБ № 7039

Афанасьев Александр Васильевич

СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС

Заведующий редакцией **В. Перегудов**

Редактор **Л. Барыкина**

Художник **А. Катин**

Художественный редактор **А. Романова**

Технический редактор **Н. Тихонова**

Корректор **Е. Самолетова**

Сдано в набор 25.09.90. Подписано в печать 19.04.91. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 12,6. Условн. кр.-отт. 12,95. Учетно-изд. л. 12,5. Тираж 100 000 экз. Цена 3 руб. Заказ 1274.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-01401-4